



*Лариса ИСАРОВА*  
**НА ПОРОГЕ  
СУДЬБЫ**





---

*Лариса ИСАРОВА*

**НА ПОРОГЕ  
СУДЬБЫ**

РОМАН



---

МОСКВА  
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ  
— 1986

ББК 84Р7—4  
И 85

Исарова Л. Т.  
И 85 На пороге судьбы: Роман. — М.: Мол. гвардия,  
1986. — 256 с., ил. — (Стрела).

1 руб. 100 000 экз.

Роман состоит из двух частей: «Десять секунд для ответа» и «И голос твой в душе моей...». Рассказ в них ведется от лица учительницы, волею судеб оказавшейся свидетельницей преступлений, совершенных ее воспитанниками. Пути, которые избрали герои в жизни, проблемы воспитания чередуются с историческими событиями России второй половины XVIII века.

И 4702010200—208  
078(02)—86 204—86

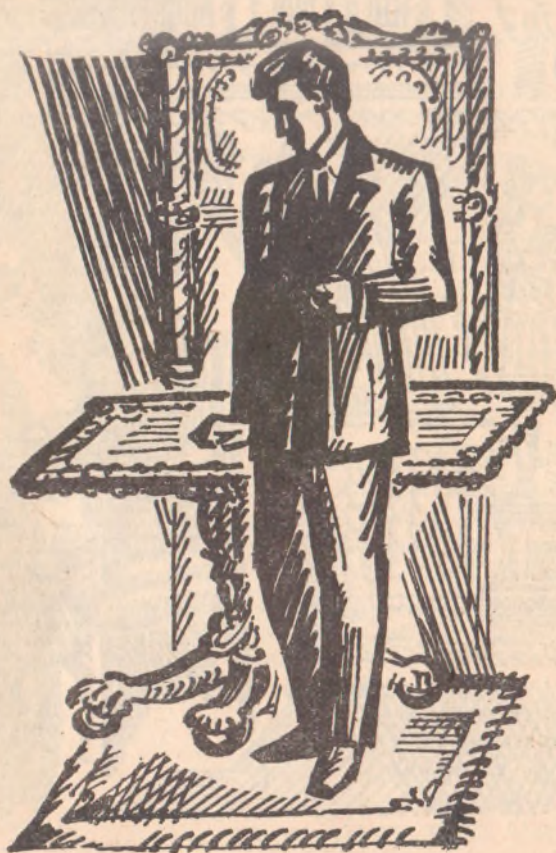
ББК 84Р7—4



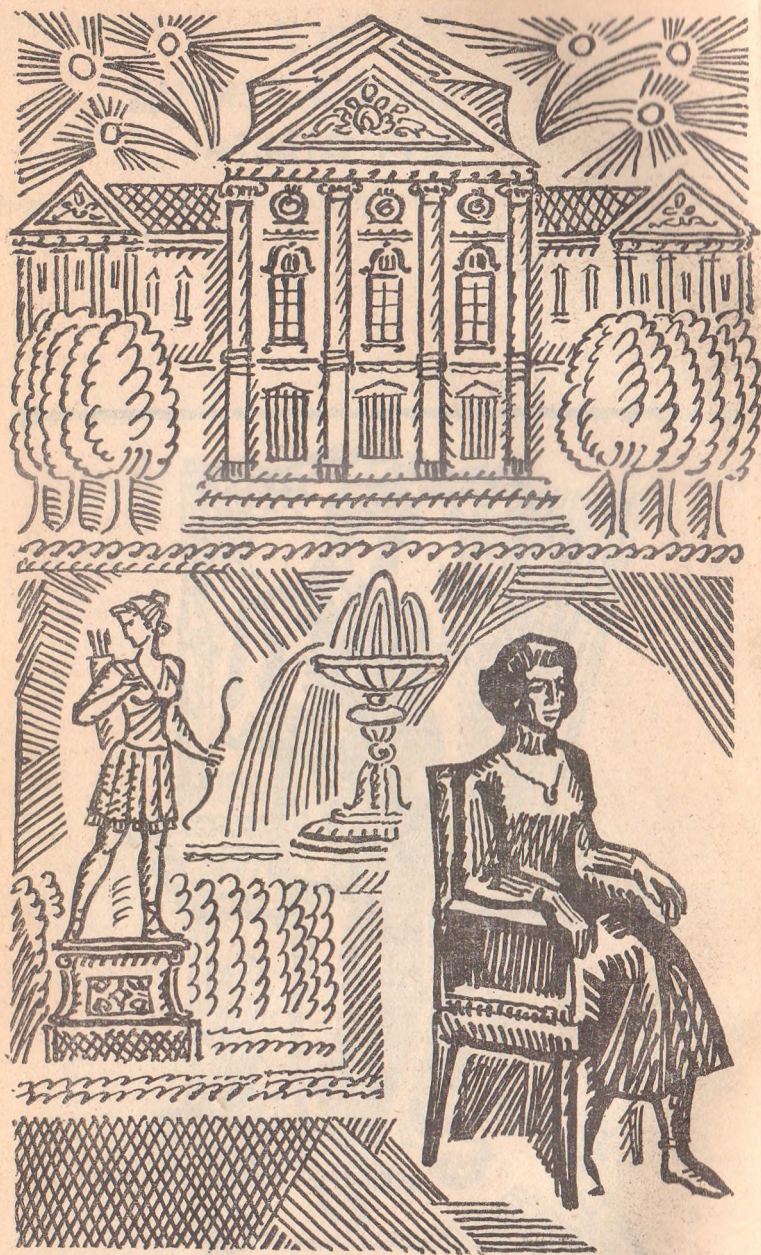
*Часть 1*  
**ДЕСЯТЬ СЕКУНД  
ДЛЯ ОТВЕТА**

...Дать радость может только взлет!

Верхари







## ГЛАВА ПЕРВАЯ

— Фамилия, имя, отчество? — спросил следователь прокуратуры Максимов.

— Марина Владимировна Оскина.

— Профессия?

— Учительница.

— Участкового инспектора Олега Стрепетова именно вы обнаружили вчера вечером, раненного в вашем подъезде?

— Да.

— К кому он мог идти?

— Ко мне.

— Почему вы в этом уверены?

— Днем мой десятиклассник Серегин передал, что Олег просил меня не уходить вечером в библиотеку, ему нужно было со мной поговорить.

— Вы каждый вечер проводите в библиотеке?

— Нет, так получилось, мне надо было познакомиться с материалами биографии Потемкина...

Брови следователя приподнялись.

— Разве теперь в школе проходят так подробно историю?

Оскина покусала губы.

— Меня попросил прочесть дипломную работу мой бывший ученик Ланщиков. Он много лет собирал материалы о князе Потемкине.

— Кажется, именно Ланщиков враждовал со Стрепетовым? Допустим, из-за девушки еще в школе?

— Из-за этого Олег ни с





кем не конфликтовал. С Ланшиковым они были просто несовместимы. Олегу Ланшиков был интересен. Ланшиков же завидовал Олегу, хоть и считал «блажным».

— Стрепетов жил по соседству с вами и работал здесь же. Как относились к нему люди?

— Даже в пьяницах и хулиганах он старался видеть человека, каждого хотел поставить на ноги...

— Значит, Стрепетов был из добреньких?

Оскиной не понравилась интонация, с которой был задан вопрос.

— Он был добр к людям. Поэтому ему всегда интересно жилось.

— Что вы можете вспомнить о своих бывших учениках из класса Стрепетова?

Говорят, собаки всегда, а люди изредка способны заранее ощущать стихийные бедствия, болезни, несчастные случаи. Я этой способности лишена. И день покушения на Олега Стрепетова прошел для меня обычно.

Утром в школе меня встретил Серегин, по прозвищу Гусар, десятиклассник.

— Поговорим, как мужчина с женщиной, — сказал Серегин. Он наклонил маленькую голову, щелкнул каблуками, точно шпорами. По литературе у него в журнале красовалась унылая вереница двоек. Но держался так, точно эти двойки мне ставил он...

Мы подошли к окну в коридоре. На уровне моих глаз приходились лишь значки, украшавшие его джинсовую куртку. Чтобы увидеть лицо Серегина, я запрокинула голову.

— Вам хочется, Марина Владимировна, чтобы я окончил школу?

— А вам?

— Наши желания совпадают...

Светлые волосы его подстрижены как у средневековых пажей; ровная челка до бровей и длинные на затылке, до воротника куртки. Брови и ресницы будто покрашены, орлиный нос, усики, яркие губы — он производил, говорили в учительской, неотразимое впечатление на девочек. Если не улыбался. Его броскую внешность портили зубы. Слишком крупные. Их казалось вдвое больше нормы.

— Есть вариант... — Серегин усмехнулся. — Вы



даете мне одну книгу. Не толстую. Я ее долблю, потом беседуем...

— Вы твердо рассчитываете, что на экзамене я поставлю вам тройку?

— Придется!

Я вздохнула.

— Зачем же вам меня топить, подводить Зою Ивановну?!

К сожалению, он был прав... Зоя Ивановна, директор школы, недавно сказала, как всегда с юмором, о Серегине:

— У парня одна извилина, но могучий инстинкт самосохранения. В общем, нервы на него не трать, он не пропадет, теперь нет второгодников... Такой проживет не переутомляясь.

Серегин внимательно наблюдал за выражением моего лица, потом добавил, выдержав благоразумную паузу:

— Не исключено, что я ничего не смогу ответить по билету. Тогда нам можно будет спастись за счет дополнительного вопроса... По книге, которую я заранее отзубрю...

Наглец!

— У нас все в классе такие умники, что комиссия просто восхитится дураком вроде меня.

Я знала манеру Серегина вести себя. Он называл себя вслух «дураком», «серостью», «дубиной». Рассказывал, какое перенес «трудное» детство — жил с матерью в бараке. Даже воровал у соседей книги, чтобы читать. А его за это били. И отбили навсегда интерес к художественной литературе.

Я терпеливо слушала Серегина и смотрела в окно, ощущая себя верблюдией, на которую грузят бесконечную поклажу.

Школа стояла в огромном дворе. Со всех сторон ее замыкали монументальные дома с разнообразными архитектурными излишествами. Но «излишества» были лишь на наружных фасадах. Во двор смотрели кирпичные стены, расчерченные в шахматном порядке прямоугольниками окон. Один дом переходил в другой без интервалов. Делили их лишь арки для въезда автомашин...

— Прочтите рассказ Богомолова «Иван».

— А где взять?

— Зайдите ко мне...

— Некогда... я мамашу пришлю...

Я не хотела, чтоб Маруся Серегина снова забегала ко мне в школу. Она обожала рассказывать о специфике своей жизни «одиноким бабы», заведующей «Кулинарией».

— К вам сегодня Стрепетов хотел зайти. Вечером. Будете дома?

Я кивнула, и Серегин удалился танцующей походкой. Маруся очень нервничала из-за сына. Она мечтала его «сунуть» в институт.

После уроков я вернулась домой за рассказом Богомолова «Иван», изданным отдельной книгой. Им я много лет подряд «отмыкала» мальчишеские сердца. Но Серегин — типичный телеакселерат, способный поглощать лишь минимум знаний, да и то по телевизору.

Сегодня в «Кулинарии» работала одна Маруся, заменяя заболевших продавцов. К ней выстроилась огромная очередь. Я стала сзади, решив взять антрекоты, и, задумавшись, отключилась от шума...

Почему Олег Стрепетов так подавлен? Ведь он всегда говорил моей Анюте: «Человек не имеет права портить своим настроением жизнь окружающим». И советовал чаще реветь: «Чем человек реже плачет, тем он злее!»

— А ты? — Она держалась с ним на равных, хотя училась в первом классе, когда он кончал десятый. Пользовалась его любовью к ребятам и зверьям.

— А я каждый вечер рыдаю на улицах и во дворах вместо поливальной машины. По совместительству. Не замечала?!

Олег Стрепетов несколько раз в последние дни ко мне забегал, но я сидела в библиотеке. Ланщиков, который учился с ним в одном классе семь лет назад, принес мне свою дипломную работу. Сказал: «Чтоб попридиралась как в школе».

— Не морочьте мне голову! — я снова услышала лениво-раздраженный голос Маруси. Очередь приблизилась к прилавку. Впереди стояла маленькая старушка.

— Дайте мне вон ту котлетку, нет, ту, а не эту, она пышнее...

Маруся швырнула на бумагу одну котлету за семь копеек.

— Еще что?

— Можно еще одну котлету, милочка?!

— Так бы сразу и говорили!

— А сразу вы бы мне дали верхние, вчерашние...

— Все?

— Еще две капустные котлетки, только берите аккуратно...

Старушка была похожа на белую мышь.

— Что еще?

— А я и говорю, еще одну манную котлетку и все...

Старушка встала на цыпочки и положила на прилавок рубль.

— Дайте мелочь, нет сдачи.

— А где я возьму, милочка?

— Ох, ну и покупательница!

Маруся царственно качнула белоснежной чалмой-шапочкой на взбитых серебристо-лилового цвета волосах, небрежно смахнула с бумаги отобранные котлеты.

Она подбоченилась, собираясь задираться и дальше... Но тут увидела меня. Лицо ее мгновенно просияло.

— Да берите, берите свои котлетки, горе мое!

Она аккуратно свернула пакетики, отсчитала сдачу, старушка побрела на улицу.

— Все, граждане! — заявила Маруся. — У меня обед. Отпускать буду через час.

Она вышла из-за прилавка и стала всех теснить к двери, выжимая из магазина, потом накинула крючок и повернулась ко мне.

— Фу-у! Избавилась. Вот так дойти до инфаркта можно.

— У вас же была сдача?!

— Ну и что? Ей отдай, а другим?

Она налила томатный сок из большого кувшина, выпила, подмазала ярко накрашенные губы. Характер ее не соответствовал комплекции. Такими экспансивными, нервными, подвижными, как ртуть, бывали обычно худощавые женщины. Но пышная Маруся им не уступала: спорила, огрызалась и слова сыпала горохом, без пауз, задирая свой подбородок в форме лопатки.

— Пусть Миша к экзаменам прочтет... — протянула я ей книгу Богомолова.

Маруся бросилась ко мне с поцелуями. Я отшатнулась.

— Что возьмешь?

— У вас же перерыв.



Она покачала головой.

— Опять ля-ля, — на ее языке это означало «интеллигентские штучки». — Гордячка, прямо фон-баронша! Наверное, это выглядело глупо, но я не хотела от нее никаких одолжений, даже в мелочах.

Маруся криво усмехнулась и сказала явно невпопад:

— Зря Стрепетов в чужие дела нос засовывает. Так и передай. Я ему по гроб жизни благодарна, он Мишку от глупостей отвлек, к делу пристроил, но ворону в соловья не переделаешь...

Я удивленно посмотрела на нее, пожала плечами и вышла, недоумевая, какое отношение имеет Маруся к участковому инспектору милиции Олегу Стрепетову...

Часов в семь вечера позвонил Ланщиков. По телефону его баритон приобрел особую глубину и бархатистость. Он спросил, прочла ли я его рукопись.

— Понимаете, возникла микролазейка в один журнальчик, а у меня нет свободных экземпляров.

— Опять окольные ходы?

— Ну, Марина Владимировна! Не подмажешь — не поедешь.

— Я еще не читала твою работу. Сначала посидела в библиотеке, чтобы иметь общее представление. Историческая психология — жанр любопытнейший, общими словами ты от меня не отделаешься...

В трубке раздался театральный вздох, Ланщиков всегда кого-то играл, точно ему было скучно оставаться самим собой.

— Сколько дней вам нужно?

Кажется, он жалел, что принес мне рукопись. Ланщикову, видимо, хотелось, чтобы я просто восхитилась ею. Он ненавидел всякую переделку. Так было и в школе. В сочинениях не признавал никогда ни одной стилистической ошибки, мною подчеркнутой, предпочитая убрать фразу, лишь бы не переписывать ее.

— Дней пять. Потерпи. Сегодня начну читать.

Опять очень громкий со стоном вздох. Он хотел что-то сказать, но передумал. Вспомнил, как я «въедлива». Спорить было бесполезно. Ни одно сочинение я не возвращала без подробнейшего анализа.

Его дипломная работа была уже переплетена. Называлась многозначительно: «История взлета и

падения великого честолюбца». Я раскрыла ее.

«Я давно мечтал написать о Потемкине. Самой противоречивой в жизни и в оценках современников фигуре. О великом честолюбце парадоксальной судьбы. При жизни осуществившем все желания и после смерти наказанном забвением.

Мне хочется измерить его славу, осмыслить способы, которыми она достигнута. Понять, чем платит честолюбец за осуществление желаний. Решить, дорога ли цена, в конечном счете...

Итак, на исторической сцене XVIII века — Он и Она, люди без предрассудков.

В то прозрачное утро императрица решилась на переворот. Орловы привезли ее в Зимний. На площади замер конногвардейский полк. Тишина была в ушах. Каждое мгновение приближало ее победу. Или смерть. Она вышла на крыльцо в офицерском мундире. Прическа еле держалась на голове, густейшие каштановые косы пытались сползти на плечи. На императрице — голубая андреевская лента. Остался всего шаг, полшага к вершине... Подвели белоснежную лошадь, она взлетела на нее, выхватила шпагу из ножен. Бледность залила ее щеки. На шпаге не было темляка. Прима?!

— Темляк! Темляк! — закричал истерически гетман Алексей Разумовский...

Он, вахмистр Потемкин, гигантского роста юноша с детским лицом, вылетел из шеренги кавалергардов на золотом жеребце. Поднял коня на дыбы, сорвал темляк с палаша и вручил императрице, вливаясь взглядом в синие ее глаза. Она поблагодарила. Даже в эту секунду она не могла не залюбоваться его могучей фигурой. Он прищипорил коня, отдал честь. Щеки рдели, глаза блестели, точно в горячке.

Так началось для него новое царствование. Он получил имение в 400 душ и 10 тысяч рублей после коронации. Эта подачка распалила костер его честолюбия. Он появлялся во дворце, он изучал императрицу, разглядывал, подчинялся всем капризам и стискивал зубы. Он смешил ее, передразнивая любые голоса приближенных и даже ее собственный голос с немецким акцентом. Глотал книги, о которых она упоминала, за ночь впитывая сотни страниц. Острил, шутил, читал стихи, мечтая, чтобы она велела совершить невозможное. Это

была любовь честолюбца, азарт игрока, страсть мужчины, до сих пор не знавшего, во что вложить бешеную душу. Ему было двадцать один год. Ей — на десять лет больше. Он верил в свою звезду, чувствовал, что Орловы не вечны, что между ним и этой царственной женщиной протянулась в то утро тончайшая нить, которую ничто не может оборвать... А Екатерина II, умевшая быть трезвой в самые романтические минуты и романтической в деловые мгновения, непревзойденная актриска и чаровница, смотрела на азартного молодого честолюбца иронически ласковыми синими глазами и просила его прославиться...

И вот он стоит под пулями на холме в Хотине, веря, что неуязвим для боли и смерти, пока не состоится его волшебная судьба. Потемкин создает отряды легкой конницы, несется в атаках всегда впереди, ежесекундно ставя на карту все, чем одарила его жизнь, отказываясь от мелких и жалких соблазнов во имя прямого пути к вершине. И его письма к императрице, право личной переписки он вымолил перед отъездом, летят, несутся, опережая победные реляции. Как он писал! Горячо и лаконично, образно и ярко. В его строках трепетало бешеное чувство, разожженное честолюбием и азартом. Он отличился при Фокшанах, Ларге, Кагуле, сжег Цыбры, о нем писал фельдмаршал Румянцев императрице, его посылали с победной реляцией в Петербург...

Но воистину счастливым он чувствовал себя, лишь пока жгло его предчувствие счастья, а императрица казалась истинным божеством, дарующим все, во имя чего стоило жить.

Их любовь оказалась трудной и несчастливой. Ей было сорок три года. Она мечтала о блеске своего царства, о мировой славе. Сознавала женскую слабость, трезво искала опору, хватала на лету, как морская чайка рыбок, дерзкие прожекты одноглазого гиганта. Ей хотелось дарить ему все, чем она обладала, восторженно растворяться, подчиняясь его силе, воле, чувствовать себя словно в юности... Расплывались честолюбивые мечты о вечной славе, казались скучными политические интересы страны, исчезало даже чувство собственного достоинства... С ним рядом она могла мечтать, чувствуя, что он понимает ее душу, разделяет не только страсть женщины, но и фантазии правительницы. И больше физического влечения ее покоряли его



необузданность, неукротимость, честолюбие. Она бросила ему под ноги империю, но истинная власть оставалась у нее. Он — только фаворит, временщик, полувластелин. На все ему надо было испрашивать согласие, разрешение, одобрение, приходилось хитрить, льстить, интриговать, чувствуя, что в любую секунду золотая змея может ускользнуть.

В отношении Потемкина к ней раньше были благоговение, страсть, может быть и аффектированная, но рыцарственная. Он никогда не мог забыть ее на белой лошади, такую одинокую, замершую на огромной площади... Помнил и ее взгляд, синие, все мгновенно понявшие глаза, коснувшиеся точно самого его сердца... А впоследствии императрица оказалась слезливой и болтливой, была падка на лесть, самую неудержимую и дешевую. Ее интересовали сплетни, она со страстью обсуждала дворцовые приключения. Его раздражала ее рассудочность, педантичность, стремление позировать, играть роль просветительницы, на деле равнодушной ко всему, чем восхищалась. Злила и ее постоянная веселость, возвращающаяся после самых неудержимых слез. Он видел, что ничто глубоко, всерьез надолго не может задеть эту женщину, и даже ее остроты, иногда хлесткие, обычно солдатски грубоватые, все чаще не веселили его. Рассеялось преклонение, начало угасать и чувство.

Он постоянно ощущал раздвоенность. Ее всевластие по праву императрицы. И свое подчинение. В чувстве она была и величественна и человечна, прощая унижение, тщеславие, насмешки. Над женщиной, не над повелительницей. Но она всегда служила лишь своим прихотям. И в этом над ней никто не был властен...

Она так никогда и не поверила, что страсть к ней почти всех фаворитов была корыстной, что только он и любил ее по-настоящему, пока не узнал наяву: актрису, умевшую исполнять сотни женских ролей, ничего не ощущая всерьез.

Императрица сделала Потемкина генерал-адъютантом, генерал-аншефом, кавалером ордена Андрея Первозванного, вице-президентом Военной коллегии, князем римской империи, потом фельдмаршалом и президентом Военной коллегии, даже заключила с ним тайный брак... В общем, он достиг невероятного, стал соправителем, «делом ее рук», но именно это больше всего жгло его, унижало, оскорбляло ежесекундно.

Всего два года они были вместе, а потом, начав как будто привыкать друг к другу, оценив способности, характер и ум, — расстаются почти без боли. Потемкин — с чувством освобождения. Императрица — с благодарностью, он замучил ее перепадами настроений, гневливостью, упрямством. Оба верят, что останутся друзьями, настоящими, на всю жизнь, что никогда между ними не встанет никакая сила, ни женская, ни мужская.

Презрение его нарастало — к ней, к себе, к людям, ничтожным и жалким. Ведь и он был не лучше, не мог отказаться от ее даров, отбросить все блага, ведь и он принимал, желал все новых почестей, драгоценностей и званий.

Вигель, приятель Пушкина, один из самых язвительных и беспощадных умов XIX века, так анализировал феномен личности Потемкина: «Невиданную еще дотоле вельможе силу свою он никогда не употреблял во зло. Он был вовсе не мстителен, не злопамятен, а его все боялись. Он был отважен, властолюбив, иногда ленив до неподвижности, а иногда деятелен до невозможности...

Не одна привязанность к нему императрицы давала ему сие могущество, но полученная им от природы нравственная сила характера и ума ему все покоряла: в нем страшились не того, что он делает, а того, что может делать. Бранных, ругательных слов, кои многие из начальников себе позволяли с подчиненными, от него никто не слыхивал, в нем совсем не было того, что привыкли мы называть спесью. Но в простом его общении было нечто особенно обидное: взор его, все телодвижения, казалось, говорили присутствующим: «Вы не стоите моего гнева». Его невзыскательность, снисходительность весьма очевидно проистекали от истощающего его презрения к людям, а чем можно более оскорбить их самолюбие?»

Потемкин чудил, фанфаронствовал, он признавал талантливую музыку, необычные книги, истинное искусство. Его превосходство вызывало ненависть, а в таких свинцовых облаках злобы, зависти, угодничества жить тяжело, удушливо, смертельно опасно...

Я искал в книгах следы хоть одного человека, который бы не подчинился временщику. Только Суворов. После Измаила. Кого же было ему уважать?!»

Интересно, — задумалась я, — почему он называет документальную повесть дипломной работой?!

Тишина в квартире помогала мне сосредоточиться. Сергей дежурил в клинике, Анюта писала домашнюю работу по биологии, обложившись книгами. Часы пробили десять. Олег так и не зашел. Странно. Он отличался всегда пунктуальностью. Я накинула платок и решила спуститься за вечерними газетами. В подъезде было полутемно. Неприятное ощущение — пустой подъезд. Тем более что квартиры начинались со второго этажа. Я не сразу попала ключом в отверстие почтового ящика. Нет, пусть Сергей достает вечером газеты, я всегда боялась ночной тишины. И тут что-то насторожило. Сердце екнуло. Да, храбростью большой я не отличаюсь. Шорох, шепот?! В темном углу под лестницей. Оглянулась, начала присматриваться. Очертания фигуры на полу. Или это одежда?! Нет, фигура, маленькая, неподвижная... Мне отчаянно захотелось сесть в лифт и нажать кнопку. А вдруг кому-то плохо? Я сделала шаг, другой к сгущенной темноте под лестницей.

Сначала я заметила милицескую форму на лежащем, потом поняла, что это — Стрепетов. Я бросилась к нему, схватила за плечи, голова его безжизненно качнулась. Начала его приподнимать, встряхнула. Лицо Олега казалось безжизненным. Прижалась ухом к груди: то слабый стук сердца, то тишина. А может, это моя кровь пульсировала в висках?! Обморок? Ударился? Я попробовала его поднять. Не смогла. Опустила его на плитки пола и только тут заметила что-то черное на своих руках. Кровь? Но откуда? Он ранен? Ушанки на нем не было. Я оглядывалась, искала глазами его шапку. Мне хотелось подложить ему под голову что-то мягкое.

Что быстрее? Звонок на «Скорую» от соседей или попробовать поймать машину на набережной? Пока мне откроют, выяснят, кто я, чего хочу...

Я выбежала во двор, молчаливый, безлюдный, потом через арку на улицу. Накатывал и уплывал шум редких машин, никто не останавливался, хотя я пыталась махать рукой. Наверное, надо было крикнуть, но горло точно петлей стянуло.

Наконец я бросилась на середину набережной. Машина с синей вертушкой остановилась.

— На вас напали? У вас руки в крови.

И тут ко мне вернулось дыхание.

— Несчастье... — выговорила я непослушными губами. — С участковым инспектором милиции.



А дальше был осмотр места происшествия, множество машин, фотовспышки, деловые люди в штатском и в форме, одевшие наш подъезд. Загорелись окна в спящем доме — исчезло чувство времени. Кому-то я отвечала, показывала, как лежал Олег Стрепетов, когда я его нашла, а в ушах стоял звон, сердце вздрагивало, и я время от времени стискивала зубы, чтобы не разреветься...

## ГЛАВА ВТОРАЯ

У ворот школы Марину Владимировну остановил молодой худощавый высокий парень в блестящей куртке с множеством «молний». Он оказался работником уголовного розыска Филькиным.

— Я бы хотел с вами побеседовать об одноклассниках Стрепетова. Вы их хорошо помните?

— В общем — семь лет прошло...

— Вы не допускаете, что среди них мог оказаться кто-то, сводивший счеты со Стрепетовым? К примеру, приревновал...

Марина Владимировна против воли усмехнулась.

— Скорее должен был бы ревновать Олег.

Филькин терпеливо вздохнул. Его лицо было серьезно.

— Я со вчерашнего дня знакомлюсь с его одноклассниками. Разрабатываю эту версию, понимаете... Стрепетов был влюблен в Лужину?

— Что вы! Он с пятого класса предан Варе Ветровой.

Глаза Филькина заискрились, его невозмутимость была явно показной, для солидности.

— Я уже беседовал с этой девушкой, она, кажется, фельдшер на «Скорой»?

— Кажется.

— Стрепетов продолжал дружить с мужем Ветровой — Барсовым?

Марина Владимировна кивнула. Да, этот молодой человек много успел за день, фамилии соучеников Стрепетова он произносил так, точно сам учился в их классе.

— А с Лужиной Стрепетов не враждовал?

— Презирал. И даже не скрывал этого.

Она посмотрела на часы, но, несмотря на этот выразительный жест, Филькин продолжал задавать вопросы.

— Некоторые считают, что Стрепетов — не от мира сего. К примеру, Ланщиков. Я с ним недавно разговаривал, они ведь тоже были друзьями?

— Относительными. Но часто общались, когда учились на юрфаке.

— Но ведь Ланщиков кончил историко-архивный.

— Он перевелся туда с третьего курса МГУ.

Филькин закурил.

— Есть сведения, что вчера вечером из вашего дома выбежала высокая модно одетая девушка. А потом мужчина в куртке вроде моей. Вы не знаете, кто это мог быть?

Она пожала плечами и подумала, что единственно запоминающаяся деталь в лице ее собеседника — подбородок с ямочкой.

На следующий день после уроков я поехала к матери Олега, Веронике Станиславовне. Ей не разрешили дежурить возле него в больнице: он лежал в реанимации, состояние оставалось критическим.

Солнце заливало большую комнату, слепило глаза. Огромный старинный книжный шкаф делил ее пополам. Дальняя часть отражала вкус Вероники Станиславовны. Вышивки покрывали и тахту, и заднюю стенку шкафа, и кресла, лежали на полу, на столе, висели в виде занавесок. Вышивки уникальные, цветные, из шерстяных ниток, мельчайшим крестом по старинным образцам.

В уголке у тахты — столик для рукоделия на двух ножках, скрепленных перекладной. В противоположном углу — дряхлое кресло, над ним — бесчисленное количество фотографий в кожаных и бронзовых рамках и два акварельных портрета в голубых паспарту с золотыми вензелями по углам.

Передняя часть комнаты принадлежала Олегу и сверкала чистотой. Книжные полки, проигрыватель, кресло-кровать. Никаких признаков, что хозяин был в юности мастером спорта — ни грамот, ни выпелов, ни кубков. Только большая цветная фотография Вари на стене. Коротко стриженная, с челочкой, она смотрела

на нас узкими черными глазами и улыбалась просто-душно.

Вероника Станиславовна сидела в своем кресле. Глаза казались салатно-серыми. А когда-то меня поразили их яркий изумрудный цвет... Наверное, в молодости она была очень хороша, с пышными волосами, капризными ноздрями и крошечным ярким ртом, который никогда не подкрашивала, воспитанная, равнодушная и высокомерная с людьми не ее круга.

Она очень походила на акварельный портрет, висевший напротив. На нем была изображена дама в роскошном платье, шарфе, с пышно взбитыми волосами. Акварель выгорела от времени, но сходство было явное.

Мы почти не разговаривали, уйдя в свои мысли. Только вздрагивали от любого телефонного звонка. А звонили непрерывно. Друзья, знакомые, подшефные... Взгляд мой механически скользнул по второму акварельному портрету, потом замер. Олег? В старинном мундире с высоким воротом. Те же рыжеватые волосы, стоявшие хохолком на макушке, приподнятая правая бровь, выступающая нижняя губа. Некрасивое, умное лицо и несомненное сходство с портретом прекрасной дамы...

Вероника Станиславовна заговорила светским тоном, пугая русские и польские слова. В этом сказалось ее волнение, в обычной жизни только легкий акцент выдавал ее польское происхождение.

— То есть муй прапрадед, пан Ольбрахт Браницкий. Жил крутко. Добрых людей земля не тshima...

Она не сводила глаз с портретов.

— Муй прапрадед в Сибири умер, как сослали его в 30-м годе, после восстания, а то есть его единородная сёстра Эльжбета Браницкая, потом Воронцова, ее ваш Пушкин кохал...

Солнце переползало с места на место, освещая отдельные уголки комнаты, и они вдруг оживали, становились красочными, точно театральные декорации.

Елизавета Ксаверьевна Воронцова! Вот почему мне показалось знакомым ее лицо. А Олег никогда не упоминал об этом родстве. Хотя теперь стало модно находить или придумывать себе предков, родственников по благороднее...

— Где ваш удивительный стол? — невпопад сорвалось у меня.

— Вы не запомнили муй стол?



Вероника Станиславовна светски улыбнулась. Что это — умение держать себя в руках? Инстинкт самосохранения? Наркоз от реальности, от неотвязных мыслей о сыне: кто, зачем, за что это сделал?! А может быть, она не верит, что все это произошло... ждет, прислушивается... Вот щелкнет замок, легкие шаги, прозвучит его глуховатый голос...

— Файный стол! Он был завещан князем Потемкиным своей племяннице, Александрин Браницкой, ктура потом жила в Бялой Церкви. Старшой в роде получал, с поколения в поколение, походный стол светлейшего...

Я посмотрела на мать Олега. Потом вгляделась в акварельный портрет Ольбрахта Браницкого.

— Когда он родился?

— То есть тайна. Гетман Ксаверий Браницкий старшего сына не признал за наследника, его свезли в Варшаву. Только фамилию дал...

Да, во всех мемуарах писали о слишком нежной любви дяди к племяннице... Между ними стояло и близкое родство, и тайный его брак с императрицей...

Семь лет назад на этот стол небрежно поставили магнитофон, рассыпали десяток кассет. Мальчишки колдовали с перемоткой. Варя Ветрова, став на колени в своих неизменных зеленых брюках, перешитых из отцовских военных, что-то восторженно разглядывала, Марина Владимировна заглянула вниз. Такого подстоля она никогда не видела. Прямоугольная крышка красного дерева, окантованная гирляндой из золоченой бронзы, опиралась на одну ногу, совершенно ни на что не похожую. В середине что-то вроде тюльпана, сжавшего втугую лепестки. Массивный цветок лежал на восьми рогах, ветвившихся из голов четырех бронзовых сатиров с мушкетерскими бородками и закрученными усиками. Из-под их бородок выдвигались четыре деревянные мощные лапы с загнутыми когтями, державшие чуть сплюснутые бронзовые шары.

Олег стеснительно улыбался, немея, как всегда, в присутствии Вари. Она азартно протирала морды сатиров, выражения которых были разные: одно напыщенно, другое иронично, третье самодовольно, четвертое глуповато, точно портреты живых людей.

Когда Марина Владимировна и Варя вылезли из-

под стола, Вероника Станиславовна сказала посмеиваясь:

— То есть приданое Олега!

— Приданое положено невесте, а не жениху! — зазвенел голос Вари. Вероника Станиславовна с опаской глянула на эту высокую тоненькую девочку с круглым лицом, узкими угольно-черными глазами и тонким хвостиком темных волос, схваченных резинкой.

— Мама всю жизнь хвастает нашим столом, — улыбнулся Олег, — она считает, что такой — один на всем белом свете.

— Махнемся? — вдруг раздался голос Ланщикова. — Дам кинокамеру. Японскую...

Вероника Станиславовна подняла руку, точно отстраняясь.

— В нашем доме «не махаются» ни вещами, ни чувствами...

— Подумаешь! — буркнул разочарованно Ланщиков.

Этот невысокий мальчик с длинной шеей и разноцветными глазами славился в классе тем, что не мог пережить, когда у кого-то из одноклассников появлялась вещь, которой не было у него. Может быть, поэтому больше всего на свете Ланщиков обожал меняться, азартно и бестолково, а получив желаемую вещь, к ней остывал и мог тут же подарить друзьям...

— Добавлю магик. Стерео. Японский, — он точно не слышал ее слов. Его уже захватил азарт, у него побелели уши.

— Отстань! — сказал Стрепетов.

— Ну что тебе стоит! Ну, хочешь, еще складной велосипед?

Десятиклассники посмеивались, они привыкли к безудержности Ланщикова.

Олег положил руку на его плечо.

— Ладно, замнем...

Потом Варя рассказала мне, что Олег мог получить даже мотоцикл, так разошелся Ланщиков.

— Мы отдали тот стол до комису... — вновь услышал я монотонный серый голос Вероники Станиславовны. — Олесь поведал, как Варя вышла замуж, что не будет у него коханой...

Она закрыла лицо руками...

— Покарала Присвента Дева мать-грешницу...

Неужели она понимала, как мучила Олега последние годы?! Он никогда не жаловался, ничего не рассказывал, но я видела, что Олег волнуется, регулярно звонит домой, чтобы услышать голос матери. Он успевал перед работой сбегать в магазин и что-то приготовить ей на день. Она почти ничего не делала по дому...

И вдруг стала рассказывать напевно, покачивая дрожащей непрерывно головой.

— Я жила пид Львовом в монастыре. Я там и воспитывалась, на органе играла, вышивала, отец меня не хотел збирать во время войны. И спас тим недостойную. Кеды семью нашу бендеровцы вырезали, навели их поганые люди сказками о великом богатстве. И напрасно кровь пролили, ниц у нас уже не застали...

Она смотрела на свои вышивки, точно на киноэкран, на котором разворачивались памятные ей картины.

— А Николая Стрепетова сразу после войны пши-слали з милиционерами. Они с бандами воевали, порядок старались навести, землю от крови отмыть, людям души возвертать, страхом изъеденные...

Она чуть улыбнулась, точно увидела своего Николая, и лицо ее молодело и разглаживалось у меня на глазах.

— У Николая теж всех кривних бомбой поубивало на початку войны, а человеку надо кого-то кохать, кого-то жалеть. Забачил меня и взял до себе, хоть и грозили ему муки мученические. Чужая, да еще рода громкого, писали разные вражины, что я с теми бендеровцами проклятыми повензена. Пренебрег коханий. Сказал, что не верит тем наветам дьябльским, что у меня очи добрые... Его далеко отправили без меня, но я пошла за ним пшез всю Россию, я нашла его на Севере, и от того часу до самой его смерти мы не расставались...

Вязался ряд слов за рядом, монотонно, безучастно, словно она говорила сама с собой.

Солнце погасло, в комнате стало холодно, я застывала от этого рассказа. Даже сейчас она страдала из-за мужа... А как же Олег?

— Но зачем вы сдали фамильный стол в антикварный магазин? — пробилаь я своим вопросом через ее монолог.

— Олесь в отпуск обещал меня отвезти на ойчизну... Вот деньги и шукали...

— Когда вы сдали стол?



— Вчера. Олесь сам перевез, он даже не мыслил, сколько денег дадут.

Мне стало тревожно, какая-то мысль мелькнула, но тут же исчезла, спугнутая звонком в дверь. Я открыла. Влетела Варя Ветрова, бросилась к Веронике Станиславовне, обняла, не замечая, что мать Олега вздрогнула и окаменела. Неужели до сих пор не могла простить, что эта девочка не оценила любовь ее сына! Но ведь когда-то она сама сказала, что Варя не подходит Олегу.

Сколько же мы не виделись с Ветровой? Года полтора. Мальчишеская фигура, несмотря на рождение сына. Широкие плечи, узкие бедра, неизменные брюки. В юбке она выглядела неловко, стесняясь тонких, чуть кривоватых ног...

Марина Владимировна вспомнила, каким юным выглядел Олег Стрепетов на выпускном вечере. Вероника Станиславовна переделала ему костюм отца, черный, дорогой, но он не шел к его маленькой гибкой фигуре.

Варя возвышалась над ним. Девочка страдала, что пришлось надеть белое платье вместо любимых брюк. Да еще сшитое из материала для занавесок. Варя всегда придавала большое значение мелочам, они ее ранили, оставаясь надолго в памяти незаживающими царапинами.

Олег протянул ей цветы, но она отмахнулась, точно от шмеля, угловатая, неженственная, с маленькой головкой. И черный хвостик затянутых волос мотнулся, перевязанный голубой ленточкой. Прогресс. Раньше она скручивала волосы аптечной резинкой. Девочка старательно вытягивала шею, чтоб ее увидел длинный Барсов. Подол выпускного платья путался у нее под ногами, и она, кажется, тихонько чертыхалась, раздувая ноздри и порывисто поворачиваясь...

А во взгляде Стрепетова читалась и снисходительность взрослого, и влюбленность подростка, и странная грусть, точно он предчувствовал, что Варя — не для него, и все равно желал ей счастья. Таким его и запомнила Марина Владимировна. Мягкие, цвета сосновой коры волосы, выступающая в минуты задумчивости нижняя губа, множество родинок, точно по лицу рассыпали гречневую крупу, и ранние жесткие складки у рта, призна азартного напористого футболиста...

Варя смешалась лишь на секунду от холодности Вероники Станиславовны, но тут же заговорила тихо, смиряя обычную лихорадочную оживленность. Сказала, что заезжала к Олегу в больницу, надеялась попасть в реанимацию в белом халате, но ее обычная «проникающая способность» не сработала. Но она столько насмотрелась за два года работы на «Скорой», что убеждена — все обойдется, Олег сильный...

Чай был мгновенно согрет, около Вероники Станиславовны поставлена чашка. Я заметила, что Варя была одета модно, как мечтала в школе, споря с одноклассниками, что в таких «тряпках» любая дурнушка становится привлекательной. В те годы она побаивалась, что так и останется гадким утенком, которому не превратиться в лебедя.

Варя накинула на плечи Вероники Станиславовны пуховый платок, который покупала по моему совету вместе с Олегом из его первого заработка, приоткрыла форточку. Она подчеркивала, что своя в этой квартире и такой осталась, несмотря на замужество. Только меня обходила взглядом, точно я могла нарушить атмосферу деловитой чуткости, которую она здесь создала, мгновенно завоевав вновь сердце его матери.

Но мне казалось, что Варя переигрывала... И тут появился Ланщиков. Он был взволнован, у него даже губы дрожали. Я не ожидала встретиться с ним здесь. Они с Олегом Стрепетовым несколько лет не разговаривали. Неужели он лучше, чем я о нем думала?!

— Ну как Олежка? — Голос Ланщикова вибрировал. — Есть надежда?

— Я не врач.

— Ну а что они говорят? Он выкарабкается?

— Будем надеяться.

— Такая травма не отразится на памяти?

Я пристально посмотрела на Ланщикова. Но в его разноцветных глазах ничего нельзя было прочесть. А может быть, подлинное выражение его лица стерли сгустившиеся сумерки? Однако свет зажигать мне не хотелось, полумрак больше располагал к откровенности.

— Марина Владимировна, мне очень нужна моя работа! Прошу прощения за настойчивость...

И снова что-то мелькнуло в моей памяти, та мысль, которую спугнул звонок Вари.

— Ты знал о родстве Стрепетова с князем Потемкиным?

Ланщиков замер на мгновение, и я приготовилась к очередному вранью.

— Знал. — Тон был торжествующий.

— Давно?

— Лет пять, когда Вероника Станиславовна вывесила все портреты и фотографии.

— Ты с ним говорил о своей работе?

— Даже предлагал соавторство в сборе материалов.

Ланщиков усмехнулся, отвечая на мой невысказанный вопрос.

— Отказался наотрез. Сказал, что это не то родство, которым можно гордиться. Что честолюбцы его не интересуют, потому что от них никому не бывает хорошо. Жить надо для других, тогда чувствуешь себя полноценной личностью, главное, чтоб в конце жизни не пришло ощущение, что она прогорела впустую.

Ланщиков смотрел поверх моей головы и произносил все без знаков препинания, словно читал наизусть стихи.

— И еще заявил, что согласен с Ушинским, который якобы говорил, что время, отпущенное нам здесь, на земле, тот невещественный капитал, на который мы покупаем себе вечность.

Да, память у Ланщикова всегда была великолепна, он в школе учился на четверки, только слушая объяснения на уроках, никогда не открывая учебники...

— Так можно мне сегодня зайти к вам за моей работой?

И в это мгновение вспыхнул свет. Я увидела в кухне огромного Барсова. Небритый, в кожаной вытертой куртке, которую ему подарил еще к окончанию школы дядя-геолог, он шагнул к Ланщикову. Голубовато-серые глаза Барсова от бешенства стали прозрачными. Он сжал локоть моего собеседника, отмахиваясь от влетевшей Вари, как от мухи.

— И ты посмел сюда явиться?

— Разве я не вправе узнать о здоровье моего школьного товарища Олега Стрепетова?

— Ты не товарищ! Ни ему, ни мне...

— Может, мне объяснят, что происходит? — спросила я. Варя фальшиво засмеялась, облизывая губы.

— Шутки, обычные дурацкие их шутки. Барс приревновал...

Ланщиков сдул невидимую пылинку с рукава, небрежно поклонился мне и направился к выходу, демон-



стрируя полное безразличие к Барсову. Зазвонил телефон. Варя побежала в комнату.

— Что ты не поделил с Ланщиковым?

— Я не обязан отчитываться перед вами!

Неужели он ревнует Варю?

А ведь в школе Варя о нем мечтала. Он же влюбился в гордячку Глинскую, Барсов никогда мне раньше не грубил, даже когда я высмеивала довольно болезненно в классе его лень, легкомыслие. Этого юношу спасало чувство юмора и везение. Стрепетов говорил, что, если бросить его в реку, он вынырнет с рыбкой в зубах.

Вошла Варя.

— Звонила Лужина. Днем украли из антикварного магазина стол Стрепетова.

— Ограбили магазин?

— Нет, все на месте, только этот стол исчез, буквально у всех на глазах.

— Да кому надо было его красть?

— В магазине не понимают...

Мне вспомнились слова Ланщикова-девятиклассника: «Разве учителя знают своих учеников? Мы позволяем им думать, что они нас понимают...»

Я услышала иронический холодный голос Вари Ветровой.

— Ну, пошли продолжать нашу безоблачную семейную жизнь, муж мой! Больше на сегодня ты ничего не выкинешь?!

Она старалась не смотреть мне в глаза, точно боялась, что я что-то угадаю по ее лицу, как это бывало в школе. Она тогда не умела врать, притворяться, кокетничать. Ее всегда выдавало лихорадочное нетерпение, с каким она торопилась жить взахлеб, страстно, азартно.

И колокол тревоги забил у меня в висках, как при пожаре, все быстрее, громче, отчаяннее.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Следователь Максимов был в кабинете один. Увидев Оскину, он встал, поздоровался и сел против нее за приставной столик.

— Скажите, Марина Владимировна, — начал он, — какую роль в деле Стрепетова могла бы сыграть Лужина?

— Мне не совсем понятен ваш вопрос.

— Наверное, не вопрос, — заметил Максимов. — Скорее основания для такого вопроса.

Марина Владимировна кивнула.

— Постараюсь объяснить. Филькин утверждает, что приметы Лужиной совпадают с приметами женщины, которая в тот вечер выбежала из подъезда. Фигура, белые сапожки.

— Таких сапожек в Москве тысячи, — пожала плечами Оскина.

— Я и сам так сказал Филькину. Но есть и другие обстоятельства. Она работает в антикварном магазине. Кажется, вы туда ее устроили?

Марина Владимировна кивнула, и следовательно продолжал:

— Знакомые у нее там появились разнообразные. Кстати, вы уже слышали, что старинный стол Стрепетова, сданный им на комиссию, был похищен из магазина?

— Ну не Лузина же его вынесла? Я уверена, что в происшествии с Олегом она никакой роли играть не могла.

— И все же Лузина резко изменилась в последнее время. Стала замкнутой, раздражительной, крайне настороженной...

— Разные бывают причины. Может, совпадение...

— Не исключено. Одна из одноклассниц Стрепетова сказала, что в этом столе был тайник. Кто мог еще знать об этом?

— Легенда о тайнике известна была всему классу. Стрепетов сам рассказал на дне рождения...

— Очень странная кража, — сказал следователь.

— Да, странная, — согласилась Марина Владимировна.

— А директора антикварного магазина вы давно знаете?

— Мы с Виталием Павловичем учились в одной школе...

Антикварный магазин находился рядом с ее квартирой, в первом этаже дома на набережной. Переехав в этот район, Марина Владимировна забежала в магазин из любопытства и встретила Виталия Павловича. Двадцать пять лет назад они вместе учились в школе, он

был старше на два класса и шел на золотую медаль. Марину Владимировну в юности привлекали только высокие мальчики, и маленький большеголовый Виталий напрасно дарил ей цветы, опустошая клумбы в парке.

Жизнь после школы развела их достаточно далеко. Он поступил в летное училище, потом уехал служить. Она кончила университет, работала в институте, в школе. И когда Марина Владимировна впервые вошла в антикварный магазин, то Виталия, конечно, не узнала.

За канцелярским столом сидел маленький крепенький мужчина, почти лысый. Коричнево-красные щечки торчали, как у бурундучка, тугие и налитые, а темные глаза излучали доброжелательность и приветливость.

Магазин показался ей лавкой старьевщика. Вперемежку стояли и ценные, и малохудожественные вещи, отполированные до зеркального блеска, и обломки, рассыпающиеся в руках, — мебель всех веков и народов, гобелены, вышивки, коробки и коробочки выставлены были в огромном зале с колоннами.

В магазине было темновато, она медленно прохаживалась, любуясь наборными шкафчиками, ширмами, экранами. И тут услышала сзади себя очень знакомый, хоть и забытый голос.

— Мариша? Я не ошибся? Приятная неожиданность!

Давно ее так не называли. Оглянулась. Пожилой мужчина в прекрасном сером костюме качал укоризненно головой.

— Меня не узнать, понимаю...

Она всмотрелась.

— Виталий?! Что ты здесь делаешь? — на лацкане его пиджака сверкнул ромбик военной академии...

— Вообще-то я здесь директор, уже два месяца. — Виталий улыбнулся, умно и многозначительно.

— Шутишь?

— Зачем? У нас, летчиков-реактивщиков, жизнь интенсивнее, чем на гражданке. Я уже заработал свою пенсию, а бездельником жить скучно. Вот и пошел в институт торговли... на вечерний...

Вечером Виталий пришел к ней в гости, попил чаю, осмотрел квартиру и предложил вместо самодельной мебели из деревоплиты, которую делал ее муж, купить и реставрировать старинную.

— Ты с ума сошел! — возмутилась Марина Влади-



мировна, расценив его идею как издевку. — Откуда у нас такие деньги?

— Имея бесплатно руки Сергея...

— Есть руки, но нет финансов.

— Старинная мебель много дешевле современной, когда в неважном состоянии.

Сергей недовольно поморщился, сведя лохматые, всегда растрепанные брови. В предыдущие века он, если верить в переселение души, наверняка был бы стойком, столпником, схимником. Не зря он считал, что иметь в доме надо самое необходимое: «Простор и воздух дорожке барахла».

— В общем, ребята, у вас здесь хорошо, свободно, хоть на велосипеде катайся...

Да, вот чего у них было в избытке, так это простора! Сергей мебель свел до минимума: тахта, книжные полки, письменный стол, кресло. Носильные вещи держали в кладовке. Анюта в раннем детстве действительно каталась на трехколесном велосипеде по квартире.

Виталий пообещал позвонить, если в магазин поступят поломанные, а потому недорогие, но подлинно старинные вещи. Она купила благодаря ему диван с креслами. Остальную мебель «поймала» сама, забегая в магазин к открытию, когда не было утренних уроков.

Как-то, не увидев Виталия Павловича в торговом зале, она прошла в подсобное помещение, куда ставились наиболее интересные предметы мебели для музейной экспертизы.

Виталий сидел за столом и скучающе перебирал шахматные фигурки, одетые в красочные бисерные чехлы. Да и вся шахматная коробка была расшита бисером.

— Будьте добры, окажите любезность, мне трудно далеко ходить, хоть за сколько-то примите...

Сухонькая старушка стояла перед его столом, одетая в бесформенное пальто и закутанная в порыжелую старинную шаль.

— Понимаете, мамаша, такие вещи мы не принимаем, но для себя возьму, за десятку.

Виталий посмеивался, пока не заметил Марину Владимировну. Молниеносно сгреб коробку с фигурками в ящик письменного стола, потом вскочил, сунул старушке деньги и быстро пошел навстречу подруге юности, тесня ее в зал.

Она вспомнила, как когда-то на комсомольском соб-

рании Виталий страстно говорил, что завидует тем, кто принимал участие в войне, что мы должны всегда помнить о них, поэтому он решил идти в военное летное училище. Маленький, крепкий, он откидывал голову, казавшуюся особенно большой из-за пышных выющихся волос...

Больше Виталий к ней домой не заглядывал, речей о высокой миссии продавца антиквариата не произносил, при встрече в магазине здоровался сухо, а потом Олег Стрепетов сказал:

— Ваш Виталий Павлович зарывается в своем магазине...

— Откуда ты знаешь?

— Что я, не вижу одних и тех же спекулянтов-перекупщиков утром возле магазина? Или жучков, которые на подхвате у реставраторов? Покупают по дешевке, передают им для работы, а выручку — пополам...

— У него большая пенсия, не считая зарплаты, зачем ему махинации? Не будет он пачкаться...

Стрепетов посмотрел на нее иронически. Иногда ей даже казалось, что Олег в чем-то взрослее. Во всяком случае он возмутился, когда Марина Владимировна выполнила просьбу Вари Ветровой и устроила «судьбу» Лужиной.

— Пустили козла в огород, — сказал Олег Стрепетов, назвав так антипоэтично самую красивую девочку из его бывшего класса.

Кинематографически эффектна была Лужина, а любимый юноша бросил, хотя она последний год в десятом классе рабски прислуживала ему, носила за ним «дипломат», писала домашние контрольные. Он назвал ее «овцой» и ушел работать на завод, а Лужина оделась в черное, как вдова, отказалась поступать в институт и решила выйти замуж за необыкновенного человека, чтобы утереть нос «неверному». Инфантилизм? Марина Владимировна так и расценивала эти идеи. Красота Лужиной давала, видимо, ей ощущение исключительности, ей мерещилось, что где-то впереди ее ждет чудо. Но она влюблялась только в эффектных «фирменных» мальчиков, а те тоже привыкли к обожанию и воспринимали ее красоту как очередной приз жизни.

Характера Лужиной не хватало. Она могла или покоряться, или повелевать. А подруги, не особенно краси-

вые, выйдя замуж за обычных мальчиков, злорадствовали, утверждая, что на ней бояться жениться: слишком красива... Когда же Лужина начала посещать курсы бальных танцев в парке культуры, не всегда ночевать дома, грубить, родители забили тревогу. И Варя Ветрова, больше всех переживавшая за одноклассников, притащила ее к Марине Владимировне «для промывки мозгов».

После душеспасительной беседы выяснилось, что венец мечтаний Лужиной — работа в антикварном магазине. Она слышала, что такие магазины посещают интересные люди: «Главное, для такой, как я, попасть им на глаза».

Марина Владимировна смотрела, слушала ее и думала, что в природе все уравновешено. При такой красоте ум необязателен, а глупая продавщица может работать не хуже умной. Да и впишется она в интерьер антикварного магазина как самый ценный экспонат, в котором ничего не реставрировано, не подделано. Черные волосы выются без всякой химии, загнутые ресницы доходят почти до бровей. А какие роскошные цвета спелого каштана глаза! Ни единой опечатки не сделала природа: даже рот крошечный с родинкой над верхней пухлой губой. Такие мушки приклеивали кокетки XVIII века, чтобы объявить поклонникам: сердце свободно...

— Ну все ей подарено по высшему разряду! — охала Варя Ветрова.

И Марина Владимировна отвела Лужину в магазин к Виталию Павловичу. Он задекламировал на любимую тему: торговля антикварными изделиями — просвещение народа, спасение ценностей прошлого, гуманность, подвижничество, просветительство...

Лужина нетерпеливо послушала его монолог и стальным голосом спросила:

— Какова будет моя зарплата? Смогу я поступить в институт торговли? Разрешите вы мне два раза в неделю уходить на час раньше с работы?

— Зачем? — Виталий растерялся. Его «фонтан красноречия» явно не сработал. Видно, девушка была прагматиком.

— Я хожу на курсы танцев в парк культуры.

— Зачем? — повторил вопрос Виталий.

— Чтобы стать воспитанным человеком.

Виталий посадил Лужину за свой столик в зале, а сам отошел к окну и взглянул на нее. Вика подколола



вьющиеся черные волосы на затылке, оставляя открытыми маленькие розовые уши, локоны падали копной на шею, глаза девушки смотрели задумчиво и загадочно...

А когда через несколько месяцев в магазин зашел Стрепетов, Лужина чрезвычайно вежливо приняла его: цедила слова, смотрела через огромные дымчатые очки, томно слушала комплименты толпившихся рядом молодых людей восточного типа... Виталий Павлович катался горошком по магазину, а она сидела изваянием.

— Представляете, на одном пальце — два бриллиантовых кольца?! — Олег был возмущен, но ироничен. — А ведь в школе была хоть и пустоватая, но с добрыми намерениями девчонка.

— У Лужиной отец — военный, единственная дочь, вот и делает ей дорогие подарки...

— И твой Виталий Павлович ее как дочь лелеет? — бросил Сергей, явно став на сторону Олега.

Марина Владимировна вздохнула. Иногда ей казалось, что ее муж тоскует по неродившемуся сыну и Стрепетов вызывает в нем нереализованные отцовские чувства. Правда, Аня лезла из кожи, чтобы в ней не было «бабства». По количеству драк, травм она уже выполнила норму за семерых сыновей.

— Виталий интеллигентный человек, много читает... не будет он пачкаться... — сказала Марина Владимировна.

— С каких пор интеллигентность предохраняла от спекуляций? Вот если бы вы сказали, что он порядочный человек...

— С меня он ни копейки не брал...

С Мариной Владимировной Лужина повела себя высокомерно только через год. Видимо, трудно было преодолеть ученический комплекс: три года вставала, когда она входила в класс.

Вика сидела в кресле в торговом зале, а Виталий примостился на подлокотнике, обняв ее за плечи. Не смутившись, он победно воскликнул при виде Марины Владимировны:

— Хороша у меня куколка?

Лужина не шелохнулась, точно его поза была для нее привычна и естественна. Только рукой постукивала

по столу. И на пальце вспыхивало синими лучами причудливое кольцо.

— Какое удивительное кольцо! — сказала Марина Владимировна. Девушка неожиданно побагровела, вскочила и крикнула возмущенно:

— Это бабушкино кольцо, я здесь ни единого кольца не приобрела, правда, Виталий Павлович?

Марина Владимировна пожала плечами и пошла по торговому залу, в который теперь заходила очень редко. У Сергея совершенно не оставалось времени и сил на реставрацию. Ее внимание привлекла большая вышитая бисером картина. Кабачок в Голландии. Возле двери сидит толстая веселая женщина. Вяжет. Перед ней девочка дразнит пушистого щенка, ставшего на задние лапы, чтобы получить кусочек сахара. И такое спокойствие, довольство на лицах, тишина...

— Нравится?! — Вика Лужина подошла бесшумно, ступая с пятки на носок. — А мне кажется — грубовата. Я больше уважаю галантные сценки...

Марина Владимировна промолчала.

— Вы не допускаете, что у меня может быть свой вкус, своя коллекция?!

— Тебе нравятся именно бисерные вышивки?

— Конечно, их труднее всего подделать.

В этот момент в магазин вошел высокий элегантный Лисицын в сопровождении двух пожилых, очень сильно накрашенных дам. Марина Владимировна даже не сразу его узнала. От Вари она слышала, что стал Лисицын парикмахером очень модным. Лисицын небрежно кивнул Виталию Павловичу, соскочившему со своего кресла, и прошел прямо в подсобку вместе с возбужденными дамами, и голоса их сразу смолкли.

Лужина бледнела и краснела, переминаясь с ноги на ногу, она мечтала быстрее выставить Марину Владимировну. И тут на ее счастье в зал вбежал какой-то мальчишка. Она понеслась к нему, выкрикивая:

— Вон! Чтоб духа твоего... Паршивец! Хулиган!

Тот мгновенно исчез, и Марина Владимировна решила, что он ей просто померещился...

Я зашла в антикварный вечером после разговора с Вероникой Станиславовной. Лужина плакала, сидя в кресле, а Виталий успокаивал ее. Свет горел тускло, и

вид у него был точно у добродушного отца, утешающего нашалившую дочь...

— Сколько лет, сколько зим... — Он вскочил с кресла и бодренько шагнул мне навстречу. Когда Виталий Павлович начинал сыпать подобными поговорками, я знала, что он чувствует неловкость и мечтает провалиться сквозь землю. Или отправить туда собеседника.

— Что за приключение со столом Стрепетова? — спросила я без предисловия.

Он схватился за голову, потеряв свою лысину.

— Ума не приложу! Среди бела дня! Все цело — и замки и сигнализация, а стол исчез.

— А цена его какая?

Он замялся.

— Две тысячи пятьсот.

— Он не стоил таких денег...

— Конечно, состояние было неважное, но, понимаешь, все-таки наборный, крышка маркетри, много бронзы, да и век восемнадцатый, без подделки. Ну и хотелось сделать приятное Олегу Николаевичу...

Так. Пытались опутать благодарностью? Олег вряд ли знал истинные цены на эти вещи...

— Конечно, мы выплатим его матери деньги, но сколько позора?! — Голос Виталия звучал трагически.

Лужина поднялась.

— Разговоры между коллекционерами — это раз. Ходит милиция в любое время — это два...

Лужина достала большую сумку, побросала в нее книгу, бумаги.

— Я спешу...

И ее точно ветром унесло, даже холодильник по магазину пронесся.

— Осуждаешь? — спросил он. — А ты представь... Жизнь уходит, сколько наших уже ту-ту...

В магазине пахло пылью, лежалыми вещами... Люди приходили в мир, уходили из него, а мебель их переживала, получая после реставрации второе, третье, пятое рождение...

— Слышала новость?! Вика замуж выходит, углядел ее какой-то профессор в Доме кино...

— Чего же рыдала?

— Крысы бегут с тонущего корабля...

Виталий во мне искал сочувствия?!

— Кто-нибудь из ваших любимых коллекционеров приценивался к столу Стрепетова? Поглядывал?



- Они не поглядывают, а хватают.
- Не у всех при себе бывают такие деньги.
- Простоял он всего день...
- Вы ни для кого не отложили этот стол?

Я в упор поглядела в его темные глазки, пытаюсь поймать расплывающийся взгляд.

— Не в курсе... Лисицын поглядывал, он собирает вещи XVIII века, да и эти историки, фамилию забыл, ее зовут Марией Ивановной, кажется...

— А им зачем, они же увлекаются карельской безрезой?

— Может быть, как раритет?!

Не верилось, что он случайно сказал именно об этих коллекционерах. Виталий ничего случайно не делал. Лисицына он тоже назвал мельком, вскользь. Подчеркнуто небрежно. А он ведь ревновал к нему Лужину.

Мне стало любопытно, и я решила навестить Лисицына в его салоне на улице Горького.

И вот я в зале, в кресле. Рядом длинный Лисицын, скусающе пощелкивающий ножницами возле моих волос. Он меня словно не узнал.

— Что будем делать?

Лицо вдохновенное, нервное, прищуренные глаза, длинный гоголевский нос, и рот твердый, резко очерченный, на мизинце — толстый перстень-печатка.

Серебристый нейлоновый халат особого покроя делал его еще выше, он не выглядел парикмахером: скорее — спортсмен, манекенщик, начинающий дипломат.

— Так что будем делать? — повторил он.

Огромное обручальное кольцо на полфаланги приковало мое внимание.

— Не тяжело работать с таким кольцом?

— Нормально... — Он скусающе взял мои поредевшие волосы, небрежно пропустил их сквозь пальцы.

— Подстригите...

— Ко мне за этим не садятся...

— Делайте, что хотите... — Я прикрыла глаза.

В школе Лисицын любил всех смешить, коверкая фразы, произнося нелепости, сохраняя серьезный вид. Однажды сдал Марине Владимировне сочинение, напи-

санное от угла страницы до угла, отчего текст выглядел ромбом.

— Смысл этого мероприятия?

— Интереснее. Неужели вам не надоел стандарт?! — Улыбка у него была, как у Щелкунчика, от уха до уха.

Вокруг него всегда стоял хохот, и он купался в нем, как в теплом бассейне. На переменах его пихали, толкали, роняли на пол, он валился как резиновый, но никогда не давал сдачи. Он был смешным без натуги, от незаурядной артистичности и врожденного стремления привлекать к себе внимание любой ценой.

В сочинении «Как представляете вы свое будущее» в десятом классе Лисицын написал, что никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь, но он лично решил пойти в клоуны, без смеха нельзя жить, как и без хлеба.

Марине Владимировне не пришло в голову, что он ее разыгрывает, эта профессия подходила ему со всех мерок. И вскоре, когда в учительскую зашла его мать, она сказала ей, что Лисицын правильную решил избрать профессию. Хотя в цирковом училище большой конкурс, он обязательно попадет, из него выйдет блестящий клоун.

В учительской раздался оглушительный смех, а Лисицын на другой день хихикал, удивляясь доверчивости учительницы литературы.

— Клоунада — не профессия для мужчины... И вообще я стремлюсь к вещественному восхищению.

— Приношу извинения, Лисицын! — сказала она. — Поступайте, куда хотите, только желаю, чтобы в институте вы не исполняли ту же роль, что в классе. Шутами в отличие от клоунов не восхищаются, их презирают, даже когда они умнее толпы.

Лисицын посерел.

— А быть добрым, тонким клоуном, как Юрий Никулин, лучше, чем ремесленником в деле, к которому не лежит душа. Кто смеется добрым смехом, заражает добротой и других. Час смеха — год жизни, говорят врачи...

— Пройдите, пожалуйста, в сушилку! — услышала я голос Лисицына, посмотрела на него и заметила странное выражение на его ухоженном лице, точно на секунду он позволил себе расслабиться, сбросил профессиональное доброжелательство, как маску, и под ней проглянуло такое напряжение, что мне стало холодно.

В сушилке было душно, напротив меня щебетали под колпаками две девицы. Они говорили о Юрочке — чародее, волшебнике, художнике, и я не сразу поняла, что речь идет о Лисицыне.

Однажды в школе Лисицын подошел к Марине Владимировне. Он сворачивал и разворачивал какой-то листок, а потом пояснил, что написал реабилитационное сочинение. Потом тут же его уронил. А поднимая, наступил себе на ногу, отшатнулся и чуть не сбил проходившего Ланщикова.

Она посмотрела его сочинение, переписанное каллиграфически, не похожее на его обычные каракули. Лисицын сообщал, что его ничто в жизни не волнует, в голове ни единой мысли, что иногда побаивается, не стал ли кретином, потому что больше любит слонов, чем людей, всегда ходит к ним в зоопарк, когда ему плохо...

Лицо Лисицына было серьезным, но именно так он выглядел и при розыгрышах.

— Все это романтика для младшего школьного возраста, — заявил Ланщиков, который всегда с ним ходил. — В наш век надо точно знать, что ты хочешь и сколько за это готов заплатить — и все будет тип-топ.

Он не признавал сантименты, и Лисицын тут же начал ему поддакивать, заявив с важным видом:

— Я где-то читал, что пороки входят в состав добродетели, как яд в состав лекарства.

Лисицын появился в сушилке, пощупал мои волосы и сделал мне знак идти в зал.

Я села в кресло перед Лисицыным, и вокруг моей головы замелькали его руки. Он двигался с таким вдохновенным лицом, точно дирижировал симфоническим оркестром.

Судя по обручальному кольцу — женат. А на ком? — С какой стороны у вас прибор?

Он кончил жужжать феном и взялся делать начес. Он ни о чем не спрашивал. Привык, что женские головы отдавались в его руки бесконтрольно.

— Готово!

И сдернул с меня голубую салфетку.

Я себя не узнала. В зеркале отразилась женщина чуть старше тридцати. Я поймала его взгляд. Гордый,



торжествующий. И правда — талант! Лисицын поигрывал ножницами как кастаньетами.

— Спасибо, сколько я должна?..

— Со своих учителей я денег не беру!

Он усмехнулся, получив удовольствие от выражения моего лица.

— Неужели вы думали, что я вас не узнал?!

— Спасибо, но я не могу бесплатно у вас причесываться! — И я оставила пять рублей на столике.

— Ну зачем же так... мелочно, я вам благодарен на всю жизнь, если бы не вы с вашей идеей насчет клоунады...

— Не вижу связи между клоуном и парикмахером...

— Напрасно, артистизм одинаков.

И тут в зеркале мне почудилось лицо Филькина. Он мелькнул на секунду и исчез. Я даже головой потрясла. Просто наваждение.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

— Что общего у Лисицына с Лужиной? — спросил следователь Максимов Марину Владимировну.

— Не знаю. Поймите, среди моих учеников не может быть преступников.

Следователь усмехнулся.

— Стрепетов недавно сказал Лужиной и Лисицыну, чтобы они кончали свои аферы.

— И что же они?

— Согласились.

Он полистал бумаги, и Оскина сказала с усиленной почтительностью:

— Ваш Филькин творит чудеса.

В этот момент высокий оперативник вошел в кабинет и положил перед Максимовым новый рапорт.

— Среди одноклассников Стрепетова разговоры только о нем...

— Ничего удивительного, — вмешалась Марина Владимировна, — его любили в школе. Да и гордились. Вы же знаете, наверное, что он был в те годы известным футболистом, восходящей звездой.

— Еще бы! — и лицо Филькина оживилось. — Я был его болельщиком.

Он даже потер рукой жесткие, стоявшие ежиком светлые волосы.

— Кстати, почему так странно сейчас ведет себя ваша Варя Ветрова? Ссорится все время на людях с мужем, прямо комок нервов, — добавил Филькин...

— Они были очень близкими друзьями, Варя и Олег, вот она и переживает... — ответила Марина Владимировна.

Следователь Максимов отодвинул бумаги, сделал знак Филькину сесть и сказал:

— Вспомните все, что могло бы характеризовать Олега Стрепетова. Сколько о нем ни слышу — а здесь перебивало уже множество людей, — все говорят одно: «Романтик!» Даже странно для работника милиции...

Олега Стрепетова Марина Владимировна узнала в девятом классе, когда начала преподавать у них литературу.

Олег сказал, что не любит болтливых рефлексирющих и бездеятельных людей типа Бельтова у Герцена.

— Есть люди с больной совестью... — начала она, но некрасивый рыжеватый мальчик возмутился.

— Чем ваш Бельтов поступился ради других?

— Он отказался от карьеры в обществе, которое не уважал...

— И только?

— Декабристы были разгромлены, у него не было единомышленников.

— Доктор Гааз нашел способ помогать людям...

Она поняла, что этот мальчик — из романтиков, идеалистов. И удивилась, когда его друг, огромный Барсов, сообщил, что Стрепетов — известный футболист, играющий в команде юниоров страны, и прославился своими знаменитыми ударами головой.

Марина Владимировна в спорте признавала только фигурное катание. Ей казалось, что интеллектуалы не могут много времени и сил отдавать спорту.

— Не любить футбол хуже, чем не любить музыку, вы себя обездолили... — Барсов был категоричен, и его младенчески розовое толстошее лицо покраснело от возмущения. Он дружил с маленьким Стрепетовым и очень гордился этим. Ей стало смешно слушать его дифирамбы футболу, и она согласилась поехать с ним в воскресенье смотреть игру Олега Стрепетова.

По ярко-зеленому полю забегали маленькие фигурки. Барсов сообщил, что Олег — «седьмой номер», но

она долго не могла понять, кто в какой команде и под каким номером.

Наконец, научившись отличать фигуру Стрепетова, она заметила, что он все время оказывался как бы под ногами долговязых мальчиков, перемещаясь с неуловимой верткостью. Барсов объяснил, что он — полузащитник. Казалось, мяч вился возле ног Олега, словно привязанный невидимой бечевкой. Большинство мальчиков пытались отбить этот мяч, а Олег легко, точно танцуя, уходил от них, скользя по траве. Они начинали растерянно оглядываться, и вдруг мяч проносился по воздуху вне пределов досягаемости.

В середине второго тайма Стрепетов забил второй гол, головой.

После игры Стрепетов пришел сияющий, с мокрыми, тщательно зачесанными волосами, только рыжеватый хохолок упрямо торчал на затылке, и сказал шепотом:

— Меня в «Динамо» пригласили сегодня...

Барсов поднял кулак и заорал «ура-а!».

— Тренер приходил, интересовался, как учусь...

— А ты? А он? А когда? — засыпал его вопросами Барсов.

— Много приходится тренироваться? — спросила Марина Владимировна Олега. Для нее даже регулярно заниматься утром гимнастикой было немыслимым подвигом.

— У Олега каждая минута на счету. Утром до школы бегают десять километров, в любую погоду, а летом и весной — с мячом. — Барсов откровенно хвастал своим другом.

— Как это — с мячом?

Олег покраснел, выпятил нижнюю губу.

— Ну, веду мяч, чтоб от ноги не ушел, пасами...

По лицу Марины Владимировны он, видимо, понял, как мизерны ее представления о футболе.

— А вообще вам здесь понравилось? — спросил Олег, точно гостеприимная хозяйка, угощающая пирогом с капустой. Она кивнула, продолжая недоумевать, зачем все-таки этому своеобразному ученику нужно играть в футбол?!

Много лет спустя, когда Стрепетов был вынужден уйти из футбола, она попыталась узнать, почему он увлекся именно этим видом спорта? Он помолчал, тщательно обдумывая ответ.

— Такому мозгляку, каким был я в детстве, необ-



ходимо самоутверждение. Непередаваемое ощущение, когда на тебя устремлены сотни глаз, ты как бы в фокусе...

Помолчал.

— Я чувствовал, что даю людям ощущение остроты жизни... На Руси всегда были в чести игрища. Мужчинам необходимо реализовывать избыток энергии... Правда, нынешние болельщики — бич спорта, я бы не мог играть при «фанатах».

Анюта слушала его, приоткрыв рот. Олег был тогда в милицейской форме. С современной «агрессивностью» ему, к сожалению, приходилось сталкиваться по долгу службы довольно часто...

Марина Владимировна сидела с Барсовым на трибуне, когда команда «Динамо» проводила последнюю тренировку перед игрой на кубок. Они зашли за Стрепетовым, собираясь попасть на выставку. Анюта заняла там на всех очередь.

Тренер Олега возмутился, услышав про его намерение.

— Перед такими соревнованиями... музей! Потом друзья, подружки.

Олег засмеялся.

— Честное слово, только музей. Вот моя бывшая учительница литературы сидит, спросите у нее...

Тренер, грузный, необыкновенно подвижный, неодобрительно посмотрел на нее маленькими, как у медведя, глазами и вздохнул.

— Ну разве что на два часа. А потом ко мне, на базу.

Слепило солнце, вечернее, бледное, размытое, и ни она, ни Барсов не могли предположить, что через минуту Олег столкнется с вратарем и покатится по земле, сжавшись в комок. А когда после секундной заминки попробует приподняться, резко упадет на спину, потеряв сознание. У Олега оказался трехлодыжечный перелом голени...

Олег никогда раньше не болел. Беспомощность его страшно раздражала. Уже через три дня он стал прыгать на одной ноге, держа костыль под мышкой. Стрепетов еще не понимал, что футболистом ему не быть.

Чаще всего его навещала Варя, приносила книги, цветы, выполняла поручения всей палаты. Она смешила Олега, заставляла его ходить, поддерживая под руку или подставляя свое плечо. В те годы она совсем не обращала внимания на свою внешность, не умела пользоваться косметикой, не переживая, что у нее небольшие глаза и большой рот. Негустые черные волосы завязывала чем попало, они болтались на затылке смешным тонким хвостиком, и Олег постоянно следил за ним глазами, худой, желтовато-бледный, осунувшийся. Все посетители спрашивали его, в каком он классе.

После больницы начались у него тренировки. Олег пытался разработать ногу, проделывал многочасовую тяжелейшую гимнастику, поднимал ногами огромный груз. Стрепетов впервые в жизни ожесточился, одержимый упорной мечтой побороть природу.

Когда Олег вышел на стадион впервые после перелома, все заметили, что он сторонится мяча. Олег надеялся отыграться на своих знаменитых ударах головой, но мяч ему перестал подчиняться. Он, видимо, невольно щадил больную ногу, уменьшая силу удара. На стадионе начались свистки, выкрики. Болельщики были безжалостны к недавнему любимцу.

И Стрепетов ушел с поля навсегда.

Почти год Олег не приходил к Марине Владимировне, не отзывался на ее звонки. Но однажды вечером Стрепетов появился. Пьяный. Марина Владимировна загнала Анюту в ее комнату, а Олега провела к себе.

Марина Владимировна не испытывала отвращения, хотя пьяных не выносила, только жалость, щемящую и ноющую, как зубная боль. Он не запил после смерти отца, безропотно возился с больной матерью, он не запил и после перелома ноги, этот несостоявшийся великий футболист... Что же теперь случилось?

— Варька посмеялась... Сказала — за таких замуж не выходят...

— Поэтому ты и напился?

— Но почему надо смеяться? Разве стать моей женой — оскорбительно?

Она села, взяла его за руку, стараясь поймать взгляд.

— А мать? О ней ты не думаешь?

— Запрещенный удар... — Он попробовал встать, но она удержала.

— Ей только отец был нужен.

Никогда раньше Марина Владимировна не замечала, что Олег — ревнив, неужели копилось годами...

— Но сейчас ты ей необходим, а пока ты нужен хоть одному человеку на земле, обязан жить человеком.

— Варьке-то я не нужен... Футбол для меня — ау!

— Ты всю жизнь собирался играть в футбол? А для чего пошел на юрфак?

— Я хотел, как отец...

— Он ведь не был футболистом.

— Тогда было время другое. Он людей спасал, беспризорников...

— Тебе было бы полезно пойти в милицию.

— Да кто меня возьмет? И кем я пойду? Если бы я оставался футболистом... А так — что я для любого пацана теперь?!

— Создай свою команду. Из трудных подростков...

Его тусклые глаза ожили, заблестели.

Они помолчали. На некрасивом лице Олега смешалось множество выражений.

— Меня не возьмут, я только на третьем курсе юрфака.

— Ты ведь отслужил в армии, твой отец работал в милиции...

— Это детские доводы.

— Обратись в райком комсомола за рекомендацией...

Он горько усмехнулся.

— Поймите, я теперь в ауте. Все, знаменитый футболист испекся... А просить я никогда не просил, вы же знаете...

Она вспылила, сказала, что начинает его презирать за безволие, эгоизм, малодушие. Он молчал, не оправдываясь, не защищаясь. Он уходил в свои переживания, как в вату, упрямо внушая себе, что жизнь кончилась...

И тогда Марина Владимировна пошла в райком комсомола. Дошла до первого секретаря, заявила, что они не имеют права проявлять равнодушие к судьбе Стрепетова, которым недавно так гордились, что нужно подсказать ему цель, во имя которой можно жить. Учительница рассказала, что он любит подростков, умеет



находить с ними общий язык, испытывает ответственность за слабых...

— Ему необходимо дать рекомендацию для работы в милиции, — закончила она.

Ее собеседник, аккуратный молодой человек со спокойным лицом, посмотрел на часы и встал.

— Мы дадим рекомендацию. Он сможет поступить в двухгодичную школу милиции, а университет окончить заочно.

И добавил.

— Я видел Стрепетова на поле. Таким нужны перегрузки.

Так со временем Стрепетов стал работать участковым инспектором милиции. Спиртного он больше в рот не взял. Он умел держать слово, данное и себе и другим.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Варя Ветрова позвонила в семь часов.

Я только вернулась из школы после педсовета. Голос ее был возбужденный. Поинтересовалась моим здоровьем, Сергея, Анюты.

— Можно забежать?

Если бы Варя спросила не так небрежно...

— Зачем? Это связано с Олегом?

— Не совсем. Хотя Филькин уже несколько раз со мной беседовал.

— Извини, я только что пришла с работы и устала... Да и вообще нам не о чем говорить.

Не могла я простить этой девочке легкости, с какой она вычеркнула меня из своей жизни...

Попужинав, я села читать дальше рукопись Ланщикова. Скоро надо было ее отдавать, а я все не могла понять, что меня смущало в его работе. Ланщикова сжато выписывал мир, в котором Потемкин жил, интриговал, сибаритствовал и мучился тоской после исполнения всех желаний. Но что привлекало моего бывшего ученика к этой фигуре? Неожиданно обнаружившееся родство со Стрепетовым, какие-то материалы, которых до него не было у историков? Он мечтал о сенсации, но все им написанное встречалось у разных авторов, в мемуарах, архивах.

Раздался звонок в дверь. Голос Анюты:

— Мама, к тебе.

Я вышла в переднюю.

— Ветрова была у вас?

— Ты бы поздоровался.

Лисицын смотрел на меня, точно не видя, и дрожал, как при малярии. Дубленку он не застегнул, губы набрякли — таким я его никогда не видела.

— Ветрова не забежала? — Он явно не слышал меня.

— Два года не забежала.

Губы его затряслись.

— Это вы ей жизнь искалечили, вы ее по себе лепили...

Я удивилась. Примерно эти же слова она мне сказала сама, позвонив через год после свадьбы.

«Если бы не вы с вашими теориями, мне бы жилось легче».

Я точно вновь услышала ее высокий, чуть захлебывающийся голос.

«Сейчас все живут проще, жестче, а мне приходится себя ломать, чтобы совершить здравый поступок...»

Я ее не перебивала. Боль, обида уже отмерли.

— Неужели вы не понимаете, как вы всегда были деспотичны! — Лисицын смотрел на меня с бешенством. — Так где же она? Ее надо искать, срочно искать, не стойте так бесчувственно...

На его возбужденный истерический голос в переднюю вышел Сергей.

— Сходил бы ты к невропатологу... — Мой муж терпел спокойно неожиданные появления моих сегодняшних и бывших учеников, но не выносил дома крика. — Вид у тебя неважный. Или совесть не чиста?

Сергей хотел, видимо, шуткой снять напряжение. Но Лисицын выскочил из квартиры, хлопнув дверью, так, что упал кусок штукатурки.

Что-то заныло в душе. Я решила с утра позвонить Варе, до ухода на работу. Попросить зайти. А вдруг ей нужна помощь? Но какое к ней имеет отношение Лисицын? Она так подсмеивалась над ним в школе, снисходительно, как над младенцем...

От Лисицына мысли мои перекинулись на Ланщикова. Зачем он все-таки забегал к Веронике Станиславовне? Был совершенно не похож на себя. Так же взвин-

чен, как Лисицын. Неужели он связан с делом Стрепетова? Ради стола Потемкина? Чушь! Интересно, знал ли он, что стол Стрепетова сдан в антикварный магазин? От Лужиной мог услышать, конечно...

Визит Лисицына выбил меня из равновесия.

Я села к столу, раскрыла рукопись Ланщикова и начала читать дальше «Историю взлета и падения великого честолюбца».

«...Что совершил Потемкин, получив власть из рук императрицы? Облегчил участь солдат. Написал приказ против щегольства, «удручающего дело, против педантизма иностранных офицеров». «Завиваться, пудриться, плести косу — солдатское ли дело? У них нет камердинеров». Он писал: «Полезнее голову мыть и чесать, нежели отягощать пудрою, салом, мукой, шпильками, косами».

Потемкин запретил жестокие наказания в армии, приказал следить за обогащением солдатских артелей, устраивал лазареты.

Добился права не выдавать беглых крепостных в Новороссийском краю, который отвоевали у турок. 600 тысяч человек стали вольными в его генерал-губернаторстве.

Отменил виселицы в своих польских имениях: «чтобы жители исполняли приказанья господские из должного повиновения, а не из страха казни». Велел все дела там вести на польском языке. Позволил староверам строить свои церкви и молельни, оставил им книги, иконы. Но не признавал масонов, враждовал с ними, считал интриганам и заговорщиками, болтунами и лежебоками, зловредными разрушителями его дел. Помогал, способствовал Ушакову создавать черноморский флот, строить верфи, в Херсоне завел «морской кадетский корпус», «училище штурманское и корабельной архитектуры». При нем был присоединен Крым, ликвидированы вольности Запорожской Сечи, заложен город Екатеринослав с храмом, который должен был стать выше римского.

Потемкин требовал независимости Молдавии у Турции, облегчения судьбы Валахии, уступку Анапы и зарабатывал грандиозный проект взятия Царьграда.

Перед второй турецкой войной предложил просить у Англии и Франции каторжников, чтобы ими заселить



пустые астраханские и азовские земли. Считал, что среди преступников много незаурядных людей. Они смогут принести пользу тому государству, которое вернет им человеческие права...

Потемкин посещал чумные госпитали в Херсоне и Кременчуге, несмотря на протесты доктора Самойловича; нарушал общепринятые традиции, сажая сухопутных офицеров на суда и посылая в бой: обезопасил берега Крыма и Приазовья, отвоевал свободный проход русских судов через Черное море, боролся с бездарными адмиралами Мордвиновым и Войновичем, старался помогать великому Ушакову, Ломбарду, который на галере «Десна» самовольно защитил Кинбурн.

По распоряжению Потемкина в Англию были посланы два оружейника и четыре мастера с тульских заводов. Алексей Сурнин прославил русских умельцев, создав станки, опередившие свое время. Потемкин направлял в ученье и мальчиков, способных к живописи, скульптуре, специально приказывая отбирать таланты среди крепостных, называя их своими «воспитанниками».

Список его деяний можно было бы продолжать долго, но, к сожалению, он почти ничего из своих мечтаний и проектов не довел до конца. Он всегда ощущал себя на краю пропасти, полувластелином. Слишком много уходило сил на интриги. Он хотел потрясти императрицу, организовал сказочное ее путешествие в Крым, оно стоило 12 миллионов рублей. Он мечтал и верил в свои проекты, будучи гениальным фантазером, хотя император Иосиф II назвал все, что встречали в этом путешествии, галлюцинацией.

По приказанию Потемкина строили дороги, гавани, крепости, дворцы на болотах, в пустынях сажали желуди. Он видел будущие леса. Был создан черноморский флот. Екатеринослав существует и доньше, как и бесконечные маленькие местечки в Белоруссии, как и преобразованный Херсон, в котором появились ворота с надписью «Путь на Византию», две тысячи каменных домов и 200 купеческих судов в гавани.

«Баловень счастья» хотел коренным образом преобразовать флот и армию — царица противилась. Любя, покоряясь вначале, она потом осаживала его, все ироничнее, покровительственнее, резче.

Потемкин получает письмо от императрицы. Она упрекает его за долгое молчание, потом добавляет: «Вы

теперь, мой дорогой друг, не частное лицо, которое живет, как хочет, и делает, что ему нравится, вы принадлежите государству, вы принадлежите мне».

Императрица его подбадривает, когда он хотел сложить с себя командование: «Ободритесь и будьте уверены, что вы одолеете все, если будете иметь немного терпения, это истинная слабость с вашей стороны (текст по-французски), чтоб, как пишешь ко мне, низложить свои достоинства и скрыться, отчего?» (эта приписка по-русски).

После гибели севастопольского флота во время бури она ему выговаривала: «Сколько буря была вредна нам, авось либо столько же была вредна неприятелю, ни уже что ветер дул лишь на нас? Прошу ободриться и подумать, что бодрый дух и неудачу исправить может: все сие пишу тебе как лучшему другу, воспитаннику моему и ученику, который иногда более еще имеет расположения, нежели я сама, но на сей случай бодрее тебя, понеже ты болен, а я здоровая... (далее по-французски). Я нахожу, что вы нетерпеливы, как пятилетний ребенок, тогда как дело, порученное вам, требует непоколебимого терпения».

В самый последний год его жизни императрица писала:

«Я люблю доставлять вам удовольствие и не люблю отказывать вам, но я хотела бы, чтобы по поводу назначения на такой ответственный пост все бы говорили: вот прекрасный выбор, а не говорили, вот недостойный выбор человека, не имеющего представления об обязанностях. Заключайте мир, после чего вы приедете сюда и будете тогда развлекаться, сколько вам угодно».

Постепенно меняется характер ее писем, от влюбленных до повелительных. Менялся и облик князя Таврического. На первых картинах — дерзкий гордый красавец с твердым взглядом и крепким подбородком. Он смотрит вдаль, а рукой указывает на море, рот сжат, чуть ироничен, но при всем высокомерии нет ни злобы, ни хитрости... А вот портрет Лампи, видимо, в конце жизни князя... Лицо темное, точно из сырой глины, обрюзгло, лоб стал ниже, губы мятые, не сжимаются, а кривятся в желчной гримасе, щербинка на пухлом подбородке. И главное — из взгляда ушла гордость, вера в себя, ирония. Один глаз — мертво-спокойный, искусственный, другой — зоркий, светлый, горел еще живым огнем. Горький взгляд, все понимающий и не ждущий

счастья, а рука прижата к груди, точно он сдерживает боль сердца... Опустошенный человек. Даже брови низко нависают над глазами, не летят ввысь, как на молодом портрете...

Такие же изменения в характере. Самодурство, разгул желаний, огромные деньги швыряются на ветер, по прихоти, блажи, упрямству. Любил играть, проигрывал огромные суммы, прощал иногда проигрыши, но только не ложь, не обман, и мстил изобретательно, остроумно. Он прожигал миллионы. Во время второй русско-турецкой войны ставка его утопала в роскоши. Он принимал посетителей, лежа на шелковом розовом диване, в гетманском платье, босым, но бриллиантовая звезда, андреевская и георгиевская ленты неизменно покоились на его груди и производили странный, почти комический эффект, когда он грыз любимые репки, качая лохматой неприбранной головой, равнодушно-уныло поглядывая на вошедших.

О нем рассказывали анекдоты, фантастические истории, легенды, о его чудачествах, хитрости, мудрости, о его понимании людей.

А рядом — сплетни, клевета, зависть, его называют «высочкой», «невеждой», «развратителем и погубителем страны».

Современники сравнивали его с Меншиковым. Жадность, страх потерять влияние, власть, головокружение от свершений, убежденность, что все значительное в делах страны будет приниматься потомками за его идеи, мысли. Даже Ушакову сказал об этом, не подозревая, что через века другим начнут приписывать собственные его реляции и проекты...

Трудолюбие его и умение обсуждать дела в течение многих часов без видимого утомления сменялись многодневным бездельем, раздражением.

Усилилось презрение к честным аскетичным людям, помноженное на подозрительность. В результате он стал травить мужественного доктора Самойловича, поверив наветам хапуг, которым врач не давал обворовывать больных. Враждовал с Александром Воронцовым, Новиковым, Нартовым и неплохо сосуществовал с канцлером Безбородко, близким ему по духу, желаниям, жизнелюбию и неукротимости темперамента.

Однако, когда императрица прислала ему книгу Радищева, написал ей: «Я прочитал присланную мне книгу. Не сержусь. Рушением Очаковских стен отвечаю со-



чинителю. Кажется, матушка, он и на вас возвел какой-то поклеп. Верно, и вы не негодуете. Ваши деяния — ваш Щит».

Он появляется в церкви в халате, не одевается надлежаще и для уездных балов, пренебрегает подношениями. Бесконтрольность порождала беспринципность — только не мстительность, не тупую жестокость. В конце жизни он позволял себе и зависть, и мелочность, и жадность. Все больше, точно саваном, опутывала его скука. В ней гасла его бешеная энергия, работоспособность, он труднее справлялся с хандрой и все чаще, дольше презирал и себя, и весь мир...

Постепенно он начинает понимать, что смысл жизни не в том, чтобы удовлетворить свои желания, а в том, чтобы их иметь... Однажды вспомнил, как приводили к нему монаха, известного лекаря души. Старик с желто-белыми волосами и редкой бороденкой сказал, что для счастья истинного всенепременно надо соблюдать пять условий: не быть ничьим холопом, не позволять себя попираť, не делать долгов, не принимать благодетелей, не становиться льстецом и прихлебателем.

Князь изумился сим не божеским законам, а монах посмотрел на него молодыми острыми глазами и сказал:

— Почаще смотри, сын мой, на звездное небо и тогда возлюбишь и людей, и свою душу...

Поэтому отказался Потемкин писать «Записки», мемуары, диктовать их своему толмачу Роману Цебрикову. Потемкин верил, что потомки его оценят не по словам, а по делам. А его дела шли все хуже. Неудача второй турецкой войны была очевидна. Он так мечтал оттянуть ее хоть на два года, чтобы закончить строительство флота, гаваней, укрепить границы страны. Считал, что лучше отгородиться от беспокойного соседа, нежели его покорять. Потемкин умел смотреть в будущее, подытоживая прошлое. И понимал, что оно — не в его пользу...

С годами он становился все неопрятнее, равнодушнее к себе, презирая не только людей и мир вокруг, но и свое стареющее тело, рыхлое, дряблое, жадное, из которого не вырваться, не вернуться в то сильное, сухое, неприхотливое, каким оно было в двадцать один год, когда он вздернул на дыбы рыжего коня.

Алатия все чаще, гуще окутывала его влажным душным туманом. В ней гасли все желания, страсти, даже честолюбие...»

В комнату тихонько вошла Анюта.

— Мама, случилось несчастье...

Я оглянулась, вскочила. В дверях стоял Барсов, белый, с остекленевшими глазами.

— Варька погибла...

Я не поверила.

— Розыгрыш Лисицына? Он недавно ее здесь искал...

Барсов тупо смотрел на меня и куда-то за мою спину. Я не могла поймать его бегающий взгляд, как у человека в бреду. Слова срывались, скатывались, бесвязно, отрывисто...

— Варька... бросилась... в метро... На моих глазах... улыбалась, и вдруг лежит внизу, на рельсах... И нога вывернута... Я боялся, что она у нее сломалась, а меня отпихивали. Я им говорил, чтоб вправили, а меня отпихивали...

Я села. Анюта прижалась ко мне. Она так долго верила, что Варя стала ей настоящей сестрой.

Барсов закашлял, хрипло давась рыданиями. И эти звуки усиливали мой ужас, страх, отчаяние...

Казалось, что-то вырвали из моей души и рана болит, раздирая сердце. Самое мучительное чувство вины перед мертвой. Не изменить, не стереть неудачные дни, неправильные поступки. Воспоминания наплывали как волны, и все время мне слышался монотонный рефрен: «Не поговорила, отказала в помощи...»

Сергей отвез Барсова домой, Анюта, наревевшись, легла спать, а я все сидела и смотрела в темное окно, не зажигая света. Улицы были тускло освещены, казались призрачными, пустыми, вымершими. Машины не проезжали, люди не шли, стояла тишина, и я все надеялась, что это сон... Так и не заснула до утра...

Восемь лет назад. Ночь. Вошла Варя. Замерзшая, зареванная, в пальтишке, из-под которого торчали длинные ноги. Поссорилась с матерью.

— Она меня ударила мокрой тряпкой за то, что я отказалась убираться. Заругалась, хоть стой, хоть падай, а мне надо было стенгазету клеить.

На кухню вылезла заспанная маленькая Анюта в ночной рубашке. Она всегда боялась, что без нее дома произойдет что-то очень интересное.

— Ты белым хлебом не корми эту девочку.

— Почему? Мы с палой ели.

— Но ты же не знала, что я его в грязь роняла, когда шла из булочной.

— Предупредила бы...

— А я полой обтерла.

Варя рассмеялась беззаботно, легко. Она долго не могла хандрить. Ей было необыкновенно интересно жить, и любопытство гасило тоску и обиду...

— Иди ко мне, девочка, у меня диван широкий... — Так Аня взяла Варю в «сестры».

Вечерний чай. Они любили собираться всей семьей. Каждый рассказывал, как прошел день. Варя стала «своей». Притащила три колорийные булочки. Она не умела приходить без подарков. Чаще всего рассказывала о матери. Иногда с восхищением, чаще с обидой.

— Мать осталась без родителей в деревне во время войны с тремя сестрами. Всех подняла, дала образование, а теперь из-за копейки удавится. А получает побольше вашего.

Марина Владимировна пыталась положить ей вторую порцию салата. Отказалась из гордости: «Не хочу вас объедать».

На круглом маленьком лице Вари веселые узкие черные глаза поблескивали, она смеялась, но не высмеивала. Аня обожала Варю, считая ее вернейшим другом: и с мытьем посуды поможет, и свистит лучше мальчишки.

— Вот хотела купить у Ланщикова джинсы, мать обещала деньги, но велела принести домой, померить, а он мне: «Ни фиги без бабок!»

— Неужели никому не верит?

Варя усмехнулась.

Маленькая головка с лакированной челкой, черный тонкий хвост волос, на этот раз стянутый шнурком от ботинок, искрящиеся глаза, большой яркий рот. Красивая и некрасивая. Когда оживлена, привлекает внимание всех, мрачнеет — пустое лицо.

— Моя мать деньги только близким одолжит, под расписку, а сама у отца все отбирает.

Голос легкий, равнодушный, точно не о родителях. А ведь мать о ней заботилась, на джинсы деньги давала...



— Ну, она деньги на меня тратит, чтоб люди не осудили, хочет, чтоб все было, как у дочки полковника, с которым отец служит...

Заботу матери она воспринимала как должное, с некоторой даже иронией, а помогать по дому не хотела, не любила принуждения.

Марина Владимировна впервые приехала домой к Варе. У нее грипп. Квартира сверкала чистотой, хрусталем, полированной мебелью, цветным кафелем. Мать Вари, несмотря на полноту, двигалась легко, точно воздушный шарик, тугие щеки багровели, седина не старила.

Учительницу посадила в кухне, отцу крикнула:

— Эй, старый, похлебай с нами чайку.

Ветров присел на табуретку, жена поставила перед ним миску, соскребла что-то со сковородки, плеснула из кастрюли.

— Он любит все смешивать, чтоб добро не пропадало.

Потом налила ему чай в облупленную кружку.

— Вот его лохань, раньше сервизы бил, как пьяный являлся.

Ветров смутился, покраснел, закашлялся и почти убежал в комнату.

— Такова моя жизнь... — значительно начала мать Ветровой, — попивая чай из блюда. — Ни вдова, ни жена, сама себе голова, не дай бог дочерям такое сокровище...

Она охала, вздыхала, но легко, беспечно, а в полуоткрытую дверь Марина Владимировна видела отца Вари, самозабвенно уткнувшегося в книгу рядом с дочерью, которая лила слезы над «Тремя товарищами» Ремарка.

И снова Варя у нее. То передразнивала смешливо одноклассников. То с Анютой устраивала генеральную уборку. Все сдвинуто с мест, а они поют, «по колено» в воде, и брызгают друг в друга. А вот Варя вбежала с цветами, первыми, весенними. Мать отбирала у нее зарплату, когда она пошла работать санитаркой, но Варя сэкономила на обедах...

Очень долго она была связующим центром класса.

Все знала обо всех. Кто женился, кто вышел замуж, развелся, родил ребенка. Она бегала в больницы, на свадьбы, на крестины, помогала устраивать на работу, встряхивала лентяев. Она, посмеиваясь, сообщала, кто в кого был влюблен в классе, кого уважали, ненавидели, любили. И чаще всего вкусы — учителей и их учеников — не совпадали...

Конечно, женское и мужское восприятие различно. От Барсова и Стрепетова Марина Владимировна слышала о многом происходившем в классе иначе, чем от нее, но Варины истории всегда поражали иронией, наблюдательностью, артистизмом исполнения. Эта девочка была прирожденным имитатором...

Была ли Варя завистлива? Красивые, обеспеченные девушки ее не волновали. Но она завидовала Барсову и Стрепетову, что им легко дается учеба. Завидовала девочкам «из профессорских семей»: их с детства, по ее представлению, учили музыке, иностранным языкам. Завидовала успехам известных спортсменов. Кидалась часто в спорт, как в омут, восторгалась, шумела, а через месяц восторги таяли, она злилась, что не она любимица, не ее выставляют на соревнования, хотя в плаванье на короткую дистанцию ее время лучше...

Стрепетов возмущался ее легкомыслием, а она кричала, что от хлорированной воды у нее вылезают волосы.

— Вы не видите во мне девушку, я для вас с Барсом — пацан...

И вскоре явилась мелкозавитая, стала похаживать по комнате большими шагами, воображая себя манекенщицей.

— Ведь несправедливо, Марина Владимировна, почему у одних легкая молодость, а я учусь, работаю — и ни грамма счастья?

Барсов, забежавший в это же время, хихикая, подал оладьи, Варя и Анюта всегда их пекли, когда он приходил: и дешево, и легче всего накормить. Он больше не рос вверх, но плечи раздались, лицо стало четче, суше. Прекрасно они смотрелись рядом, Варя и Барсов. Но он заявлял: «Только безмозглые кретины женятся, не кончив институт...»

Варя скрестила руки на груди и сказала с горькой улыбкой:

— С какой радостью я бы пошла в жены-домработ-

ницы, лишь бы меня кормили, одевали, возили отдыхать...

А флегматичный Барсов жевал оладьи, толстокожий, как гиппопотам.

Года через три после окончания школы Варя начала незаметно меняться. Юмор сменился иронией, даже сарказмом. Она страдала из-за того, что учится в медучилище, а многие одноклассники в институте. И эти чувства родители ее усиливали, переживая «непрестижность» профессии дочери, медсестры. Марина Владимировна сказала, что Варя напрасно озлобляется, что нельзя быть несчастливой, когда тебе двадцать лет и ты абсолютно здорова...

Варя хмыкнула, блеснула глазами, растянула в улыбке большой рот и сообщила, что Ланщиков ушел из университета.

— Почему?

История была нелепая. Ланщиков пошел в ресторан, его роскошная норковая шапка пропала в гардеробе, и он решил раздобыть себе другую, на улице. С чужой головы. Товарищ его отговаривал, но Ланщиков вышел, сорвал шапку с прохожего, сунул товарищу, подъехала патрульная машина, их задержали.

— Ланщикова исключили?

— Как же, с его родителями... Оформили переводом в историко-архивный...

— Ты с ним общаешься?

— Он столько анекдотов знает, да и поет прекрасно, под гитару...

И тут же без перехода похвастала, что с ней на улице иногда теперь заигрывают молодые люди.

— Я уже не похожа на тощую ворону? Помните, как меня Барсов дразнил?!

Она задумалась. Ее веселость была какой-то судорожной.

— А знаете, как вчера мы день рождения Олега отмечали? Его мать попала в больницу, в холодильнике даже петух не кукарекал, а я пришла, как человек, прическу сделала в парикмахерской. Эти типы спорили о фантастике, какая лучше — учеными писанная или писателями, а меня в упор не замечали... Пришлось сбегать, купить им антрекоты, нажарить и уйти, хлопнув дверью.



Помолчала и добавила грустно:

— Ухаживают многие, а жениться боятся, говорят — опоздала, долго выбирала, возраст ушел...

— Тебя любит Стрепетов... — начала Марина Владимировна, но Варя подняла руку.

— Нельзя ему портить жизнь. Я ведь со всячинкой. А от него только хорошее видела.

— Ура! Меня распределили в хирургическую клинику! — Варя влетела, сверкая глазами и зубами, и закружилась, раздувая плиссированную юбку.

— Хороший коллектив? — спросил Сергей.

— Не знаю. Не знаю... Но какой шеф!

Она ни о чем не могла говорить, не вспоминая о нем. Нестарый, остроумный, оценил ее руки, на свои операции вызывает, работает на износ, может три операции простоять у стола, только сереет и лоб мокрый. А какая скорость! Ни единого лишнего движения, неуверенного нажима скальпелем. Длинные пальцы безошибочно дотрагивались до тела, там где надо. Виртуозная техника.

— А после работы приглашает с ним кофе пить.

Варя изменилась, ушло мальчишество. Она стала мягче, кокетливее, лицо ее все время двигалось, каждый мускул сокращался, точно она собиралась то плакать, то смеяться. Лихорадочное оживление ее красило, узкие глаза сверкали...

— Ты слишком горячо шефа вспоминаешь... — пошутила Марина Владимировна, но Варя перебила, заговорщически усмехаясь.

— Он меня, правда, часто провожает домой, говорит, ради моциона. Нет, у него третий брак, молодая жена, зачем мне осложнения!

Глаза Вари сияли. Она выдавала себя каждым жестом, словом, ее никто и ничто больше не интересовали...

— Шеф — личность, хоть и циник. Руки волшебные, и поэзию знает, и музыку, и альпинизмом занимался, «для мужского самоутверждения».

— Интересный?

— Он мне сказал, что своим женам обещал все, кроме верности, и признался честно: «Люблю рвать цветы, где вижу, даже с газонов...»

— А не унижительно стать «калифом на час»?

— Я знаю, что ему плевать на меня, как на человека. Но зато теперь я посажу старшую сестру. Вчера он вызвал ее и сказал, что мои опоздания с ним согласованы...

Эту девочку точно уносила от Марины Владимировны льдина, и между ними все ширилась полынья...

Через месяц она приехала ночью. Сказала, что шеф подвез на машине. Отмечали диссертацию.

— Все сестры были приглашены? — поинтересовался Сергей.

Варя хихикала. Она была в модном дорогом платье, сильно надушенная, с подведенными глазами, медленно взмахивала тяжелыми ресницами, точно бабочка крыльями, а глаза блестели торжествующе, и губы подрагивали от ежесекундных улыбок.

— Кстати, Сергей Михайлович, не хотите перейти в нашу клинику? Освобождается место главврача, могу похлопотать.

Сергей нахмурился. Посмотрел на жену и сдержался.

— Спи! — Марина Владимировна пыталась остановить поток хвастовства, уложив ее в комнате Анюты, но Варя трещала о Ланщикове, о Лужиной, она теперь с ними часто видится, одна компания...

— Ланщиков прав, в нашей жизни принципы — ненужная устаревшая роскошь... Шеф сказал, что мединститут мне обеспечен... Его слово — закон... — пробормотала она под конец. Марина Владимировна не поверила. А через три месяца Варя стала студенткой медицинского института.

Родители ее потеряли голову от гордости, купили ей золотые часы, кожаное пальто. Но Сергей напрямую сказал, что ею движет не желание изучать науку, приносить пользу людям, а стремление к престижности.

— А если и так, что тут плохого? — Варя высокомерно выпрямилась.

— Осталось выйти замуж... — сказала Марина Владимировна, чтобы разрядить обстановку.

— Уже, — снова победительная улыбка. — Я — невеста.

Стремительность событий всех ошеломила.

— Барсов сделал предложение... Такой дурной. Ланщиков не зря смеялся, что пять лет не могу прибрать к рукам парня...

— Неужели ты теперь живешь по указке Ланцикова?

— В общем, Марина Владимировна, он современную жизнь знает, будь-будь! И все вышло, как предсказывал. Позвонила я Барсову, сказала, что больна, а когда пришел — поревела, припомнила обиды. Выглядела несчастной, а он слез боится больше, чем я мышей...

— Бедный Барсов!

— Такой младенец! Представляете, до меня у него практически всерьез никого не было. Совершенно не знает женщин. Такой стеснительный, смешной. А ревнивый! К Олежке даже ревновал...

Она была не столько счастлива, сколько упоена собой, но Анюта еще не разбиралась в таких тонкостях.

— Завтра расскажу нашим девчонкам. Оказывается, бывает на свете любовь с первого класса... Не только в книжках...

Варя на секунду сжалась, смешалась и с тоской вдруг воскликнула:

— Ах, Анюта, жалко, что я — не парень! Им можно не выходить замуж, никто старой девой не обзывает...

...Странное настроение для невесты?!

Перед свадьбой Варя и Барсов заехали к ним за подарками. Варя сказала, что ресторанной свадьбы не будет, только домашний обед для родных, а потом они улетят на неделю в Сочи.

Барсов сиял, старался взять Варю за руку, погладить по плечу, а она была колючая, раздраженная и прятала от всех глаза. Марина Владимировна ушла с ней на кухню.

— Ты счастлива?

Варя нахмурилась.

— Варя, одумайся! Не калечь ему и себе жизнь... Конечно, можно «сходить замуж», на месяц, год, но когда один искренне любит, а другую трясет от отвращения...

Варя, казалось, замерла. Лицо ее леденело на глазах. Марина Владимировна старалась говорить мягко:

— Он тебя тяготит, его внимание раздражает. А разве может быть в тягость человек, когда любишь?

Варя упрямо сжала губы так, что они почти стерлись на лице. Она смотрела мимо учительницы.



— Пойми, самое страшное на земле — одиночество вдвоем.

Девочка перебила, поднимаясь, церемонно и вежливо:

— А просто одиночество — лучше?

И вышла из комнаты к своему сияющему и поглупевшему от радости жениху.

— Олег так удивился, что ни мамы, ни папы моих не было на твоей свадьбе... — Голос Анюты?

Марина Владимировна вошла в квартиру. Дочь ее не видела, держа телефонную трубку.

С кем это она?

— Что? Да, он сказал, что у вас было больше сотни гостей в ресторане... но я не поверила, я хотела от тебя услышать...

Видимо, Варя что-то объясняла, но Анюта опять перебила:

— Как же так, ты мне сестрой была, ты говорила, что моя мама тебе больше, чем мать, ты считала, что папа открыл тебе медицину...

Снова Варя что-то сказала, Анюта слушала долго, молча, потом закричала:

— Но врать-то зачем? Разве мы напрашивались к вам на свадьбу?

Она резко повесила трубку, а Марина Владимировна тихонько вышла из квартиры, чтобы дочь ее не заметила.

Ее жгла обида. Неожиданность? Неблагодарность? Она привязалась к Варе. Ветрова стала своей в ее доме, и он казался холоднее без нее. А особенно горько Марине Владимировне было видеть тоскующие глаза Анюты. Она долго еще ходила под дождем, натываясь на прохожих, пытаясь понять Варю, чтобы простить. Но ничего не получалось. Марина Владимировна была из прямолинейных людей, не умеющих прощать ни себе, ни другим.

Года полтора спустя на улице она встретила Варю беременной, подурневшей, в старом, натянутом на животе пальто.

— Зачем ты поспешила... — Это сорвалось невольно при виде ее желтого лица.

— Жизнь — она длинная, быть умной — значит предвидеть, говорит мама... Барсов мечтает о ребенке... Я решила сделать ему подарок...

Раньше улыбки ее красили, теперь старили. Они больше походили на гримасы боли.

— А он возьмется за ум, плюнет на свои походы, камешки...

Чужая женщина, ничего, видно, в ней не осталось от той девочки, которая всем старалась помочь, умела радоваться чужой радостью и страдать из-за чужого горя...

— Ты учишься?

— Я взяла академический, имею же право, наконец, отдохнуть, я вкалывала с семнадцати лет.

— А Барсов?

— Барсов устроился в Министерство геологии. Плюнул, к счастью, на аспирантуру, там гроши... Да и не могу я одна с маленьким...

Ей было совершенно безразлично будущее мужа, его призвание, она даже не старалась это скрывать...

— А что у вас? Как Сергей Михайлович?

— Он в больнице. У него инфаркт.

Она охнула, на лице ее промелькнуло выражение активного сочувствия.

— Где лежит, в какой палате? Мы с Барсом обязательно приедем. Сегодня или завтра. Что ему можно приносить?..

Она старательно расспрашивала Марину Владимировну, уточняла, предложила любую помощь, даже дежурство. На душе у нее потеплело. В конце концов у этой девочки было в жизни не так много счастья, она от всех временно, видно, отключилась, но теперь она вновь стала сама собой. «Скорой помощью» класса...

Сергей хмыкнул, когда Марина Владимировна рассказала ему о встрече. Он был скептиком и не поверил в осуществление ее благих намерений. Но она ждала, страстно, лихорадочно, так надеясь, что еще сможет любить эту девочку.

Варя не пришла ни сегодня, ни завтра, ни потом. Даже не позвонила. И она решила, что Варя для нее не существует...

Только через полгода по телефону Варя сообщила, что ее сыну исполнилось три месяца.

— Я часто вздрагиваю, когда на улице вижу девочку лет семнадцати, похожую на тебя, — сказала Марина Владимировна. — Я вспоминаю тебя и постарше, когда ты работала санитаркой в клинике, когда бегала со мной на концерты и выставки...

— А дальше? — спросила Варя дрогнувшим голосом.

— А разве не могла моя приемная дочь навсегда уехать, и я бы забыла ее...

И Марина Владимировна повесила трубку.

Она долго стояла в темной комнате у окна, глядя на крыши домов, вечерние, серовато-рыжие, приглушенные краски. Видела себя в стекле, узнавая — не узнавала. На секунду мелькнула девчонка. В полосатом платье, белом с черным, узел волос на затылке. Глуповато-наивное лицо.

Отступила на шаг. Что-то сместилось в стекле. Снова она, только на пятнадцать лет старше. Худое лицо, под глазами чернота: развод, одиночество, поиски судьбы, неудачные встречи, отвращение к компромиссам — утомленное лицо.

Анюта совершенно не похожа на нее. Мягче, душевнее, чаще плачет. А может быть, с тех пор, как у нее кончились слезы, она и очерствела?!

Недавно дочка сказала:

— Ваше поколение, как сухари. Все крошится, ломается, а не гнетесь. Разве людей не надо жалеть... прощать?

Она усмехнулась. Дочка судит?! Ну и пусть. Ей не стыдно. Варя предала не ее, себя, она имела право вычеркнуть ее из сердца. Могла. Сделала.

А теперь она увидела в темнеющем стекле постаревшую женщину, морщины, опущенные уголки губ, шероховатая кожа. Неужели и дальше будет также азартно увлекаться работой, людьми, идеями — и гаснуть, отгорев бенгальским огнем?!

— С кем ты говоришь? — спросил Сергей.

— С прошлым... — Она повернулась, и стекло опустело, больше в нем никто не чудился...

Барсов приходил и сидел у нас часами. Глаза казались слепыми, остановившимися. Почему он, бросая маленького сына, избегал своих и Вариных родителей?! Не хотел слов, утешений и не мог утешать сам? Прятался от друзей, сочувствия, злорадства... А может — не со-



знавал, что делает? Раньше, в школе, он казался ей удивительно легким человеком. Со всеми был хорош, весел, но привязывался к людям поверхностно. Он сам посмеивался, говоря: «Надо жить так: с глаз долой — из сердца вон».

За последние годы он страшно изменился. Очерствел? Огрубел? Стал мрачным, раздраженным, ему казалось, что его все время унижают... Наверное, надломила его неинтересная, нелюбимая работа, он так мечтал еще со школы о работе в поле. А Варя заставила пойти в министерство, «клерком», как он язвил сам над собой.

Марина Владимировна вновь ощущала чувство ответственности за бывшего классного «везунчика». Добро нельзя отдавать в рост, ждать благодарности, восхищения. Все, что она делала для своего любимого класса, делалось ею для себя. Душа ее смягчалась с ними, даже чужие дети, если их любишь, лечат раны сердца.

Однажды вечером он вдруг стал рассказывать жестким голосом, с половины фразы.

— Варька позвонила, велела встретить ее у метро, на Смоленской. Была странная, все посмеивалась, суежилась. Я стал ругать ее, она сына одного бросила, пригрозил, что набью Ланщикову морду, а она погладила меня по лицу, как маленького, и вдруг закричала: «Ой, смотри, не узнаешь?» Я оглянулся, на секунду, а она уже спрыгнула под поезд...

Мы молчали. Он судорожно глотнул воздух.

— Машинист успел затормозить, ее током убило.

Он подошел к окну, уткнулся в него лбом.

— Я давно хотел сказать... Я видел Олега в последний вечер, он вроде кого-то ждал возле нашего дома...

— И ты молчал? Где вы расстались?

— У подъезда, я с ним о Варьке говорил, просил повлиять...

Позвонили во входную дверь.

Я пошла открывать. На пороге стоял Ланщиков, невозмутимый, улыбающийся. Я торопливо прикрыла дверь в кухню, где сидел Барсов.

— Приветствую! Смею вас заверить, Марина Владимировна, ваше дурное мнение обо мне сильно преувеличено...

Тон был небрежный, но скрытое напряжение пробивалось в нем. От Ланщикова сильно пахло приторными духами, меня замутило.

— Я чист, как ландыш, никаких зацепок. Вы же знаете, что уголовный кодекс я никогда не нарушу...

Он точно вчера расстался со мной, этот розовощекий молодой человек. Таким, как сейчас, он будет и через пять, десять лет. Что ему нужно так внезапно? Рукопись?

— Любопытный вы человек, — тон моего бывшего ученика стал предельно ядовитым, — только не от мира сего... Сначала я вами восхищался, потом улыбался... Вы не с Луны, вы с Сатурна свалились: «ах, литература», «нравственность», «порядочность», а где она вокруг, многоуважаемая Марина Владимировна?

Он жадно ждал моей реакции, возмущения, оскорбления, но каменное мое молчание начинало его взвинчивать.

— Смею получить свою злосчастную рукопись? Услышать ваше просвященное мнение? Может быть, вы меня пригласите войти?

Я испытывала сложные чувства. С Барсовым ему сейчас нельзя встречаться, но по его работе я обязана высказаться. Я всегда говорила правду своим ученикам, бескомпромиссно и честно. Мне казалось, что главное в моих отношениях с ними, чтоб мне доверяли, спрашивали обо всем, что интересует, волнует, тревожит...

— Тебе не кажется, что иногда одна жизнь включает в себя несколько биографий разной ценности и разные исследователи интересуются разными ипостасями? Мне хотелось бы понять, что тебя заинтересовало в судьбе Потемкина?

— Он был в жизни игроком.

— Но ты сам доказал, как он проиграл свою жизнь...

— Зато интересно играл... Это стоит вечного блаженства и суда потомков...

— Больше, чем ты сам на себя наговариваешь, позируя, кривляясь, никто из твоих врагов сделать не может...

— Нет, я подонки, но только из любви к искусству. Понимаете, не по необходимости...

Губы его кривились в улыбке. Странно, до чего она ему не шла, старила его лицо. Знал ли он о смерти Вари?

— Подонки вроде меня делают пакости смеху ради. А подонки по необходимости — страшнее. Они всю жизнь делают гадости — ради цели, ради женщин...

Он усмехнулся и своим звучным баритоном прочел стихи Пастернака:

Во всем мне хочется дойти  
До самой сути.  
В работе, в поисках пути.  
В сердечной смуте...  
Все время схватывая нить  
Судеб, событий.  
Жить, думать, чувствовать, любить,  
Свершать открытия.

И добавил, вздохнув, ласково и снисходительно:

— Доверчивые люди всегда в проигрыше.

— Это обо мне?

— Я бы не посмел так прямо... Но бывают инфантильные души. Они никогда не взрослеют. И все принимают за чистую монету: любовь, верность, честь. Ну, вы прочли мой жалкий опус? Конечно, понимаю, он вас не потряс, вы не способны лицемерить, за это и уважаю. А мне так хотелось, чтобы именно вы меня оценили, но вы обожали фанатиков вроде Стрепетова.

— Он не фанатик, а донкихот.

— Это хуже, ему больше сочувствуют, а зря... Ладно, мы отвлеклись, могу я забрать свою рукопись?

Я не успела ее дочитать и сказала неожиданно для себя:

— Ее нет дома, я забыла твою папку в школе вместе с сочинениями.

Мое вранье было, конечно, написано у меня на лице, как у нерадивого ученика, который путано объясняет отцу, что дневник он оставил в парте, пытаясь оттянуть расплату за двойку...

Ланщиков все понял, он побелел, тяжело задышал, как рыба, выброшенная из воды. И кажется — испугался. Его разноцветные глаза обшарили мое лицо. И он неожиданно выбежал, не прощаясь.

Я села в комнате... Видимо, ничто не исчезает из памяти, только утихает, дремлет боль, обида, тоска. Ланщиков много мучил меня в школе, но я не понимала, не представляла, что и он мучился сам. Этот мальчик постоянно «выставлялся» в классе, задавал каверзные вопросы, был развязен, бесцеремонен, невоспитан... А я защищалась иронией.

Сергей чинил напольные часы, и они иногда гулко били вне времени. В кухне с Анютой сидел оцепеневший Барсов, и до меня доносилось успокоительное журчание ее голоса.



## ГЛАВА ШЕСТАЯ

— Это моя вина, моя черствость.

Слезы безостановочно катились по лицу учительницы, но она их не замечала.

— Возьмите себя в руки.

Марина Владимировна кусала губы. Следователь Максимов впервые видел ее в таком состоянии.

— Вы так были привязаны к Ветровой?

— Она была мне как дочь...

Его густые черные брови шевельнулись, точно он нахмурился.

— Когда вы узнали обо всем?

— Вчера ночью. К нам прибежал Барсов, ее муж.

— Последнее время вы с ней не встречались?

— Она перестала бывать у меня после свадьбы.

— Вы с этим примирились?

— А как бы вы отнеслись к человеку, в которого вкладывали душу, а потом оказалось, что ты ему не нужна?

Следователь отвел взгляд, он не хотел вспоминать дочь, но знал, что с тех пор, как она вышла замуж, отец — не советчик, не друг, а только воплощение долга. Недавно она забыла об их годовщине. Тридцать три года он прожил с ее матерью, день этот начинался цветами, дочь тоже приносила букетик. Он так надеялся, что она придет одна, без зятя, который презирал сантименты, а она даже не позвонила. Но он знал, что в любую минуту придет ей на помощь, забудет обо всех уколах равнодушия, если ей станет плохо... Эта женщина — не простила, значит, и не любила по-настоящему.

Он показал учительнице смятые записки без подписи. На каждой — одно-два предложения.

«Оставь меня в покое...»

«Все коллекционеры твои — подонки».

«Или в милицию, или в петлю. Больше не могу...»

Варин почерк. Она узнала его. Крупные, круглые буквы, аккуратно сплетенная вязь.

— Кому она писала?

Марина Владимировна еще раз посмотрела на записки. Странно, без обращения, подписи. А Варя так любила шутливо обыгрывать свое имя.

«Барбара идет на войну», «Вар-Вар-Вара», «Вар-Варварюха». Да и Олега она всегда награждала смешными прозвищами: «Маэстро», «Поросенок Оль», «Ваше

величество Олесь I». Так писала ему в больницу, когда он повредил ногу...

— Это не самоубийство?

Ее вопрос остался без ответа, повис в воздухе.

— Как вы относитесь к коллекционерам, Марина Владимировна?

Вопрос был неожиданный.

— Я не коллекционер, хотя и люблю старинные вещи.

— Чем же вы отличаетесь от настоящих коллекционеров?

Несколько секунд она думала, а черные пушистые брови следователя прокуратуры сдвигались все теснее, отчего его лоб пересекла вертикальная морщина, похожая на шрам.

— Мне быстро надоедают вещи. Я не завистлива. Не скупа. Потом я больше люблю историю не вещей, а людей.

Максимов усмехнулся.

— А чуть подробнее?

— Понимаете, коллекционер — это вненациональный тип характера. Не очень меняющийся за века.

— Но всегда накопители?

— Частично, хотя для большинства это не главное. Коллекционерами становятся очень активные люди, которые социально не могут себя выразить, коллекции помогают им самоутвердиться. Я не буду говорить о спекулянтах и торгашах, которым лишь бы вложить, сохранить, преумножить капитал. Нет, настоящим коллекционерам необходимо действовать, иногда даже себе в ущерб. Покупать, менять, реставрировать — всегда в поисках чуда, раритета, которого нет ни у кого в мире. В своей области многие оказываются большими специалистами, чем рядовые искусствоведы. Кое-кто ищет в этом наживу. Что-то покупается в антикварном магазине дешево, а через год сдается в музей значительно дороже...

— Любой может купить в магазине хорошую дешевую вещь?

— Если понимает в искусстве — иногда, но чаще — нужен контакт с продавцами, среди них встречаются уникальные специалисты...

— Взятки?

— Форма бывает разная: дружба, билеты в театры, сувениры, книги...

— Откуда вы в этом так разбираетесь? — улыбнулся Максимов.

— Наблюдала, сопоставляла, догадывалась. Я ведь живу рядом с антикварным, вижу постоянных покупателей, различаю в лицо коллекционеров и перекупщиков.

— Стрепетов интересовался покупателями этого магазина?

— Да, в последний год.

— Кто из его одноклассников стал коллекционером?

— Разве это запрещено? Кто-то увлекался бисерными вышивками, другой — старинной мебелью.

— Что для них главное — любовь к искусству или накопление?

— Скорее — самоутверждение. Возьмите Лужину. В магазине она стала значимой. Она обожает называть фамильярно имена, фамилии известных деятелей искусства, театра. Делая им одолжения, поверила, что их отношения на равных. У Лисицына же страсть с детства к накопительству, как болезнь. У него был своеобразный комплекс неполноценности, он не мог понять, для чего живет, кому нужен, а капитал, видимо, для такого человека броня от сложности жизни...

— А что вы стремились воспитать в своих учениках? — неожиданно поинтересовался следователь прокуратуры. Тон был строг. Она вспомнила завуча Александра Александровича из своей юности. Он так же спросил ее, когда она стала вожатой в третьем классе.

— Я мечтала воспитывать не гениев, а порядочных людей, с определенным кодексом чести: не лгать, не подличать, иметь свои убеждения и отстаивать их в деле, дорожить добрым именем.

— Ветрова тоже увлекалась коллекционированием?

— Что вы! Она музеи любила, выставки, собственность в юности ее не интересовала. Она была всегда вызывающе честной, упрямой, но не как взрослый человек, а как ребенок. Наперекор логике и здравому смыслу. Сначала она стыдилась жадности матери... Но это ведь заразно, как чума.

Следователь задумался на секунду, потом спросил:

— А кто же мог украсть, по-вашему, стол Стрепетова?

Она пожала плечами.

— Главное — зачем? Если для коллекции, то спокойнее купить.



Что-то мелькнуло в его глазах, точно искра пробежала.

— Но ведь его оценили дорого.

— После реставрации он стоил бы больших денег, да еще с легендой, что принадлежал князю Потемкину...

Марина Владимировна никак не могла уловить ход его мыслей, смысл разговора.

— Какие качества человека вы считаете самыми подлыми?

— Зависть. Она бесстрашна, потому опаснее подлости.

С этими коллекционерами она познакомилась случайно три года назад у выхода из антикварного магазина. Перебросились парой фраз. Он — маленький, напористый, квадратный, она — высокая, остроносая, белоснежную кожу оттягивали назад густые темно-рыжие волосы, свернутые небрежным узлом. Лицо было бы приятным, если бы не сетка морщин по нему в самых разных направлениях. Изредка она смеялась низким хриловатым голосом, показывая редкие мелкие зубы. Одета была бедновато: вытертое пальто, мятая юбка, туфли со стоптанными каблуками.

Ее муж сказал:

— Мы собираем «карелку». Можем махнуть... — Тон был бесцеремонный.

— Алик! — басисто остановила его жена, но он покачался на каблуках, пританцовывая в каком-то внутреннем ритме, мгновенно разглядев и оценив ее с ног до головы и выставив явно посредственную оценку...

Марина Владимировна решила, что он или отставной военный, или мастер по ремонту телевизоров. Но он был ученый, историк, азартный любитель искусства. Он его чуял носом, точно специально натасканные собаки запах газа.

Александр Сергеевич и Мария Ивановна жили без детей, людей не замечали, только вещи. Мария Ивановна презирала «дешевку», предпочитая собирать редкости. Она доказывала, что через год цены поднимутся, сравнятся с ценой, которую она заплатила, а потом перехлестнут через край.

— В проигрыше не будем. Всегда полезно помнить о завтрашнем дне. О болезнях, старости. Нужно застра-

ховать себя от бедности... Коллекционирование — наука, без специальной литературы не обойтись.

Она напросилась к Марине Владимировне, но ее вещи вызвали у нее снисходительное самодовольство.

— Пустяки! Ширпотребовские вещи начала XX века...

Мария Ивановна никогда не ходила в дома, где вещи были лучше, но не продавались.

— Еще спать потом не буду, сердце займется...

Они стали забегать к Марине Владимировне. Говорили, что все вещи в ее доме дешевые и примитивные, у нее нет никакого коллекционерского чутья. А потом со скромной гордостью рассказывали о своих приобретениях. В покупках они, кажется, больше самоутверждались, чем в научной работе.

Я зашла к ним и рассказала о краже стола Стрепетова. В их квартире было душно. Низкие потолки убивали прекрасную мебель карельской березы, сплющивали ее, и она мстила, высасывая воздух. В кухне, куда меня пригласили, как всегда, «на чашку чая», между самоварами и вышитыми полотенцами висели иконы, яркие, реставрированные. Их было много, они закрывали двери ванной и туалета. Это были первые увлечения хозяев. С икон они начали свое коллекционерство, заражаясь и заражая других страстью к приобретению антикварных редкостей.

Я понимала, что не имею права заниматься «частным сыском», но вопросы о коллекционерах подожгли мое любопытство. Я неожиданно поняла, что перестала, кажется, быть интересной Варе с тех пор, как начала забегать в антикварный магазин. Ведь первые годы нашей дружбы мы с ней никогда не говорили о вещах. Зато не пропускали выставки в музеях, ходили в любимые театры, она читала все книжные новинки, как и я... Стремление к уюту после долгих лет «спартачества», интерес к вещам, его создававшим, точно трясина, начали меня засасывать, и все труднее было отрываться от них глаза, чтобы посмотреть на небо.

Александр Сергеевич присвистнул, услышав о краже стола Стрепетова.

— Рад, очень рад!

— Алик! — низкий голос жены изобразил возмущение.

ние, но она, как всегда, матерински-снисходительно любовалась его пританцовываниями.

— Этим бандитам из магазина придется из своего кармана платить. Жалко, весь магазин не ограбили...

— Алик!

— Все-таки Ланщиков умница, — сказал он жене, — не зря подсказывал обратиться в милицию, в ОБХСС, написать заявление с крепкими фактами об их злоупотреблениях...

— Какой Ланщиков?

— Мой студент. Он писал у меня работу о Потемкине, мы с ним менялись книгами, он собирает по прикладному искусству. Я отдал ему редкую книгу «Секреты в русской мебели XVIII века». А он тут же предложил мне «Записки» Болотова, все три тома, революционное издание. Вы знаете, сколько они стоят по каталогу?!

Фантастика! И Москва считается большим городом...

— Да, Ланщиков такой обязательный, услужливый, он нас с некоторыми стариками знакомил, у которых еще оставалась старинная мебель... — Лицо Марии Ивановны стало мягче, добрее. — А главное, щепетилен Ланщиков до неприличия. Лишней копейки не возьмет.

Они посмотрели на меня с удивлением, потому что я замолчала надолго. От растерянности. Неужели Варя называла коллекционером Ланщикова? И у него оказались ее записки?

Дома я застала неожиданного гостя — Серегина. Он ждал меня довольно давно, и Анюта выбилась из сил, его развлекая. Серегин протянул мне книгу Богомолова, не вставая с места, как некоторые невоспитанные юнцы. Выглядел он странно, в старом свитере с драными локтями и новых вельветовых джинсах с таким количеством наклеек, что они напоминали тумбу для афиш. Перед ним стояла нетронутая чашка чая.

— Мальчик не хотел есть, — сказала Анюта холодно, она расценивала его отказ как пренебрежение к своим способностям гостеприимной хозяйки.

Любопытные глаза Анюты стесняли Серегина, я сделала дочери знак, и она неохотно удалилась, почему-то считая, что мои школьные дела так же касаются ее, как и меня.

— У вас что-то случилось? — спросила я, когда мы остались одни.



Серегин кивнул, не разжимая ярких губ.

— Большие неприятности?

Новый кивок.

— А мама знает?

Новое качанье головы. Он что — собирается со мной объясняться знаками, как глухонемой?!

— Ну?

Глаза Серегина наполнились слезами. Новое дело! Этот десятиклассник славился тем, что ни разу не плакал в школе, с первого класса. От него плакали учителя.

— Ты иногда посещаешь с мамой антикварный? — Этой фразой я выстрелила наугад, до сих пор не понимаю, что меня надоумило...

Серегин посерел, кончик орлиного носа стал красным. Он искоса подозрительно посмотрел на меня и с вызовом, натугой улыбнулся, сказав густым баритоном:

— Ну и что? Думаете, у нас нет денег?

И начал демонстративно пить остывший чай.

События последних дней меня вымотали. Я устала после уроков. Порция ежедневного юмора была мною исчерпана без остатка.

— Или говори, зачем пришел, или уходи! — заявила я резко.

— Не имеете права, — Серегин неторопливо вытер яркие губы, — ученика выгонять.

— Имею. Из своего дома, когда приходят без приглашения. Так в чем дело?

Серегин поднялся, длинный, стройный, золотоволосый.

— Вы не слышали — нашли стол Стрепетова?

Любопытно, откуда он узнал о пропаже? Неужели Марусе сообщили из антикварного магазина? У нее такой тесный контакт с Лужиной?

— Не знаю. Спроси в милиции.

Он усмехнулся, блеснув зубами. Чем-то я его, кажется, обрадовала, но чем? Потом пошел к выходу, и тут у меня сорвалось:

— Ты знаешь Ланщикова?

Он даже пригнулся от неожиданности. И сказал не поворачиваясь:

— Не знаю никакого вашего Ланщикова...

И ушел, почти убежал, будто я собиралась его преследовать...

Серегина задержали через день в середине уроков. Школа загудела, никто ничего не понимал, и я решила зайти к Марусе. Она жила рядом с «Кулинарией».

Маруся оказалась дома, страшно зареванная. Волосы, которые она всегда начесывала в виде копны, были свалянные, брови стертые, лицо распухшее, несчастное, а на полированном столе лежала замасленная бумага с ломтиками чайной колбасы.

Да, Серегин не врал, говоря, что для его мамы финансы — не проблема. Никогда я не видела в одной комнате такого количества ковров. Старинных, ручной работы, они висели на стенах, лежали на полу, на креслах. Только одну стену заслонила черная стенка, резная, с бронзовыми накладками. Четырехзначная цена точно проступала на лаке, хвастливо крича, а Маруся сидела в ампирном кресле и жевала дешевую колбасу неторопливо, равнодушно, точно жвачку.

— Садись: в ногах правды нет... — она свернула пустую бумагу, поплевала и протерла ладонью полированный стол.

— Есть хочешь? Тогда топаем на кухню.

— Чаю я бы выпила...

Мы пошли на кухню, сверкающую операционной чистотой. Еще один гарнитур, красный с белым, кресла, старинные самовары. Довольно много, штук семь, целая коллекция. Она уловила мой взгляд, покачала головой.

— Мишка доставал, сейчас положены коллекции, чтоб людей принять...

Маруся двигалась привычно ловко, быстро, точно проснулась, лицо подобралось, подбородок лопаткой отвердел.

— Какой чай предпочитаешь? Индийский, английский, турецкий? Я очень уважаю жасминный, мне один из-за границы привозит, я ему всегда вырезку оставляю...

— Ты узнавала, почему арестовали Мишу? — Но Маруся меня не слушала.

— Кого подмазать, ума не приложу?! А все из-за Олега. Такой чистюля — не отмоешься.

— При чем тут Олег?

— Он всех приличных людей распугал, друзьям своим милицейским, наверное, заложил... И все одно — начальство не оценило, вот дурак мой решил помочь...

— Ты считаешь Стрепетова несправедливым?

— Хуже. Блажным. Ни себе, ни людям... Ходил мимо магазина, ну и ходи, сигнализацию проверяй! А кто покупает, как покупает, зачем покупает — не его собачье дело...

Она со всхлипом вздохнула.

— Говорю в милиции — парню экзамены скоро сдавать, а они мне — школа может взять на поруки, если ничего похуже не выплывёт... А чего случилось — ни бум-бум. Весь день в милиции проторчала...

Она вздохнула, подперла подбородок рукой.

— Думаешь — воровка? Нет, нет, ты глаза не отводи, брезгуешь? А почему? Я умею жить. Кого я обманывала? Тебя, его, тетю, дядю?

Маруся замахала хитро пальцем.

— Не поймаешь... Никого, потому что... Со всеми умею ля-ля, а с твоим Стрепетовым — осечка. Ну, не бери — не надо, а жизнь зачем мне портить? То почему торгуем несвежим мясом? Да я что, свое продаю? То почему грузчики пьяные? Что же мне, самой грузить? И все копал, копал, и под меня, и под Виталия Павловича... Виталий Павлович мне сказал: «Марусенька, завязывай, себе дороже, такой инспектор — амба...»

— Что — амба?

Она снова погрозила мне пальцем.

— А, наплевать и забыть.

— Ланщиков у вас не бывал? — спросила я наугад.

Маруся настороженно посмотрела на меня.

— А вот это не твое дело, учительница дорогая. Или в милиции служишь? Напрасно, ни оттуда, ни отсюда ничего не отколетса...

Дальше беседовать было бессмысленно, я пожала плечами, встала, и тут Маруся сказала медленно и внятно:

— Моего-то Парамонов-младший с толку сбил.

— Да он у Миши твоего был на подхвате.

— Не скажи. — Она подняла на меня опухшие глаза, махнула рукой. — Все бы отдала, все ковры, весь хрусталь, лишь бы домой вернулся Мишка, чтоб по-твоему жил, с книжками, даже если меня бы застыдился...

Я вышла от нее смятенная. И на бульваре встретила Филькина. Он был в той же самой куртке, которую облюбовала вся молодежь: холодной, серовато-бесцветной, но с множеством «молний». На голове легкомысленно стояла прямоугольная яркая вязаная шапка. Его мож-



но было принять за спортсмена, студента, только не за оперативного уполномоченного.

— С работы? — Голос его был грустен, тих, точно у постели больного человека.

— Нет. Заходила к Серегиной.

Он кивнул.

— Где вы взяли записки Вари Ветровой? — спросила я с интересом.

— У человека, который их вовремя не выбросил.

— У Ланщикова?

— Нет.

Мы молча шли к моему дому, минут десять. В конце бульвара Филькин неожиданно взял меня под локоть и указал на скамейку.

— Сядем.

И после паузы сказал:

— Пожалуйста, расскажите, что помните о футбольной команде Стрепетова? И о Парамонове-младшем...

— А нельзя поговорить обо всем у меня дома, в тепле?

— Иногда лучше на свежем воздухе, мысли просветляются...

— Парамонов-младший... — повторила я и на секунду задумалась, вспоминая неуклюжего, переваливающегося с ноги на ногу мальчика с косящими глазами. — Главное в нем — простодушие. Что думает, то и говорит, без притворства...

— Я побеседовал с некоторыми подростками из команды Стрепетова. Оригинальные типы, на грани правонарушений...

Я сидела, дышала бензиновым воздухом и морозной землей.

— Из Олега Стрепетова мог бы получиться прекрасный педагог. Наверное, в этом его истинное призвание...

Она не понимала, когда он успевает следить за трудными подростками на своем участке при тех многочисленных обязанностях, которые он выполнял по долгу службы. Борьба с алкоголиками, склочниками, хулиганами, трудоустройство тунеядцев, проверка паспортного режима — это то, о чем он упоминал изредка, что лежало на поверхности.

Стрепетов считал, что, кроме медицинского лечения, алкоголиков надо лечить работой, той, для которой они родились, то есть не по долгу и необходимости, а по склонности. У него была теория, что нет бесталанных людей. Просто не все могут в себе разобраться.

С ним некоторые спорили, доказывая, что больше половины людей занимаются не тем, чем бы хотелось, что призвание — абстракция, что труд — утомительные будни. Но Олег был противником одинаковых рецептов помощи.

А с трудоустройством он обращался к директорам предприятий и в райком комсомола, когда-то порекомендовавший его в милицию. Некоторые инспектора вздыхали, когда он усаживался напротив со своей папкой. Кроме того, Стрепетов создал детскую футбольную команду из трудных подростков на своем участке.

По объявлению о приеме в детскую футбольную команду, подписанному его фамилией, собралось человек сто. Слава футболиста, одного из наиболее перспективных еще недавно мастеров страны, оказалась долговечной.

Тогда же впервые Марина Владимировна и услышала от него рассказ об отце.

— Каждое воскресенье мы шли гулять, хоть на два часа, искали маме цветы, заходили в кафе-мороженое, беседовали о жизни. Дарил мне ко всем важным для меня событиям книги. На каждой дата, пожелание, подпись. Его афоризмы я запомнил на всю жизнь: «Самую большую радость получаешь, доставляя ее другим», «Если несчастливый человек умеет радоваться чужим удачам — хороший человек», «Доброта полезнее для здоровья, чем злость», «Злые самоотравляются», «Главное — не раннее развитие ребенка, а долгое...»

Они сидели в ее маленькой кухне, носившей у некоторых учеников кодовое название «купе». Сергей поставил длинную скамью вдоль стены, напротив плиты и мойки, рядом узкий стол, по другую его сторону — табуретки. Не случайно все гости, являвшиеся с исповедями к Марине Владимировне, всегда принимались в «купе». Анюта прилипала к табуретке, когда приходил Олег.

— А почему ты возишься с хулиганами? — спросила она, ревнуя его к «подшефным». И сожалела откровенно, что никак не может стать трудным подростком, несмотря на частые драки с мальчишками. Она не при-

знавала сверстников, и Олег дразнил ее «кошкой, которая ходит сама по себе».

— Разве милиционеру положено хулиганов учить играть в футбол?

Он усмехнулся.

— Мой отец беспризорных подбирал. А кое-кому из нынешних мальчишек хуже. Они беспризорники при живых родителях...

— Философ! — фыркнул Сергей. — А сколько злобных паразитов появляются в идеальных семьях? Заласканных, забалованных, закормленных.

— Тогда это не идеальная семья.

Сергей засмеялся.

— Один — ноль.

Анюта снова вмешалась.

— А вот я читала, что в древности ребенку внушали веру, надежду, любовь. Ты тоже им это внушаешь?

Олег фыркнул.

— Конечно. И еще кормлю манной кашей.

Изломанные, порой озлобленные мальчишки восторженно относились к Олегу, но чувство благодарности и уважения было нестойким, скорее стихийным, чем осознанным. Во всяком случае, когда он повел подшефных на спортивную базу посмотреть тренировки мастеров «Динамо», кто-то из мальчишек стащил кошелек у вратаря.

Олег выяснил, чья это работа, но не хотел открытого признания. Он боялся, как бы сами подростки не наказали виновного. Чувство унижения, озлобления сломало бы человека...

Он просил совета учительницы, но она была убеждена, что не существует педагогических аксиом. Каждый сам должен находить свой язык с учениками.

Тогда он пригласил на опорный пункт охраны общественного порядка представителей команды «Динамо» и своих подопечных, завел разговор о случаях, когда проверялось мужество людей.

— Нравовучения? — удивилась она, слушая потом пересказ Олега.

— Нет, был мужской разговор. Парамонов заявил, что он взял эти «паршивые деньги» по указке старшего брата.

— А что ты сделал с его старшим братом?



— Написал подробный рапорт и направил в уголовный розыск. Там собирают на него материал, изобличающий в подстрекательстве к преступлению.

— И на этом закончилась твоя работа с Парамоновыми?

— Нет. За младшим Парамоновым я присматриваю. А старшего... Добиваюсь направления в лечебно-трудовой профилакторий. Он пьяница, его лечить надо.

В нашем огромном дворе был старый стадион, заложенный на субботнике много лет назад. С тех пор его использовали только пенсионеры и дошкольники. Старички выходили посидеть на солнышке, а малыши катались на трехколесных велосипедах. Олег с ребятами сделали настоящее спортивное поле.

Как-то Марина Владимировна возвращалась вечером с педсовета. Олег сидел в окружении своих «подшефных» и рассказывал о бразильском футболе.

— Ты сам видел Гарринчу? — спросил Серегин.

— Видел, когда он в Лужниках выступал. И никогда не забуду.

— Черный, здоровый?

— Нет, маленький, светлый, одна нога короче другой, он перекачивался с боку на бок...

Она присела на скамью за деревьями, ей было интересно послушать Олега, не прерывая их беседы.

Было тихо, по-деревенски, хотя сидели они в центре Москвы. Лишь под ветром вдруг начинали шуршать листья.

Будущие футболисты толпились недалеко от фонаря, вокруг вилась мошकारа, но мальчишки ничего не замечали, завороженные Стрепетовым.

— Однажды к тренеру привели смеху ради кривонного парня. Было ему уже двадцать три, а в Бразилии в футбол играют с детства.

Улыбка Олега не просто подкупала, она вызывала в человеке доверие. Что-то из области телепатии, может быть, ведь он не говорил ничего особенного. Пересказать — банальность, но она видела, как они слушали...

— Гарринча, маленький, смешной, кривоногий человечек, похожий на Чарли Чаплина, играл с классными игроками. И вдруг каскад финтов!

Кто-то выругался, от полноты чувств. Мальчишки замерли.

— Сделай сто приседаний, — сказал спокойно Олег. — Еще раз услышу, из команды вылетишь.

Он повернулся к Серегину.

— Курил сегодня?

— Ну, разок...

— Тоже — сто приседаний, потом три раза бежишь двор. Я предупреждал: сигареты, водка, ругань — яд для футболиста...

— Ну, Олег, честное слово...

— Я сказал...

— Да ладно, но бегать буду потом, когда ты закончишь...

Оба штрафника стали осторожно делать приседания, стараясь не шуметь, чтобы не пропустить ни единого слова Олега. Никто не улыбался.

— Гарринча не гнался за карьерой, не делал бизнеса, не думал о будущем, он оставался большим ребенком, веселил, озорничал, поднимал настроение. По артистизму ему не было равных. Представьте, получив мяч — ждет противника.

Стрепетов вскочил и стал на дорожке показывать приемы бразильца.

— Давно мог бы уйти, сделав рывок. Но ему скучно играть только для гола. Он дожидался «опекуна», потом делал такое движение корпусом...

Олег заскользил по дорожке, точно в ногах у него был мяч.

— Потом замирал с мячом под ногами, корпусом имитировал рывок налево или направо, а сам — на месте. Прямо наваждение, как актер, ноги на месте, а корпус в беге... И вдруг срывается с места. «Опекун» от растерянности запаздывал. Манэ посылал мяч, иногда между его ног, снова пас — и мяч в воротах.

— Тоже мне — вратари!

— Гарринча работал так безукоризненно, что мог по заказу поразить любой угол ворот...

Олег сел на место.

— А потом случилась беда. Разрыв мениска, по контракту он должен был играть, и играл на обезболивающих уколах, втянулся в наркотики... его перепродали в другую команду...

— Как это — «перепродали»?

— Просто, подписал контракт — и ты собственность команды, вернее, ее хозяев. На время контракта тебя можно обменять, подарить, занять тем, кто даст больше

денег, как раба. За отказ подчиниться контракту Гарринчу дисквалифицировали на два года... А вы представляете, что это для человека, живущего футболом?

Никогда бы она не поверила, что развязные мальчишки, гроза двора и подъездов, могут так по-щелячи лнуть к Олегу. Наверное, он казался им старшим братом, защитником, другом, о котором мечтал втайне каждый из них...

— Начались болезни, сбережений у него не было, он много пил, раздавал раньше заработки и нуждавшимся и прихлебателям. Его даже не пригласили на юбилей десятилетия победы бразильской сборной.

— И он умер?

— Нет, он сумел еще раз взлететь. Когда окончился срок дисквалификации, он тренировался три месяца, при сорока градусах жары. Бегал, плавал два раза в день по три часа. А дома поднимал ногами на станке сто килограммов по двести раз...

Кто-то присвистнул.

— Он сбросил двенадцать килограммов лишнего веса, и его пригласили на пробный матч. Многие думали, что Гарринча — вчерашний день футбола, но оказалось, что весь Рио-де-Жанейро точно сошел с ума. Все двинулись на стадион «Маракану», образовались чудовищные автомобильные пробки. Билетов отпечатали только тридцать тысяч, их заранее раскупили, теперь начался настоящий шторм стадиона, полиция не справлялась, тогда директор приказал открыть ворота настежь...

Олег замолчал, переводя дыхание.

— Ну, ну?

— Что потом?

— Как он играл? — Мальчишки подпрыгивали на месте, точно у них припекало пятки.

— Так вышел Гарринча на стадион 30 ноября 1968 года, под номером «семь». Громыхали петарды, взлетели ракеты, взвилось полотнище: «Гарринча — радость народа! Бразилия приветствует тебя!»

Мальчишки долго молчали. Парамонов, сидя на корточках, вытер укладкой глаза.

После паузы Стрепетов досказал:

— А потом Гарринча сорвался. Силы кончились, он не мог, не хотел бросить пить, отказаться от наркотиков, опускаясь все ниже...

Несколько секунд Олег молчал.



— Гарринча был малограмотный и презирал образование. Он ничего не знал, кроме футбола, и верил на гребне успеха, что ему все дозволено, что он, как говорят в Индии, оседлал тигра на всю жизнь. Он не понимал, что он для публики — только недолговечная игрушка, нужен как необычайный футболист, и погубил себя... свой феноменальный дар...

— А вот скажи, может алкаш бросить пить? Взаправду? Навсегда? — Парамонов-младший страдал хроническим насморком и говорил обычно в нос.

— Может. Если умный, если волю не пропил.

— Просто — решил, и баста?

— Человек должен понять, во что он превратился, что его ждет.

— А если не может понять?

— Значит, придется заставить, лечить принудительно.

— Поможет?

Олег вздохнул. Он не умел врать. Но с Парамоновым-старшим он чувствовал свое бессилие. Этот человек дважды находился на лечении от алкоголизма, но, вернувшись, начинал все сначала.

— Пора убирать листья, чтоб завтра ноги не скользили.

И Олег пошел на поле дворового стадиона, не оглядываясь. Отстал только Серегин, вынул из кармана пачку сигарет и стал рвать, стараясь раскрошить помельче. Из-за кустов вышла длинная шатающаяся фигура.

— Ко мне!

Серегин оглянулся, сузил глаза. Марина Владимировна увидела при свете фонаря Парамонова-старшего.

— Должок твой милиция отдавать будет?!

Серегин закусил губу, вынул что-то из кармана и швырнул Парамонову в лицо. Деньги разлетелись, а он повернулся и пошел к Олегу, напряженный, нарочито медленный, точно ждал выстрела, но хотел показать, что ничего больше не боится.

Парамонов-старший выругался. Стрепетов услышал его и сделал к нему несколько шагов.

— Смотри, Парамонов, я дважды тебе верил, ради брата, но, кажется, все бесполезно. Ты не понимаешь человеческого отношения... Опять пытался пацанов спасать?

Парамонов-старший дурашливо закривлялся.

— Да я ни в жисть, я их манной кашкой, как ты, буду кормить... А может, возьмешь в мячик поиграть? Я все в лучшем духе сполню...

Он стал пританцовывать, вихляясь и перебирая ногами...

Очень высокий, худой, с маленькой седеющей головкой и прозрачными глазами, Парамонов-старший казался на первый взгляд интересным. Пока не напивался. Тогда серые глаза становились свинцовыми, на щеках выступали красные пятна, он вызывал и брезгливость и страх... Из шоферов он стал грузчиком при «Кулинарии», разнося заказы по квартирам, постоянно намекая, что может доставать дефицитные продукты. Марина Владимировна старалась у него ничего не покупать. Парамонов явно страдал комплексом неполноценности, переходил сразу же со всеми на «ты», хвастал «незаконченным средним образованием» и постоянно канючил без отдачи трешки под будущие услуги.

— Неужели у тебя совсем не осталось совести, Парамонов? Из-за тебя мучается бабка, брата ты избиваешь...

Олег подошел к нему ближе. Марина Владимировна впервые увидела на лице Стрепетова брезгливость и отвращение. Этот человек даже у Олега не вызывал никаких добрых чувств, перешагнув черту, за которой он еще мог называться человеком.

— Придется ставить вопрос о твоём выселении из Москвы.

Парамонов-старший покачался на носках, пробурчал что-то себе под нос и двинулся к арке, шаркая ногами по-стариковски.

Парамонов-младший был человеком раскованным: он говорил вслух что хотел, не думая ни об окружающих, ни о последствиях.

Увидела Марина Владимировна его впервые в восьмом классе, куда ее послали заменить на воспитательном часе заболевшую классную руководительницу. Тема была определена заранее: «О мужестве».

В этом классе почти все мальчишки увлекались футболом, а девочек было мало, так что «оздоравливающего влияния слабого пола» не получалось. Большинство восьмиклассников играли в школьной футбольной команде, а несколько человек — у Олега. Вот почему

она стала рассказывать им о Николае Тищенко, любимом игроке Стрепетова.

Олег говорил, что биографии таких людей, как Николай Тищенко, надо проходить в школах, этот человек стал живой легендой. О нем, к сожалению, в последние годы вспоминали все реже, хотя именно благодаря ему наша сборная футбольная команда в 1956 году стала чемпионом Олимпиады. Единственный раз...

— Тищенко сломали ключицу, — продолжала Марина Владимировна, и такая тишина стояла в этом шумном суматошном классе, что в коридоре, наверное, думали, что он пустой. — Тищенко сделали тугую повязку. Представляете, какая это боль?! Лекарства не помогали. Его перевели с места крайнего защитника в среднюю линию, товарищи пытались страховать, но постепенно в азарте забыли о его состоянии. Счет стал колебаться, сравнился, наша команда ослабила напряжение. Игроки привыкли ориентироваться на Николая... И тогда Тищенко, стиснув зубы так, что после игры с трудом их расцепил, побелев, перешел в наступление. От него шарахались чужие игроки. И с его передачи был забит решающий гол, победный...

Парамонов-младший постепенно перебирался с последней парты на первую. Он был маленький, круглый, похожий на колобок, но добродушия его лицо не излучало. Он слушал Марину Владимировну подозрительно, кусая и облизывая губы, а маленькие косящие глаза помаргивали.

— А чего он потом делал, когда с поля ушел?

— Был тренером детской футбольной команды. Вырастил несколько классных игроков.

— А пил много? — Губы им облизывались все чаще, взгляд убежал, голос звучал напряженно...

— У спортсменов режим...

— Так он был потом не спортсменом...

Большой рот кривился иронически. Парамонов не мог представить, чтобы человек не пил. Она вспомнила его брата. Да, в такой семье многие понятия смещаются. Счастливым этого мальчика не назовешь...

Прозвенел звонок. Парамонов-младший подошел к столу учительницы и спросил, поглядывая из-под покатого небольшого лба:

— А дома у него пили?

— Не знаю.

Он хмыкнул и пошел из класса, переваливаясь с но-



ги на ногу, как гусак, а потом она услышала свой рассказ в его исполнении в буфете. Парамонов-младший заглядывал в лицо Серегину и все повторял через фразу:

— И главное — не пьет! Ни капли! Она сказала...

Малоподвижное лицо Серегина оживилось. О футболистах он мог слушать бесконечно...

Первая игра команды Стрепетова и школьной состоялась через семь месяцев после того, как он стал тренировать ребят своего участка. Школьников подготовил учитель физкультуры Михаил Матвеевич, человек без возраста, со странными блеклыми глазами.

В обычной жизни Михаил Матвеевич казался добрейшим человеком. Безропотно нес любые нагрузки, собирал профсоюзные взносы, договаривался с шефами о ремонте школы, подменял учителей продленки, потому что жил один и не спешил возвращаться домой.

Но к футболу он относился фанатично, твердо решив создать такую команду юниоров, чтобы они стали чемпионами страны. Его жгли нереализованные силы, и тренером он был жестким и властным.

На первое соревнование школьной команды и команды Стрепетова пришло много народа, хотя со стороны Стрепетова — только Марина Владимировна.

Перед игрой Олег сказал своим игрокам, заметив их возбужденность:

— Вам хорошо, в отличие от них выходите на поле с форой.

— С какой еще форой? — Серегин сжимал плечи перекрещенными руками, точно пробуя их крепость.

— Ты с Парамоновым обязательно один гол на двоих забьешь...

Мальчишки посмеялись, потом кто-то спросил:

— А если ничья, кому бить пенальти?

Стрепетов развел руками.

— Какие пенальти?! Вы спокойно победите в основное время.

Марина Владимировна следила с недоумением за игроками Стрепетова. Они, казалось, топчутся на месте, особенно маленький Парамонов. Капитан Серегин почти не покидал центра поля. Игра все время оказывалась у ворот школьной команды. Стрепетов только посмеивался.

На пятой минуте игры кругленький Парамонов забил мяч в ворота школьных футболистов. Это было неожиданно, все зрители привстали. Вратарь остолбенел, но мяч, который судья вынул из сетки и отнес к центру поля, сразу попал к Серегину, тот передал его вновь Парамонову, и косолапый маленький паренек забил второй гол в ворота.

Школьники пытались длинными передачами переводить игру с края на край, но финты Парамонова изумляли всех. Михаил Матвеевич хватался за голову, стонал, страсть этого человека была сильнее рассудка. А Парамонов продолжал то навешивать мячи, то давать крученые по земле, а третий гол забил под ногами вратаря, взлетевшего в прыжке.

Постепенно на стадионе двора стал собираться народ. Вышли жильцы, дворники, заглянули завсегдатаи антикварного магазина.

Пионервожатый Коля, будущий социолог, приглашенный Михаилом Матвеевичем в судьи, стал откровенно подсуживать своим. Она думала, что неукротимая вольница Стрепетова взбунтуется. Однако они пренебрегали несправедливостями, поглядывая на своего тренера. А его лицо оставалось безмятежным, только глаза лукаво посмеивались.

Во второй половине игры тактика его воспитанников изменилась. Темп резко возрос. Школьные футболисты еле передвигались. А вратарь Олега взмывал вверх с такой легкостью, точно преодолел земное притяжение, с обезьяньей ловкостью перехватывая мячи.

Счет оказался 3:0 в пользу команды Стрепетова.

— Сколько своих тренировал? — спросил, криво усмехаясь, Михаил Матвеевич.

— Месяцев семь, но они и раньше баловались мячом.

— Беру к себе. Отпустишь?

— Не пойдут.

Михаил Матвеевич презрительно хмыкнул, но мальчики отказались, несмотря на фантастические посулы.

— А в общем, твоя команда незаконная, — возмущился Михаил Матвеевич. — Тебе что — больше делать нечего?

— А если это — моя главная работа? — Тон Стрепетова был странный. Тренер его не понял, но не мог успокоиться.

— Классный у тебя вратарь. Он где играл раньше?

— Нигде.

Марина Владимировна увидела сияющую Марусю Серегину. Она была так счастлива за сына, что обнимала всех подряд. Наконец-то с полным правом она могла хвастать хоть одним его талантом.

И снова передо мной работа Ланщикова. «История взлета и падения великого честолюбца».

Последний приезд светлейшего князя Потемкина в Петербург. Он мчался с болезненным нетерпением, вырвать «зуб», возмущенный нарастающим влиянием Платона Зубова, последнего фаворита императрицы.

Ехал неприбранным, пренебрегая царскими почестями, приемами вельмож, еще думавших, что он влиятелен, поклонами простолюдинов. Отчаянным усилием воли боролся с подступающей тоской, затапливающим душу равнодушием. Думал о странностях памяти. Истекшее время оставалось в ней островками, а наяву — все рушилось, затягивалось пылью. Нравственная пытка не отступала, ныла в сердце, не оставляла ни на мгновение.

Воспаленное тщеславие, ненависть к судьбе, что так зло посмеялась над ним, сознание, что никогда не смирится с тишиной, покоем опалы, как другие фавориты, бесконечные колебания духа застилали дорогу, людей, время. Он видел, что будущее ускользает от него, он предчувствовал скорое забвение не только в сердце царицы, но и потом, через века. Забвение как возмездие — ирония судьбы, которая исполняла при жизни все желания... Его жгли ее слова, переданные доброхотами. «Должно мне теперь весь свет удостоверить, что я, имея к князю неограниченную во всех делах доверенность, в выборе моем не ошиблась». Значит, при опале влачить смрадно и тускло оставшиеся дни, выслушивать злоречения, чувствовать миллионы жал маленьких, ничтожных людишек, которые будут его терзать, как великого Гулливера?!

Ему не хотелось жить, сердце болело все сильнее, и, хотя он привык к этой боли, запретил себе о ней думать, не слушал лекарей, он молился тайком, этот верующий вольнодумец, чтоб хоть на мгновение снова почувствовать себя сильным, дерзким в минуту встречи с ней. В те мгновения, когда он либо вернет ее дружбу-любовь, либо разом потеряет все...



Они встретились и поняли, что стали навсегда чужими. Титан напоминал ей рыцаря Фальстафа, а она, все еще веселая, жизнерадостная, показалась ему жалкой раскрашенной старухой.

Оба пытались скрыть свои чувства. На него посыпались почести и награды, он устроил по случаю взятия Измаила празднество в Таврическом дворце, доказывая всечасно, что в подобном не было и не будет ему равного чародея. Все продумал, все учел, изобрел. И цветы, и фейерверки, и костюмы, и кушанья, и концерт, и хоры на стихи Державина, и свою шляпу, усыпанную бриллиантами, такую тяжелую, что за ним ее носил лакей. Но не смог удержаться от тайной иронии. Посему и позволил поставить в беседке статую императрицы работы Шубина. Он знал ее характер, обидчивость. Она давно уже не позволяла говорить себе правду.

Статуя была совершенной, не хуже работ итальянских мастеров. Лицо прекрасной женщины, фигура величественная. Но в опущенной руке она держала рог изобилия. И сыпала себе с презрением под ноги все, чем дорожили люди, — ордена, медали, регалии, свитки указов... Под ноги, топча небрежно и равнодушно, устав от игры в благотельницу, в «матушку-царицу», устав от жизни и не понимая еще этого...

Это был конец. Ее взгляд на свое изображение — потом на него. Нить, соединявшая их без малого тридцать лет, натянулась и лопнула.

Потом говорили, что Шубин ввел князя «в превеликий простак»\*, что он не сумел потрафить повелительнице, что «недоброхоты поспешествовали простудной горячке», а светлейший упустил минуту «к предворению сего зла через напоение целебными декоктами», но дело было не в этом. Все стало мерзить\*\* князю, и прежде всего — сама жизнь.

Поэтому, отъезжая из Петербурга, он пренебрегал врачами, нарушал их предписания. Он знал, что смерть спасет его от унижения, и ждал ее радостно, как любезного друга.

Перед собой он не криводушничал, понимая, видимо, что жизнь пролетела, прогорела впустую. Были и зависть, и тщеславие, и отбояривался он недолжным об-

---

\* В дурацкое положение.

\*\* Возбуждать отвращение.

разом от некоторых молодцов, ибо характер имел скоросый \*. Его упрекали в высокомерии, презрении, но когда человек идет по лестнице вверх, не уважает он ступени. Любой их попирает, хотя и не мог бы без них взобраться на вершину...

Только жестоким не был, жизни солдат щадил, не стеснял их без особой нужды, не пугал бездушной строгостью, верил, что порядок достижим и без этого, пуще всего преследовал интендантов, чтоб солдат не обворовывали, чтоб в котлы шло истинное довольствие. Он был прямым без прямолинейности, сохранял человечность к низшим, никогда не доходил до коварной хитрости и жестокости придворных интриганов, шел к цели упрямо, настойчиво, но без мелкой подлинки...

Умер князь Таврический в степи, под звездным небом. Простой солдат дал два пятака, чтоб положили на глаза, графиня Браницкая, приехавшая срочно к нему по просьбе императрицы, чтобы проследить за его бумагами, пыталась оживить это громадное тело, дую из уст в уста, но беспокойство честолубца отпустило светлейшего, отлетело от него навсегда. Ей, самой преданной племяннице, кроме огромных богатств, достался походный стол Потемкина, сопровождавший его во всех путешествиях. Бумаги же, из-за которых переживала императрица, церковная запись об их тайном браке, так и не были найдены, как и знаменитый медальон-панатия, преподнесенный ею князю по случаю взятия Очакова. Наследники клялись, что не знали, у кого они схоронены. А бывший секретарь Потемкина Попов подсказал, что надо искать не верных людей, а тайник: князь никому не доверял в конце жизни.

Екатерина II тяжело переживала его смерть, говорила, что он был «великий человек, не выполнивший половины того, что хотел сделать», «его нельзя было купить, меня он не продавал». И в минуту прозрения сказала своему секретарю Храповицкому: «Как можно мне Потемкина заменить... все будет теперь не то. Да и все, как улитки, станут высовывать головы».

Хоронили Потемкина в Херсоне. В лавках скупил весь бархат, шелк и позументы, чтобы украсить дома, мимо которых шла процессия. При внесении гроба в склеп гремел салют из пушек. Державин писал:

---

\* Вспыльчивый.

...Где слава? Где великолепье?  
Где ты, о сильный человек?  
Мафусаила долголетье лишь было б сон,  
Лишь тень в наш век;  
Вся наша жизнь не что иное,  
Как лишь мечтание пустое...

Жена Павла I, Мария Федоровна, добавляла: «Ум и способности его были блестящими, громадны, но общее мнение было не расположено в его пользу».

Потемкина не интересовали современники. Их он презирал, но суд потомков пугал его, как страшный сон. Не случайно он писал однажды императрице, когда она, не считаясь с его волей и советами, под влиянием Зубова назначила грубого и тупого князя Прозоровского губернатором Москвы: «Ваше величество выдвинуло из Вашего арсенала самую старую пушку, которая будет непременно стрелять в Вашу цель, потому что своей собственной не имеет. Только берегитесь, чтобы она не запятнала кровью в памяти потомства имя Вашего величества...»

После смерти его начали обвинять в алчности и злоупотреблениях. Иностранные дипломаты писали о расхищении 50 миллионов, о незаконных рекрутских наборах с семьями, когда тысячи солдат были расселены крепостными в имениях светлейшего и его фаворитов. Вспоминали притеснение им достойных людей. «Тиранство» знаменитого врача Д. Самойловича, успешно боровшегося с чумой в Крыму, полководца Репнина, которому не дали звание фельдмаршала, опалу Румянцева-Задунайского, невнимание к гениальному Суворову после взятия Измаила. Светлейший, поговаривали, признавал рядом с собой только посредственности, тех, кто пред ним преклонялся.

О его любви к роскоши злословили родовитые придворные, видя в этом дурной вкус выскочки.

Упрекали его и за привязанность к нечистоплотным людям: секретарю Попову, купцу Фалееву, управляющему Гарнавскому, его именем творившим злоупотребления и мздоимство, но способным на размах, выдумку, чтобы отразить наветы своих и его врагов, всех завистников и жалобщиков.

А потом император Павел приказал переименовать город Григориополь, «чтоб изглажен был так, как бы его никогда не было», возмущенный созданием этого города для армян в память светлейшего, по приказу



императрицы. Он его страстно ненавидел. Ведь из-за Потемкина, по словам Растопчина, он годами «без дела и без скуки сидел, сложивши руки». Император Павел повелел разрушить его склеп, завалить землей, зарыть труп в погреб, из собора выбросить плиту с именем Потемкина. Все его начинания уничтожались в армии и флоте... Только при Александре I по завещанию Потемкина в память о браке его с императрицей был построен храм Большого Вознесения в Москве одной из его племянниц и «Дом призрения для престарелых моряков» в Херсоне. Достойный памятник поставили светлейшему князю лишь в 1836 году на общественные деньги, а в 1873 году повесили надгробную доску в храме, по подписке земства... Его племянник Самойлов не постыдился вскрыть гроб через два года после смерти князя, чтобы взять икону «Спасителя», украшенную драгоценными камнями, — подарок императрицы. Князь Таврический умирал, не выпуская ее из рук, но племянник не мог пережить, чтобы такая ценность осталась на груди лежавшего в гробу Потемкина...

Человек никогда не догадывается, когда его биография достигнет кульминации, когда идет под гору. Одни не подозревали, что они — гениальны. И проживали тихую скромную жизнь. Другие мучились от непризнания при жизни, а потомки славили их через века. Трагедия, парадокс Потемкина, великого честолюбца, — в исполнении всех его желаний при жизни.

Отсюда — апатия, пресыщение, мечты о монастыре. Жизнь была растратчена, выжата досуха, как лимон. Честолюбие съело душу, иссушило ум, разорвало сердце... А потом наступило забвение даже имени «баловня судьбы».

Не случайно писал Державин в самом конце жизни:

Река времен в своем теченье  
Уносит все дела людей,  
И топит в пропасти забвенья  
Народы, царства и царей.

Провидческие слова!

Правда, фамилия светлейшего прозвучала еще однажды на всю Россию через сто лет. Ведь именно на броненосце «Светлейший князь Потемкин-Таврический» в 1905 году началось восстание моряков. Взрыв ненависти, свержение власти офицеров. И не случайно, когда броненосец вернулся из Румынии, куда он ушел

сдаваться, ему сменили название, оказавшееся ненавистным теперь другому царю. «Князь Потемкин» стал именоваться «Святым Пантелеймоном». Шутка истории!

Я дочитала работу Ланщикова и почувствовала разочарование. Его концепция была достаточно спорна, историческая психология — предмет увлекательный, но не очень доказательный. Ланщиков явно обелял Потемкина, примеряя на себя его честолюбие, оправдывая все поступки теми благами, которые светлейший имел при жизни.

Еще в школе Ланщиков убежденно говорил: «Жить надо сегодняшним днем, потому что ночью на вас может упасть потолок». Но невольно вся его рукопись показывала, как бездарно, бессмысленно загубил свою жизнь талантливый человек, как бесплодно честолюбие эгоистов, безнадежны все попытки таких людей остаться в памяти народной.

Неужели сам Ланщиков это не видел, не понимал?

Я долго сидела в раздумьях. Почему Ланщикову так срочно была нужна его рукопись? Откуда эта повышенная нервозность? Авторское нетерпение? Не похоже, при нашем последнем свидании он даже не выслушал меня, мое мнение.

Неожиданно забежал Филькин и спросил:

— Ланщиков у вас ничего не забывал?

Я изумилась. Филькин стал ходить по комнате из угла в угол, явно пытаюсь сформулировать вопрос точнее.

— Ведь именно из-за диплома Ланщикова вы много времени потратили в библиотеке?

— Да, целую неделю, вечерами...

— А вы ему уже вернули рукопись? Можно взглянуть?

Я показала на письменный стол, где она лежала, и он уселся, вынув свой блокнот и ручку.

— У Ланщикова что-то случилось? — спросила я. Филькин молча листал работу моего бывшего ученика, делая выписки.

— Вот теперь все встало на свои места! — сказал он, перевернув последнюю страницу, и поднялся, явно довольный.

Мучительно тяжело вспоминалась Варя Ветрова. Я поняла, как мелки были мои обиды. Мать бы простила. Ведь девочка долго была не очень счастливой, и, наверное, ей хотелось немного погреться семейным счастьем, испытать все удовольствия долгожданной студенческой жизни... Ну, проявила эгоизм, молодой, нерассуждающий, но потом ведь хотела восстановить отношения, звонила...

Барсов пришел поздно. Двигался, как лунатик. Уголки пухлых губ опустились, со лба не сходили глубокие морщины.

— Вы знали до свадьбы, что она меня не любила? — спросил он без предисловия. — Почему же тогда не сказали открыто, честно? Я вам верил, делился больше, чем с родителями...

— А ты ее любил всерьез?

— Да я голову потерял...

— А сколько до этого унижал?

— С чего вы взяли?

Он широко открыл глаза, точно проснулся.

— Ты помнишь Антонину, Антошку Глинскую?

— Ну?

— Тебе она даже снилась после школы, ты рассказывал нам со смехом, и Варя тебя ревновала... В нее ты был влюблен всерьез...

Он усмехнулся.

— Странные вы существа, женщины, да я после брака ни на кого и не посмотрел, если хотите начистоту...

— Понимаешь, нельзя безнаказанно годами обижать человека, не замечая, не чувствуя его переживаний.

Я смотрела в это осунувшееся лицо и вспоминала слова, слезы Вари, когда она поражалась толстокожестью «везунчика». С первого класса она была рядом, «своим парнем», к ней он прибегал, когда воевал с родителями, когда смертельно обиделся на меня, ей он рассказывал о гордячке Антошке.

— Ты в один прекрасный день вычислил Варю, решил, что лучше жены не найти, будет верная веселая подруга геологу...

— Ну?

— А ей хотелось, чтобы ее любили беззаветно и преданно, как Стрепетов, но чтоб и она преклонялась перед человеком...

— Вот-вот, вы ей внушили всякие фантазии...

Он посмотрел на меня с негодованием...



— Мы ссорились последнее время, она сына бросала одного, стоило позвонить кому-то из их компании или шефу...

Слово «шеф» он произнес с отвращением.

— И ведь старик, больше сорока, а туда же, с молоденькими...

Он курил непрерывно, глубоко затягиваясь, одну сигарету за другой. Я налила ему крепкого чая. Барсов пил, обжигаясь, начинал и обрывал фразы, сумбурно, раздраженно.

— Вот послание, — он, точно решившись, рывком бросил на стол конверт. На нем ничего не было написано. — Нашел в ее учебнике по пропедевтике.

— Чье письмо?

— Да ее, Варькино. Господи, какой же я был идиот!

Огромная рука его дрожала...

— Зато теперь могу тест проводить, — он смотрел поверх моей головы, уставясь в одну точку, — для обороны от баб. Помните, Антошка в девятом классе придумала? Всем претенденткам на роль жены сообщать, что я — отец-одиночка.

Я взяла конверт, вынула письмо. Размашистый Варин почерк, круглые буквы. Написано без спешки, твердой рукой.

«Прощай, Барс! Я запуталась так, что не выбраться, не выплыть. Пять, а то и больше лет мне обеспечено. Кончились у меня силы. Оглянулась — и стало страшно. На что жизнь разменяла? Ничего из Варюхи не вышло. Ни жена, ни мать, ни врач. Надеялась на помощь Олежки. Но после нападения на него надломилось во мне что-то. У кого же будут теплеть глаза при виде меня?

Не надо было мне выходить замуж. Но шеф велел. Ему так было удобнее. Я все отдала ему, даже гордость. Мне казалось, если любишь — все можно. Потому и боялась Марине в глаза смотреть, она меня читала, как открытую книгу...

Много я от него и для него вытерпела, на «Скорую» перешла, когда его главврачом назначили, все делала, что велел, запрещала себе думать, во что превращаюсь. А знаешь, как страшно себя ломать, отказываться от того, что было дорогим?!

Шеф был не скуп, в деньгах не обижал, но мне мои фирменные тряпки казались ворованными...

Недавно неполадками на «Скорой» заинтересовались, начались проверки. Мне приходилось устраивать инородных по его распоряжению в разные больницы. Я спросила его, что мне делать, как отвечать на допросах, потому что боялась подвести шефа. И вдруг он заявил, что знать ничего не знал, все это — моя инициатива.

Представляешь? Предал, трусливо, небрежно, а я была как рабыня... Ради него в таких делах запуталась...

Ох, если бы можно было посоветоваться с Олегом, Мариной. Но он без сознания, Марина от меня отвернулась... Позвонила Лисицыну. Когда-то был влюблен, звал после армии замуж... Сказала, что пойду с повинной. Как он перепугался!

Последний шанс! Еду на свидание с шефом. А вдруг в нем совесть проснулась? Поэтому письмо не отправляю, кладу в учебник. Если не вернусь — найдешь.

Прости за все. Рыжика жалко, но пусть забудет. Зачем ему такая мать? А ты меня не любил. Вычеркни меня из памяти...»

Я закрыла глаза, и слезы хлынули неудержимо, отчаянно. Ах, Варька! Как же я могла отказать тебе в помощи, как не почувствовала, что ты надломлена, как не заметила твоего смятения?!

— Варьку вижу за каждым углом... — слышался голос Барсова, — бросаюсь, другая... И спать не могу, все беседы с ней веду мысленно, отношения выясняю...

Он сморщил лицо, точно разжевал что-то горькое.

— Я к ее шефу драгоценному ходил сегодня... плюнуть в морду хотел. Но опоздал... Его уже взяли...

— Куда?

— Ну, арестовали, там такая перетряска...

Барсов понурился, сжался. Он привык годами к моей снисходительной иронии, восхищению его способностями, теплу нашего дома. Но в эту минуту его мне не было жаль.

— Ты много зарабатываешь? На какие деньги Варя покупала заграничные вещи?

— Все девчонки выкручиваются...

Он изумленно посмотрел на меня.

— Олег рассказывал, что вы купили машину в прошлом году?

— Да, «Жигуль», Варьке подвалило наследство от бабки...

— У Вари не было в живых ни одной бабушки. А в компанию Лужиной она ходила без тебя?

Я усмехнулась. Скользя по поверхности, жить легче. Барсов всегда ненавидел любые житейские и нравственные трудности.

— Ты просто на все закрывал глаза... Так тебе было спокойнее...

Барсов оскорбился, привстал, но я прикрикнула:

— Сядь! Твой эгоизм с годами стал хронической болезнью...

Он опустил голову и пробормотал:

— Я как все... не мужское дело вязаться в бабские делишки...

— Надо отнести письмо следователю прокуратуры.

— Да вы что! — Он вскочил в ярости. — На посмешище себя выставять!

Он схватил конверт, хотел его порвать, я повисла на его руке.

— Не дури!

— Да лучше я вслед за ней...

— Тебе не идет истерика!

Я демонстративно оставила письмо на столе и села. Он топтался в нерешительности.

— Они многое знают, зачем же людям лишние хлопоты причинять... Теперь всем ясно, что это — настоящее самоубийство...

— Не скажите! Олег Лужину предупреждал, чтоб спекулянтов гнала...

— Откуда ты знаешь?

— Варька рассказывала. Она возмущалась, что он сует нос не в свое дело, ей казалось, что магазин к нему не относился...

— А ты как реагировал на ее слова?

Он пожал плечами. Жест был выразительный. Как всегда, пропустил мимо ушей... Его не касалось...

На другой день, проходя мимо антикварного магазина по дороге на работу, решила навестить Лужину. В конце концов это мои бывшие ученики, и я имею право узнать, насколько они изменились.

В магазине на подлокотнике пустого кресла сидел Виталий.

— Привет подруге юности моей! А Лужина твоя



уволилась. Мадам ожидает наследника, а потому решила не переутомляться...

Кожа на лице его обвисла, щеки опали.

— А я сижу на антикварном посту. И все представляю, что вечером идти домой...

Как странно перемешаны противоречия в одном человеке! У Виталия была больная жена, бывшая военоторговская официантка, которую он привез с Севера. Даже ради Лужиной он ее не бросил, и, кажется, это особенно злило его бывшую продавщицу. Он помогал каким-то дальним родственникам, в память о матери. На его шее сидели и собственные дети. Они работали переводчиками, играли в баскетбол. Их было всего двое, но Виталий жаловался, что дешевле было бы содержать целую эскадрилью...

А в юности он страстно мечтал о велосипеде. На такую роскошь в семье без отца не хватало денег. Его мать постоянно кому-то помогала, в доме жили ее фронтовые друзья, и Виталий очень гордился, что она, врач-гинеколог, никогда не имела частных больных и отказывалась от любых подношений. Мне она запомнилась крупной, видной женщиной с размашистыми движениями и спартанскими вкусами. Он пошел явно не в нее...

Тоска Виталия окутывала магазин болотным туманом, и даже появление покупателей-иностранцев не пробудило в нем интереса.

Начали бить напольные часы, высокие, узкие, с бронзовым циферблатом. Бой был густой, басовитый. Я повернулась к выходу.

— Нашли стол Стрепетова в чужом незапертом са-рае, — сказал небрежно Виталий.

— Цел? — у меня охрип голос.

— Как огурчик. Даже не поцарапан. Сегодня нам анонимку подбросили, сообщили, где он спрятан, текст печатными буквами, фломастером...

Странно устроена память. Сколько меня ни спрашивал Филькин, следователь прокуратуры, — ничего не вспоминалось. А тут — точно фотовспышка. Книга «Секреты в русской мебели XVIII века», которую Ланщиков выменял у профессора истории Александра Сергеевича, коллекционера карельской березы. Его изучение, кропотливое, целевое, последних дней Потемкина. Давний интерес к столу Стрепетова. Неужели он имел отношение к этому делу?

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В кабинете следователя Максимова было солнечно. Филькин сидел рядом с ним и с улыбкой поглядывал на Марину Владимировну.

Следователь спросил:

— Вы ничего не замечали в своей квартире в последние дни?

Она ожидала других слов и пожала плечами.

— Все книги на месте, бумаги?

— Знаете, у моего мужа мания преследования! Он утверждает, что в нашей квартире кто-то появляется, потому что все его инструменты перепутаны. Сначала нас с дочерью ругал, что перекаладываем при уборке, а когда поклялись в невинности, стал фантазировать...

Они переглянулись, Филькин кивнул головой и жестом фокусника сдернул со стола газету. Под ней лежала золотая табакерка-медальон. На одной стороне — бриллиантовый вензель из двух переплетенных букв Е и Г.

У нее дрогнула рука, когда она прикоснулась к этому предмету, точно боясь его исчезновения. Потом она осторожно перевернула табакерку. На другой стороне был вставлен огромный изумруд — камей с профилем императрицы, — заключенный в оправу из драгоценных камней. Над ним, по золоту, маленькая корона, усыпанная рубинами. Следователь прокуратуры и Филькин с любопытством наблюдали за действиями Марины Владимировны.

Солнце заиграло на камнях. Брызнули радужные лучи.

— Вам знакома эта вещь?

Она кивнула.

— Но я впервые такое чудо искусства в руках держу... Об этом медальоне упоминалось в некоторых мемуарах, а память у меня на всякие диковинки фотографическая...

Она прикрыла глаза и заговорила.

— Когда Потемкин взял Очаков, солдаты подарили ему огромный изумруд, величиной с куриное яйцо. Из трофеев. Редчайшего зеленого цвета без вкрапления. Он послал эту редкость царице. Она ответила по-императорски. После бескровного занятия русскими войсками Аккермана прислала князю Таврическому письмо и эту табакерку-медальон работы Адора, только оправ, камей и корона — работы Позье... Под медальоном еще

висели на ушках два бриллианта и рубин величиной с голубиное яйцо в золотом кружеве. А где они, кстати, зачем их сняли?

Марина Владимировна повернулась к Филькину.

— Значит, вы нашли ее в столе Стрепетова? А внутри?

— По нашим данным, там бумаги хранились, но мы их не обнаружили.

— Там была церковная запись о браке Потемкина с Екатериной?

— Предположить можно что угодно...

— Императрица посылала офицера с секретным поручением опечатать его документы, когда Потемкин заболел. Надеялась уничтожить следы прошлого.

— Может быть. Мы консультировались с историками. А сейчас у вас произойдет любопытная встреча. Даже побеседовать можете...

Следователь Максимов нажал кнопку в столе, дверь отворилась, в кабинет ввели Ланщикова. Он осунулся, нос заострился, даже разноцветные глаза поблекли.

— День добрый, Марина Владимировна.

— Табакерка-медальон найдены при обыске у вашего бывшего ученика Ланщикова. Подвески и бумаги отдать отказался. — Голос следователя прозвучал без всякого выражения.

— Не может быть!

— Ланщиков утверждает, что ему подкинули этот предмет несовершеннолетние Парамонов и Серегин.

Она вскочила, сделала к нему шаг, он опустил голову.

— А мальчики признались, что он велел им украсть стол Стрепетова из магазина. Интересно послушать его версию в вашем присутствии.

Марина Владимировна отошла к окну, отвернулась. Ей казалось, что на ее плечи давит груз, поэтому так резко заболела голова. Способный, неглупый, благополучный человек! Любитель истории, книг.

— Вы продолжаете настаивать на своих показаниях, Ланщиков?

Она оперлась на подоконник.

— Как ты мог пойти на это?

Марина Владимировна стала смотреть в окно. По улице шел мальчик, сонный, зевающий, выгуливая черную голую собачонку в жилете, застегнутом на спине. Она была крошечная, на ножках-спичках, крысиный



хвостик подметал тротуар, но с какой любовью ее круглые выпуклые глаза поглядывали на хозяина, и уши вставали домиком...

— Все на свете — дело случая, Марина Владимировна, — Ланщиков был задумчив, даже лиричен. Он точно сидел в ее комнате, обсуждая своеобразие характера князя Потемкина. — Не сдай Олег стол в антикварный, не попади тут же в больницу — я бы и не подумал соприкоснуться с уголовным кодексом. Преступник не я, а слепой случай...

— До чего оказался тонок твой слой порядочности, оступиться при первом же случае...

— Понимаете, цена за этот раритет была мне недоступна, я нахожусь ныне на дне финансовой пропасти по причине конфликта с дрожайшей родительницей. Мы судимся из-за наследства отца, маман решила выскочить замуж...

— Какое это имеет отношение к делу?

— Самое прямое. Об этом столе я мечтал еще в школе.

— На что ты надеялся, организуя кражу?

— Получалось, что Олегу не выкарабкаться... Стол могли купить, а гоняться потом за ним, как Остап Бендер, было бы смешно.

— Тебе так необходим был этот клад?

— Зарплата архивариуса знаете какая — курам и то грустно. Жениться на дочке директора магазина? Бр-р! У меня уже был печальный опыт в ранней юности, вам известный. А тут никто бы не пострадал. Унесли стол, потом подбросили анонимку с его адресом — шутка. Я бы покопался в нем аккуратно...

— Когда ты узнал, что стол принадлежал Потемкину?

— Сразу после того дня рождения. Олег сам разболтал. Смеялся, что в столе, по легенде, хранятся сокровища, только нельзя найти. Мол, в детстве все шурупы крутил, завитки резьбы...

— И ты поверил в легенду?

— Поверил и посвятил себя истории, как с юрфака поперли. Но как добраться до клада? Не в квартиру же Стрепетова залезать школьному товарищу? Его маман оттуда не выходила. В общем, я — человек действий. Просчитал все варианты и прибегнул, кажется, к самому безболезненному. Только одну глупость совершил — дал вам рукопись...

— А и при чем?

— Разве не вы доложили о ней милиции?

— Зачем же всех мерить по себе? Следователь сам разгадал твой ребус... Но где же подвески к медальону и бумаги, которые в нем хранились?

— Увы! — Ланщиков театрально развел руками.

Его разноцветные глаза смотрели проникновенно, искренне, ясно, как всегда, когда он врал на уроках.

— Значит, никакие угрызения совести тебя не мучают?

— Хныканьем делу не поможешь! Стол цел, я нашел клад. Просто не успел передать его государству, но я собирался это совершить...

Он дурачился, считая, что ему уже нечего терять, губы кривила жалкая болезненная усмешка.

— Мне надо было пробиваться в жизни. Честолюбие — дрожжи цивилизации. Благодетели человечества были всегда честолюбивы. Образ действий подсказывает судьба. Всякий по-своему штурмует мир...

Ланщиков покрутился на стуле и обратился к следователю.

— Простите, вы мне устроили такое потрясение. Марина Владимировна так много для меня значила...

— Что вы искали в ее квартире? — слышался ироничный голос Филькина.

Ланщиков вспыхнул так, что уши стали розовее румяных щек.

— Мне была нужна моя рукопись, срочно...

— Поэтому вы купили отмычку у одного парня возле пивного ларька?

Слова Филькина лишили Ланщикова дара речи.

Следователь протянул ему сигареты, зажигалку и стал разглядывать его с тем любопытством, с каким мальчишка рассматривает инфузорию под микроскопом. Ланщиков больше не рисовался, не позировал. Он явно чувствовал себя высеченным.

Марина Владимировна вспомнила, как много лет назад похвалила его первое сочинение на свободную тему: «Самый счастливый день в моей жизни». За юмор, лаконизм, непринужденность. Он обрадовался, хотя раньше ее не любил, пытался третировать, всячески показывая, что его университетские репетиторы не чета школьным учителям. А тут стал фамильярничать, многозначительно посмеиваться, когда она говорила о других сочинениях, точно они — давние единомышленники.

Его не любили, но всегда окружали одноклассники, позже однокурсники. Он умел нащупывать нужных людей. Анекдотами, пением, добыванием редких лекарств, билетов в театры и книг. Его отец имел броню в театральных кассах и получал книги по списку. При этом «простодушный отзывчивый человек» никогда не брал лишней копейки, оставаясь для многих бескорыстным, щедрым, скромным другом.

— Представляю, как переживает твоя мама...

— Маман? — Интонация Ланщикова была странная, он точно на язык пробовал это слово. — Нет, она, бедненькая, не замарается. Хорошо владеет нужной для нашего времени лексикой. Вот у Олега мать — порода!

— Что вы имеете в виду, Ланщиков? — спросил Филькин заинтересованно.

— Училась со мной в группе Голицына. Портрет — Маня с трудоднями. Но из рода князей. Так она рассказывала, как дед возил ее в Загорск, на могилу Лопухиной, их родственницы, жены Петра I.

В голосе Ланщикова звучала настоящая зависть.

— А кто тебе мешал поехать?

— К кому? В настоящей семье помнят о предках за двести лет, они историю уважают, прошлое из них составлено. Кто храбрым был, кто трусил, кто с каким царем был по корешам, с кем роднились, судились, стыдились... А кого мне уважать, кроме себя? У родителей альбомов с фотографиями не было. Нет, себя они увековечивали, полшкафа слайдов с их личностями, но мне-то зачем? И наяву надоели... О таких, как я, наверное, сказано: «Голый человек на голой земле...»

Много лет назад у нее оказалось трехчасовое «окно» между уроками, и она пошла в кино. Ланщиков заметил ее в фойе и без всякого смущения подошел, как обычно, покачивая на ходу руками и ногами, точно пританцовывал под неслышную музыку. Он прогуливал уроки, но понимал, что она на него жаловаться не будет, ябедничать неэтично...

— Удивительно, — сказала она ему так, точно они продолжали разговор, начатый утром на уроке, посвященном Чехову. — Почему юноша из интеллигентной семьи не читает классиков?

— Ха, интеллигентной! Если вы насчет высшего образования моих предков, то не смешите... Отец как был



мужиком, таким и остался. Чуть что, начинает вспоминать, что дед был конокрадом. Конечно, диплом отец высидел, а толку?!

— Вы не уважаете своих родителей?

— Обожаю. Они — типичный пример смычки города и деревни. Мать отца всю жизнь презирает, ни разу к его родичам в деревню не ездила. У нее с детства аллергия на рогатый скот, говорит, а у самой папаша был статистиком, но фанаберии! Типичные плебеи.

От постоянных усмешек на щеках возле рта у него образовались две глубокие морщины, и они это своеобразное лицо делали злым, высокомерным.

— Способный человек и на такое пошел! — вздохнула она.

— Эх, Марина Владимировна, историю у нас изучают по принципу айсберга. Я в восемнадцатый век только заглянул — фантазмагория! Возьмите Потемкина. Чего достиг! Человек должен всего хотеть, чтоб считаться человеком... Были бы деньги! Без них руки связаны у всех.

Он уже очнулся от растерянности, ведя себя в этом кабинете так, точно стоял за кафедрой в зале и читал лекцию первокурсникам.

— И потом, милейшая Марина Владимировна, я — за духовную родовитость. По этой родовитости узнают друг друга все политики, люди искусства, науки, преодолевая пространство и время...

— У Олега были друзья без всякой родовитости.

В кабинете следователя стало сумрачно.

— Вашему Олегу проще. Какие предки! Сам Потемкин! Мне бы такого в генетику... А Олегу предки до лампочки, представляете? Я ездил в Белую Церковь, в Тобольск. Загнал японскую оптику и слетал в прошлом году, весь отпуск ухлопал, искал следы его прапрадеда. А сколько я узнал в архивах о Браницком, коронном гетмане...

Нет, сейчас было не позерство, не рисовка. В голосе Ланщикова звучала страсть исследователя, ученого, первооткрывателя...

— Вы и не подозреваете, что если бы не Браницкий и не Барская конфедерация...

— Меня гетман Браницкий не очень волнует...

Он не уловил ее иронии.

— Мне бы таких предков!

— Зачем? — спросила она. — Отдай себе отчет — зачем? Больше бы уважал родителей?

Лицо Ланщикова посерело, точно его присыпали пылью, губы обесцветились. Он докурил сигарету, повернулся к ней и с силой, хоть и на полусшепоте, сказал:

— Я ни о чем не жалею, я уже больше испытал, чем Олег за всю жизнь.

— Ну а Серегина зачем ты привлек? Назло Олегу?

— Подумаешь, пошутил с парнем, вольно ему было всерьез принимать.

— А Варя? Твоей вины нет в ее судьбе? Не боишься, что начнет сниться по ночам, молодой, жизнерадостной, доброй, когда ты превратишься в старика?

— Я здесь ни при чем.

— А кто?

— Какая вам разница? Барс ее зря ко мне ревновал! Подумаешь, пару раз уступил ей свою хату. А в школе была — фу-ты, ну-ты, не тронь меня! К самой неприступной можно ключики подобрать. Главное — результат. В деле, в любви, в карьере. Пример — Григорий Потемкин. — Ланщиков улыбнулся мечтательно, ирония вдруг растаяла, он явно заговорил о сокровенном. — Никто никогда не задумывался, что в русской истории было одно роковое имя — Григорий Отрепьев, Григорий Потемкин, Григорий Распутин.

— И Григорий Ланщиков? — ядовито сказал Филькин, прищутив глаза.

Ланщиков побелел, при всей его бравате напряжение беседы начало сказываться на нем.

— Честолюбив ты, братец, отчаянно, — устало сказал следователь Максимов, точно мудрый учитель бестолковому ученику, — а воли настоящей маловато, мужского характера. Все с наскока хотел, сиюминутно получить.

Потом он поднялся, протянул руку Марине Владимировне.

— Надеюсь, что это наша последняя встреча здесь, хотя если вы меня пригласите в свою школу — приду с удовольствием. Занятно посмотреть на современную молодежь...

— А как же Олег? Кто на него напал?

— Не я, многоуважаемая Марина Владимировна, — ответил Ланщиков. — Так что любопытство ваше остается неудовлетворенным. Сочувствую. Даже ради вас не возьму лишнего греха на душу...

Он нервно хихикал, пока она шла к двери, и его голос сопровождал ее, когда Марина Владимировна побрела домой, поглядывая на воду в Москве-реке.

Река колыхалась в бетонном корыте, ветер гнал скомканные стаканчики из-под мороженого, окурки. Проехала поливочная машина. Она начала соревнование с медленно заигравшим по земле дождем, спеша до него хорошо намочить мостовую и тротуары.

Вечером я разговаривала с Вероникой Станиславовной. Она сказала, что традиции есть гордость рода, надо было им следовать, не рассуждая. Их ветвь была очень бедная. Ссылный женился в Сибири на дочери попа, родство считалось предосудительным, его поддерживала только сестра. Она помогла дать образование их сыну, добилась, что того приняли в гвардию. Ходили слухи, что у этой ветви рода Браницких хранятся какие-то сокровища, их неоднократно грабили, но они сами ни о чем не догадывались.

— И Олег?

— Он не уважал наше роденство, считал, что наступило вырождение.

— Он не интересовался историей предков?

— Ниц. То есть тож кара Матки Боски.

— И никогда никто из Браницких не задумывался, почему князь Потемкин завещал свой стол старшему в семье?

— Не вем, мы з бедных Браницких. До кривных шляхетних родичам не пхались. Меня до Варшавы нигде не возили...

— Как Олег?

Ее голова затряслась. Эта дрожь особенно усилилась в последние дни.

— Не вем.

И беспомощно развела руками.

Я знала, что в реанимацию госпиталя МВД, где лежал Стрепетов, ее не пускали, поэтому она не отходила от телефона, спала не раздеваясь.

Месяцев через шесть после начала его работы участковым инспектором милиции я спросила Олега:

— Тебе не противно иметь дело с преступниками, аморальными личностями, с человеческой грязью?



Он засмеялся, выпатив нижнюю губу.

— Я за день столько людей вижу, в стольких судьбах участвую, что живу взахлеб, тут не до брезгливости. А потом грязь бывает иногда и целебная, вы не думаете?

— Не понимаю.

— Иногда такие светлые личности вырастают в гнусных условиях, что узнаешь их ближе и кажется, что получил подарок от жизни. Возьмите Парамонова-младшего. Добрее, наивнее, чище я не знаю человека. Но из него можно вылепить что угодно. Смотря в какие руки попадет, потому что привязывается он к авторитету без остатка...

Может быть, из-за этой давней беседы со Стрепотовым и последнего разговора с Марусей я и решила зайти к Парамонову-младшему.

Я долго звонила, а попав в квартиру, была ошарашена нищетой и грязью. Входную дверь недавно выбивали. Она держалась на задвижке изнутри. Стекло в кухонной двери было разбито. Обои висели клочьями, паркет в пятнах, о мебель гасили окурки, тахта стояла на трех ножках, а вместо четвертой была поставлена бутылка. И только в центре на стене в большой проходной комнате приковывал взгляд коричневый дагерротип в прекрасной золоченой раме: молодая красивая девушка в огромной шляпе, завязанной бантом под подбородком, кокетливо посматривала на разгром квартиры. Открытые плечи, на них пушисто лежало что-то похожее на боа. Пальцы одной руки красавицы теребили краешек меха, а вторая протягивала кому-то большую розу. Лицо сияло молодостью, надеждой, улыбалось будущему.

Маленькая старушка, много ниже меня, шлепая тапочками и запавшими губами, спросила:

— Что вам угодно?

Я узнала старушку, которая когда-то воевала с Марусей Серегиной в «Кулинарии», выбирая «котлетки попышнее». Значит, это и есть бабушка Парамонова? А где же остальное население квартиры?

— Я учительница из школы вашего младшего внука... — сказала я.

Она заулыбалась, потом подошла к треснувшей вазе, нырнула туда рукой, вытащила челюсти, ловко за-

бросила их в рот, пожевала губами и вполне светски наклонила голову.

— Очень приятно.

— А где родители вашего внука?

Старушка помрачнела.

— В данный момент вся его семья — прабабушка. К счастью.

Кажется, она соскучилась по человеческому голосу... Старушка села. Она выглядела очень опрятно в своем стареньком халатике с кружевным белым воротничком, заштопанным, но заколотым старинной брошью. Правда, гранатов в броши осталось так же мало, как зубов у прабабушки Парамонова, но работа была прекрасная. Такие броши я видела на старинных фотографиях, когда дамы стоят в блузках с высокими воротниками и буфами на рукавах, пышные черные юбки, прически валиком...

— У Степы нет семьи...

Она смотрела на меня испытующе твердо, хотя глаза выцвели от возраста.

— И если бы вам удалось ему помочь — это было бы очень благородно... Степой занимался наш участковый инспектор, такой прекрасный человек!

Белые ее волосы были редкими, сквозь них просвечивала розоватая кожа, но заколола она их ломаным черепаховым гребнем, какой и сегодня на сцене носит Кармен.

— Вы не спешите, вы можете мне пожертвовать минуту, две?

Я кивнула.

— Удивительный портрет! — сказала я, невольно глядя на фотографию, и она заулыбалась с некоторой долей кокетства. — Ваша матушка?

— Представьте себе — это я! Да-да, мне ведь девяносто один год... Батюшка велел, когда я кончила гимназию, чтобы меня сфотографировали на память... Он считал, что я никогда не буду свежее и счастливее...

Она вздохнула.

— Вскоре я вышла замуж за офицера. Он погиб в 1915 году, потом мне было трудно устроиться при новой власти, хотя мой батюшка был только директором почты, скромным надворным советником. Это даже меньше, чем сегодня директор бани... Простите, — старушка вскочила, — я не предложила чаю...

Я запротестовала, но она засуетилась, в кухоньке что-то гремело, падало...

Где же спит Степа Парамонов? Диван, на котором я сидела, пел и плакал подо мной при каждом движении. Круглый стол в центре комнаты, два ломаных стула, древний буфет, изрезанный ножиком...

Ни книг, ни тетрадей...

Старушка внесла пластмассовый поднос с чашкой чая. Чашка была старинная, с отбитой ручкой в форме куриного яйца на красноватой ноге...

— Не откажите в любезности откусать...

Я сделала глоток. Чай был заварен крепко, старушка в этом толк понимала...

— А где Степа занимается? — спросила я после вежливой паузы.

— Подождите, иначе я потеряю нить, все-таки я уже даже не третьей молодости...

Она еще могла шутить, героическое создание, жившее бок о бок со старшим Парамоновым.

— Когда началась война, я работала в поликлинике регистраторшей, я не хотела уезжать из Москвы. Зачем перевозить с места на место старые кости?! Дочка же поехала в эвакуацию. И поезд разбомбили. Погибла и она и дети, как мне сообщили. Ну, я написала зятю на фронт, он погоревал, он был хороший человек, но что вы хотите от мужчины?! Он женился и ушел из моей жизни. Такие старухи никому не нужны, не интересны, правда?!

Она улыбнулась.

— А я не верила, я все писала, все искала или дочку, или ее детей. Почти тридцать лет. Я продолжала работать в поликлинике до восьмидесяти, меня ценили, я была полезна. Меня ничто не отвлекало. Я только туризмом увлекалась. Ходила с рюкзаком по разным маршрутам, выносливости у нашего поколения хватало, да и походы укрепляли здоровье.

Подвижность и сохранность ее была удивительной, она почти не присаживалась.

— И вдруг радость — разыскали мою внучку, где-то в Твери... Она попала в детдом после бомбежки, фамилию свою не помнила, ей всего два года было. Ну, я ожила, стала переписываться, начала к разному начальству ходить, я — отличник здравоохранения.

Старушка гордо выпрямилась. До чего она была чистенькая, стерильная, кожа просто блестела.



— И мне позволили ее с семьей прописать в Москве, в порядке исключения, как моих опекунов...

Ее бесцветные глазки выразили такую горечь, что у меня защемило в душе.

— Приехала она и два сына, старшему — двенадцать, младшему — три. И о ужас! Она пила. Представляете, праправнучка надворного советника?!

Меня поразила трагедия этой, видимо, достаточно настрадавшейся женщины.

— Что я ни делала! Ее начали лечить... В семьдесят втором вшили ампулу... через три месяца инфаркт. Сердце оказалось подорвано. Представляете? А я живу, и у меня на руках — двое юношей. А как ими управлять? Степочка хоть слушается, а старший — совершенно дикий. Он кончил пять классов, я так и не выяснила, кто был его отец, хотя внучка моя, кажется, выходила замуж...

Тон ее был такой, точно она со мной советовалась.

— Он тоже пил, еще при матери научился, и Степochку стал подбивать. И тут я, как тигра, заслонила ребенка своей грудью...

Я представила старушку в образе «тигры»... Да, Стрепетов не зря посещал эту квартиру...

— Я пошла к участковому инспектору и сказала: «Надо думать о ребенке...»

Она собиралась рассказывать долго и обстоятельно, но у меня начинались уроки в школе. Пришлось ее перебить.

— Ваш старший правнук очень враждовал со Стрепетовым?

Старушка лукаво улыбнулась, что-то девчоночье промелькнуло среди ее морщин, глаза на секунду ожили...

— Еще бы! Я написала на правнука заявление, уверяю вас, — вполне грамотное, я столько от него испытала, сами видите...

Она широким жестом показала на разрушенную квартиру.

— Тут собирались алкоголики со всего района. Правда, без дам. Моего правнука эта сторона жизни не волновала. Стрепетов отнесся очень чутко к моему заявлению. Ну и правнука отправили лечиться...

— Давно?

— Да уж дней девять мы мирно живем со Степochкой...

Значит, Олег снова определил Пармонова в лечебно-трудовой профилакторий...

Я встала, написала старушке свой домашний телефон, поглядела на портрет и вдруг услышала:

— Пардон, кому я могу передать эту шапочку?

И она достала из буфета прекрасную голубую норковую шапочку. Увидев мое изумление, добавила:

— Боюсь быть некорректной, но ее принес Степочка в тот вечер, когда напали на нашего участкового. Он сунул ее под диван, сказал — нашел, а мне стало жалко портить хорошую вещь; я положила ее в шкаф, все собиралась отнести в милицию, но я зимой мало выхожу, ноги не очень держат меня на улице...

Ее выцветшие глаза смотрели тревожно, она боялась за правнука, но не привыкла лгать и лицемерить...

— Вам надо отнести ее самой, я не имею права, как мне кажется, брать и передавать ее в милицию, чужая вещь...

— Мне трудно стало выходить на улицу, — повторила старушка.

— Я напишу вам телефон одного молодого человека, вы позвоните, все объясните, и дальше они сами вас разыщут...

Она старательно повторяла цифры, пока я записывала, точно учила наизусть, а потом покачала головой...

— Моя жизнь теперь не пуста... — ответила она на мои невысказанные мысли, — я не умру, пока не увижу Степочку пристроенным...

— Вам бы вставить замок...

— У нас нечего брать, только мой портрет, но такие женщины сейчас, кажется, не модны?! Кстати, ваш супруг — врач, вы упомянули, не так ли? Он не может устроить меня на операцию? У меня, видите ли, катаракта на одном глазу. Может появиться и на другом, я стану совершенно беспомощной, а меня не хотят оперировать, ссылаются на преклонный возраст. Но моя матушка умерла, когда ей было сто шесть лет, она даже коллективизацию застала, а родилась за год до восстания декабристов, представляете?

Я пообещала поговорить с мужем, и она гордо добавила:

— Вы передайте ему, что я — человек известный. Я веду библиотеку ДЭЗа на общественных началах, и меня со всеми праздниками поздравляют девочки из

собеса. Даже гостинцы приносят. Они все время говорят, что я повышаю им процент долголетия по району, и просят дотянуть до ста лет...

Она лихо тряхнула головой.

— И я доживу обязательно, старые туристы — они выносливей мамонтов, вы со мной согласны?!

Интересно, чья это шапочка и как оказалась у Пармонова-младшего?!

Накануне экзаменов на аттестат зрелости Серегина отпустили. На литературу он пришел совершенно спокойный, принес мне гвоздики, а когда тянул билет, держался невозмутимо.

Серегин вытащил билет с вопросом: «Литература Великой Отечественной войны». К месту стал пересказывать рассказ Богомолова «Иван». Его прекрасно поставленный голос рокотал проникновенно, умело, с паузами. Комиссия его прервала, он немножко поломался, в самую меру, изображая страстное желание еще отвечать, потом удалился с гусарским видом, а инспектор района сказала:

— Прекрасный мальчик, начитанный, воспитанный...

— Удивил! — попалась даже умница Зоя Иванова. — Оказывается, он все-таки способен хоть что-то прочитать...

Наш директор была великим оптимистом. Их осталось так немного — женщин-летчиц, воевавших на ночных бомбардировщиках. И она с тех пор считала подарком судьбы каждый день, отпущенный ей.

Серегин встретил меня возле подъезда моего дома. Вид был смущенный, неуверенный. В руке — клетка с сине-зеленой птицей.

— Спасибо вам!

— Мать прислала?

— Сам... — Он переступил с ноги на ногу. Я не могла на него смотреть. Столько сил вложил в него Олег! Он почувствовал, интуиция у него была не хуже, чем у Маруси... И что-то его задело, хотя я бы никогда не подумала, что Мишу может тронуть мое отношение. — Ну вот матерью поклянусь или футболом. — Он безжалостно дергал себя за усики... — На пушку купился. Ланщиков сказал, что кража стола будет Олегу



полезна, что им недовольны в милиции, слишком добренький, а тут быстро ее раскроет, на своем участке...

Птица в клетке Серегина прыгала с лапки на лапку, крутила черной головой и выразительно разевала рот. Одно крыло ее было сломано и висело криво, как оборванная шторка.

— Что это за птица?

Серегин расплылся в детской улыбке.

— Иволга. Проводник привез один, нашел подранную.

— И что ты с ней собираешься делать?

— Лечить. Вот иду в ветлечебницу... А может — ваш муж ей крыло починит? Там перелом, и боюсь — давний.

Я никогда не видела лицо Серегина таким детским и человечным одновременно, он всерьез переживал за свою питомицу.

— Я давно мамку просил о собаке, но она боялась грязи, шерсти на коврах. А птица чистая, правда? И поет, говорят... Хоть что-то живое будет в доме, среди этих ковров...

Он просунул палец в клетку. Иволга его клюнула и брезгливо почистила нос о перья: ничего съедобного... Он вытащил из кармана баночку с завинчивающейся крышкой. Там что-то шевелилось.

— Все утро копал, чуть на экзамен не опоздал. Ну и горазда она лопать, по двести червяков может заглотать.

Мы помолчали, глядя, как птица жадно и хищно подскакивала к прутьям, куда он вталкивал червяка. Ей было все равно, что клетка накренилась, качалась, что она еле удерживала равновесие. Бусинки глаз поблескивали, клюв зашлепывался с молниеносной скоростью, и Серегин сказал с тоской:

— Наверное, глупо, но так я хотел Олегу Николаевичу сделать полезное...

— А как вам удалось совершить кражу на глазах у всех?

— Подумаешь — делов! Я этот магазин знаю как облупленный. Когда они лялякают — все вынести можно. Вот я и велел Парамонову крутиться поближе, его они не знали. А как одна бабуся поплелась к Виталию Павловичу в подсобку, я вошел. Вижу, через заднюю дверь гарнитур вносят, в зале начали мебель передвигать. Лужина издали командовала, что куда ставить.

Ну, мы стали помогать грузчикам, потом взяли стол Стрелетова и вынесли через центральный вход. Не спеша. Потом отнесли стол в сарай, через три двора. Набросили мамкин халат и позвонили этому хмырю.

— Он вам заплатил?

— Да вы что! Все по дружбе, балбесами сработали. Серегин подумал и добавил:

— А еще я прочел к экзамену «А зори здесь тихие».

Да, искупал он грехи самоотверженно.

— Зайди ко мне на днях, дам книгу «Я, Пеле».

Серегин присвистнул.

— А сегодня можно?

— Пока не сдашь экзамены...

Он вздохнул, первый раз в жизни этот семнадцатилетний человек вздохнул из-за книги.

Ничего нет тяжелее в жизни учительницы литературы экзамена по ее предмету в десятом классе. Ответы обширные, многотемные, комиссия разнообразная. К концу дня у меня бывало ощущение, что голова распухает, и я плохо понимала, что происходит вокруг. В такой день мои домашние меня не трогали. Я проходила к себе с чашкой кофе и несколько часов отмалчивалась, стараясь переключиться на какой-нибудь штопке.

Но в этот вечер мое уединение прервал Филькин.

Он появился смущенный, в куртке и неизменных джинсах.

— Простите, что я в таком виде, но на меня нельзя купить костюм, седьмой рост, таких не бывает, вот и приходится, когда не в форме, ходить в свитерах и джинсах...

Точно я его пригласила на званый вечер, где все присутствующие в смокингах. Я молча продолжала штопку носков Сергея, ни о чем его не спрашивая.

— Я предполагаю, что к вам сегодня должна зайти Лужина...

— Зачем? Она не была у меня сто лет...

— Утром ей в милиции показывали норковую шапку. Она ее не признала, наверное — решила сначала с кем-нибудь посоветоваться. Или сочинить достоверную историю. А время не ждет, проще всего с покаяниями ей зайти к вам...

— И вы рассчитываете, что ее не смутит ваше присутствие?

— Может быть, ей это даже будет выгоднее...

Он оказался ясновидцем, вернее — прекрасным психологом. Через полчаса появилась Лужина. Она подурнела из-за беременности, одета была скромно, во все темное, никаких бриллиантовых украшений на ней не оказалось, только на пальце обручальное кольцо.

Она безучастно кивнула Филькину, а потом начала рассказывать, что вскоре собирается с мужем в Италию, что будет учиться на искусствоведа в университете...

Я ждала, что Филькин ее прервет, начнет задавать вопросы, но он курил, сидя в кресле в углу, и это начало раздражать Лужину.

— Я должна... вернее хочу... кажется, надо сказать правду...

Тон был нерешительный, интонация, как у капризной девочки. Она взялась расставлять тарелки, потряхивая головой, точно еще носила длинные волосы. Ей можно было дать больше тридцати. Неужели возраст старого мужа так гасит молодость женщины?!

Лужина стала спиной, приподняв плечи, точно ожидая удара.

— Боюсь, это из-за меня... с Олегом...

Воздух в комнате начал стремительно сгущаться. Мне его не хватало. Я тщетно пыталась вдохнуть. Ведь Барсов сказал, что Олег кого-то ждал возле моего дома.

— В общем, в тот вечер я шла из магазина в норковой шапочке. С Виталием поругалась, он не провожал...

Лужина тяжело вздохнула, но я почему-то не верила ни словам ее, ни волнению...

— Захотелось забежать к вам, посоветоваться... Ну, насчет замужества...

Она повернулась ко мне и с этого момента не спускала с меня каштановых глаз, обведенных по векам черным ободком...

— Я не заметила, что за мной шел какой-то парень, вошла во двор, в подъезд. И тут он сдернул с меня шапку. Я оглянулась, а он швырнул мне в лицо соль с перцем...

Глаза ее наполнились слезами.

— Я крикнула, зажмурилась, ко мне бросился Олег,



я даже не поняла, откуда он взялся, задержал парня...

Она снова начала переставлять тарелки.

— У меня жгло глаза, Олег велел подняться к вам, чтобы промыть, я вошла в лифт, и тут услышала шум, вроде драки... Я замерла. Вдруг что-то случилось?.. Окажусь свидетельницей, вызовы, допросы.

Нестерпимо фальшивыми были ее интонации, манеры, точно у плохой провинциальной актрисы...

— В общем, поднялась в лифте, постояла, не выходя, минут десять, дождалась тишины, спустилась и выскочила, как настиганная.

Так, а как же обожженные солью и перцем глаза? Как она узнала с закрытыми глазами Олега? По голосу? Из движущейся кабины лифта она не могла слышать шум драки...

— Почему ты так долго молчала?

Она улыбнулась, дернув плечом, как делала всегда на уроках, когда не могла правильно ответить.

— Потому что мой муж говорит: «Жена Цезаря должна быть вне подозрений!» Интерес ко мне милиции его насторожил бы. А теперь мы расписаны, и никто не посмеет спросить, откуда у меня, простой продащицы, такая дорогая шапка!

Я вспомнила разрушенную квартиру, фотографию на стене, шапочку, которую прабабушка Парамонова вынула из буфета.

— Тебе показывали норковую шапочку в милиции?

— Да...

Врала, все врала сознательно и упрямо. Видимо, знала молодого человека, с которым схватился Стрепетов... Олег — прекрасный самбист, он шутя бы справился с обычным пьяным... Но Лисицын, кажется, служил в десантных войсках, был выше, сильнее... И еще этот перстень-печатка, массивный, литой...

— Лисицын... — сказала я, и глаза Лужиной тревожно замигали. — И встретились вы не случайно, договорились с Олегом заранее о встрече, да?

Лужина бледнела так стремительно, что у нее посинели губы.

— Что сказал Олег? — Я старалась не отпускать взглядом ее мигающие глаза.

— Он потребовал: либо явитесь с повинной, либо я передам материалы по службе... Десять секунд для ответа.

— Лисицын ударил Олега сзади, пока ты отвлекала?

Лужина отступила от меня, слабо взмахивая рукой.

— Что вы, что вы! Не он, нет, не он, никогда в жизни... Это Парамонов-старший, идиот проклятый... Олег его на принудление посылал, вот и озлобился...

У меня отнялись ноги... Я села.

— Парамонов тоже был в моем подъезде? Вы договорились заранее?

Лужина неожиданно успокоилась.

— Вы что-то путаете, Марина Владимировна. Я и Лисицын встретились с Олегом днем, во время обеда. Мы втроем пошли в кафе «Маринка»... Ну а когда он мне пригрозил, я сразу сказала, что выхожу из игры. Очень нужен мне этот магазин и махинации вашего Виталия Павловича.

Она достала пудреницу и старательно, неторопливо начала обмахивать лицо пуховкой.

— Лисицын считал, что Олег сует нос не в свое дело, он же не ОБХСС, да и криминала в моих действиях не было, меня адвокат заверил... только служебное злоупотребление.

— Заведомо заниженная цена дорогой вещи и продажа ее «своим» клиентам — это не криминал? — не выдержала я.

— Все могут ошибаться.

— А доплата за дешевую вещь в твой карман?

— Докажите. Никто ведь не подтвердит, — Лужина даже заулыбалась. — И потом — кто будет жалеть коллекционеров? Государство не ограблено... Они как пауки в банке. Насмотрелась. От жадности, зависти готовы друг друга сожрать. А мы при чем? Если же мне и делали подарки, то как женщине. Неужели я не могла пользоваться успехом?! Может быть, мой образ жизни раньше был аморален, но это не криминал.

— Почему же Стрепетов вмешался? — спросила я.

— Блажной. Это его совершенно не касалось!

— Когда вы натравили Парамонова-старшего на Стрепетова?

— Да кто его натравливал?! Вечером пристал ко мне, чтоб дала пятерку, вечно канючил на опохмелку, я и послала его... Он взбесился, я забежала в ваш подъезд, он — за мной, схватил шапку...

Она опустила глаза.

— Ну, я закричала, а тут Олег вмешался...

— Олег не мог справиться с Парамоновым?

Я не верила ей, Олег с его реакцией футболиста?!

— Он споткнулся, там лежали старые батареи, упал и затылком об железо.

— И ты сбежала вместо того, чтоб оказать ему помощь?

Она вызывающе вскинула голову.

— Я его не звала, не просила вмешиваться! А мой муж против всяких дел с милицией, он — выездной.

— А кто довел Варю до самоубийства?

— При чем тут я? Вот уж никаких отношений не имела с ней... Варька сама деньги брала на своей «скорой» за устройство в больницу...

— Откуда ты знаешь?

— Ее шеф втянул, он собирал резную мебель черного дерева, голландскую, итальянскую, а цены на подлинники бешеные. Вот он и убедил ее, что хирургу с такой квалификацией недоплачивают... Слава богу, его арестовали, вскрыли такие делишки...

— Варя вас познакомила?

— Да, и как потом ревновала! — Тень бывшего злодательства скользнула по ее лицу.

— А почему Лисицын так перепугался, услышав, что Варя в милицию собирается с повинной?

— А, истерик! Подумаешь, доставал ее шефу западные пластинки и книги! У него клиентура — ого-го-го! Великий парикмахер!

— Но деятельностью Лисицына интересовался и Стрепетов?!

— У Стрепетова и спрашивайте! Лисицын чист. За пустяки делал одолжения. Не подкопаться ни с какого бока. А в случае чего — за него такие дамы вступятся... И Варьку ему не клейте, не надо, сама, дуреха, виновата, не надо было с головкой влюбляться...

Она вспоминала Ветрову так, точно с момента ее самоубийства прошло много лет. Без боли.

— У Варьки оказались просто слабые нервы. Ланщиков всегда говорил, что такие не переносят узды...

— А откуда ты знала Парамонова?

— Здрасте, он грузчиком у нас подрабатывал. Серегина ковры любила, я звонила ей... когда поступали. Интересные, ценные. Это должностное упущение, не уголовное, мне адвокат объяснил...

— При чем тут Серегина?

— Она Парамонова отпускала, когда я просила,



чтоб помог некоторым клиентам перевозить мебель, у нас есть машина закрепленная, но без грузчиков. И еще Маруся хотела, чтоб ее сын у меня бывал.

Вот уж чего никогда бы не подумала... Серегина так тряслась над красавчиком сыном...

— Хотела, чтоб манерам научился, чтоб видел приличное общество, к ней же забежали только ханурики...

Приличное общество! Компания Лужиной?!

— Она боялась, что его окрутят уличные девицы, и привлекла меня на помощь... для профилактики...

Лужина говорила очень убежденно.

— Сейчас не модны браки самотеком. Нужно оставаться в «своей сфере». А Гусар мог бы привести мамочке дочь какого-то физика, кому это интересно?!

Она вздохнула и, усмехнувшись, проговорила:

— Поймите, при зарплате в сто двадцать рублей на моем месте трудно оставаться безупречной, я — живой человек, и у меня тоже есть потребности... Жизнь есть жизнь, и она не совсем такая, как нас учили в школе... — Лужина осеклась. Филькин поднялся.

— Знаете, Лужина, мне приятно, что у вас больше нет тайн за душой. Стоило ли юлить на допросах? — сказал он.

Лужина попробовала улыбнуться.

— Кстати, а почему Лисицын сохранил записки Вари? — поинтересовался Филькин.

— Лисицын разводился со второй женой, она сказала, что порвала его бумаги, она была такая скандалистка, истеричка, что он поверил и не проверил...

Мне почудилось злорадство в ее голосе.

— Странно, что Лисицын так испугался, когда Варя сказала, что пойдет в милицию. По вашим словам, он ни в чем не был замешан? Однако к Марине Владимировне он прибегал...

Лужина молчала, лихорадочно перебирая пристойные варианты вранья.

— Он оформляется на загранрейсы, парикмахером туристских пароходов.

— Любопытно! — оживился Филькин. — Этого он на допросах не вспоминал.

Лужина явно испугалась, что проболталась о чем-то важном, успокоенная небрежным тоном Филькина.

— Что же коллекционировал Лисицын?

Лужина покусала губу и стала перечислять:

— Шпалеры ручной работы, мебель черного дерева, резную, с флорентийской мозаикой...

— Да, коллекционер с воображением! — В голосе Филькина прозвучала ирония. — Завтра придете в прокуратуру, надо запротоколировать ваши показания.

Уходила Лужина, ступая тяжело, точно встала после болезни. Я подождала и спросила:

— Ее привлекут к ответственности?

Филькин задумчиво покачал головой и сказал:

— Ну и ученичков вы воспитали.

Я вспыхнула.

— В этом классе было тридцать семь человек. На такое количество трое, нет, четверо оступившихся. Много? И потом, в каждом человеке есть что-то хорошее. И мы, учителя, можем только предполагать, какими наши ученики станут в будущем...

Филькин хотел возразить, но тут зазвонил телефон. Ликующий голос Вероники Станиславовны. Она говорила сбивчиво, путая польские и русские слова, но я уловила главное: Олег пришел в себя.

В комнату всунулась страшно возбужденная Анюта:

— Мам, там мальчик принес птицу...

Я вышла в переднюю и увидела мрачного Серегина. В руке он держал клетку с иволгой.

— Мамка не позволяет держать ее в доме. Возьмите, а?

— Мам, ой, мама, ну, пожалуйста!

— А где я возьму червяков?

— Что мы, всей семьей не накопаем?

— Она и мух ест, и изюм...

Я представила, как придется мне копать червяков, и вздохнула. Анюта так громко и возбужденно говорила, что в переднюю вышел Филькин. Серегин немедленно сделал попытку ретироваться, но не успел. Оперативный уполномоченный взял у него из рук клетку, посмотрел на иволгу и сказал неопределенно:

— Птиц ты жалеешь, а людей?

Серегин покраснел, потупился и неожиданно метнулся к выходу, точно за ним гнались.

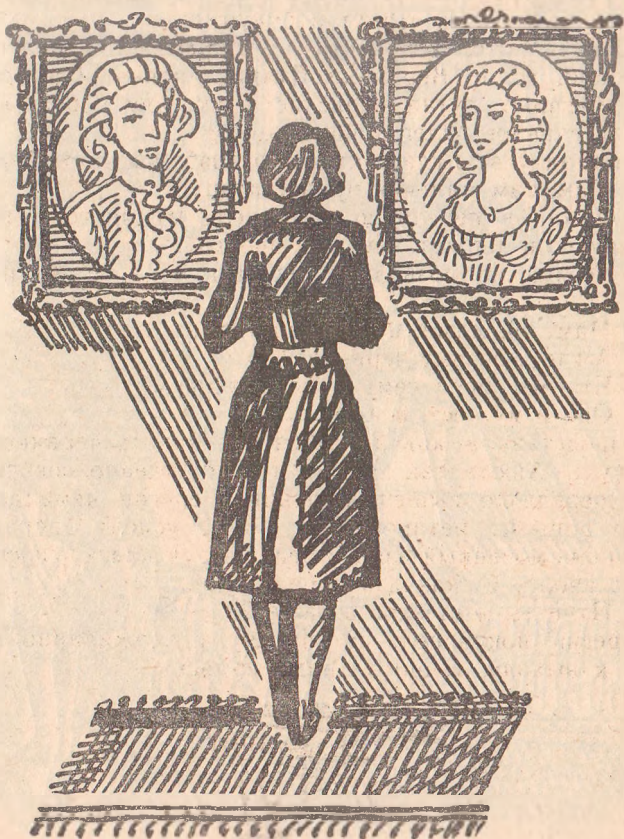


## Часть 2

# И ГОЛОС ТВОЙ В ДУШЕ МОЕЙ...

...Я тот же, что и был,  
И буду весь свой век  
Не скот, не дерево, не раб,  
Но человек.

Радищев









Эту пожелтевшую тетрадь принесла Шутикова, сутуловатая девочка пятнадцати лет, с длинным носом и близко посаженными, как у птицы, глазами. Сказала, что нашла ее в бумажном мусоре, когда делала ремонт в освободившейся комнате соседа. Он переехал, получив, как ветеран, однокомнатную квартиру, а его площадь передали матери Шутиковой. Оля Шутикова пыталась разыскать соседа, но не смогла.

Семья Оли Шутиковой состояла из двух маленьких сестренок и матери-алкоголички, доставлявшей много хлопот инспектору милиции по делам несовершеннолетних Стрепетову. Долго он убеждал женщину лечь в наркологическую больницу, пообещав поместить малышей в интернат, но старшая сестра решила их опекать самостоятельно. Она устроилась разносчиком телеграмм на почту, выполняя всю работу до уроков в школе, кончала восьмой класс и толково вела хозяйство на свою зарплату и те алименты, которые высылал отец младших девочек.

Последние несколько лет в красном уголке ДЭЗа сначала стихийно, а потом упорядоченно стали собираться по вечерам в субботу некоторые подростки, еще недавно отправлявшие существование жильцам микрорайона. После тяжелой травмы бывший участковый Олег Стрепетов пе-



решил работать в инспекцию по делам несовершеннолетних. Он придумал новое занятие для себя и для трудных подростков.

В красном уголке ДЭЗа его подшефные повесили лозунг: «История — звездные часы уходящих поколений». Он предложил им создать музей памяти тех, кто жил раньше в этих местах. Кроме трудных подростков, сюда приходили и девочки, ненавидевшие телевизоры, пенсионеры с неизрасходованной энергией и любознательностью и дружинники. Непредсказуемые находки завоёвывали потихоньку сторонников и энтузиастов.

Они собирали сведения о старинных снесенных домах и тех, что еще уцелели, интересуясь, кто в них жил, кому они принадлежали. Составляли журнал неповторимых судеб ветеранов революции и войны. В этой маленькой комнате появлялись удивительные реликвии, имевшие не столько художественную стоимость, сколько нравственную.

Шутикова появилась на краеведческих «посиделках» недавно, с того дня, как мать поместили в больницу. Слушала все сообщения внимательно, рассматривала экспонаты музея памяти, но лицо ее оставалось маловыразительным, и она еле отвечала на болтовню Парамонова-младшего. Он имел первый разряд по футболу, входил в команду юниоров страны, кончал десятый класс. Ему прочили учебу в институте физкультуры. Но он решил пойти как все в армию, а потом начать работать, потому что на его руках оставалась древняя прабабушка.

Парамонов-младший в музей памяти притащил ручку от ее лорнета, кофемолку величиной с проигрыватель и бисерный кошелек, очень памятную вещь для его прабабушки, которую она отдала, услышав, что музей памяти создал Олег Николаевич Стрепетов. Его имя она произносила с благоговением после трагических событий трехлетней давности. Но в их квартире не нашлось старинных документов, и тетрадь Шутиковой звала у Парамонова-младшего завистливо-восторженный вздох.

Чернила в ней расплылись, острые буквы лежали косо, многие строки оказались залитыми жиром, а сырость сделала страницы ломкими. Стрепетов потратил много времени, чтобы понять и разобрать текст. А потом предложил прочесть рукопись велух в красном



уголке ДЭЗа. Он пришел к выводу, что писала женщина: по стилю, почерку, чувствам. Поэтому и стал называть найденную тетрадь «Записками правнучки».

В первый вечер на чтение собралось человек десять самых любопытных подшефных Стрепетова. Лицо Шутиковой горело. Она скромно, но чуть горделиво опустила глаза, чувствуя себя точно именинница. Среди присутствующих была и Марина Владимировна, учительница литературы, живущая в одном из соседних домов, давно дружившая со Стрепетовым.

## ЗАПИСКИ ПРАВНУЧКИ

«Я был только исполнителем воли покойной моей супруги, а также ее распоряжения, о котором она мне неоднократно говорила. Я должен отдать должное памяти моей жены и истине, поэтому прошу упомянуть о ней, хотя ее скромность и возражала бы, но мое сердце этого требует, как заслуженную дань добродетели и чувствительности души, которую я потерял... Поэтому я настоятельно хотел бы включить в текст устава этого дома упоминание о благотворительной воли той, которая была светом моей жизни...»

Писал это письмо граф Николай Петрович Шереметев графу Строганову. Он был оскорблен тем, что в проекте устава учреждаемого им Странноприимного дома в Москве, показанного государю, не упомянуто имя его жены, бывшей крепостной певицы Прасковьи Ивановны Ковалевой-Жемчуговой.

Заканчивался бурный и яркий XVIII век. Во Франции вспыхнула и разгорелась революция. В России был отправлен в ссылку Радищев, посажен в крепость вольнодумец Роман Цебриков вослед за Новиковым.

И в это время больная, приговоренная к ранней смерти от туберкулеза удивительная женщина придумала и завещала осуществить одно из самых грандиозных благотворительных дел в России.

По ее воле был построен знаменитый Странноприимный дом, ныне институт имени Склифосовского.

В нем должны были содержать в богадельне сто человек неимущих и увечных, в больнице под этой же крышей — лечить пятьдесят человек бесплатно. Кроме того, на выдачу замуж неимущих и осиротевших девиц попечительному совету полагалось выделять ежегодно

6 тысяч рублей, «на вспоможение лишенных необходимого в жизни продовольствия и скудность притерпевающим семействам всякого состояния — 5 тысяч рублей». Наконец, на «восстановление обедневших ремесленников через снабжение их потребными для работы инструментами и материалами — 4 тысячи рублей...».

Прасковьей Ивановной Жемчуговой — великой крепостной певицей восхищались императрица Екатерина II и князь Потемкин, Павел I и Александр I, музыкант Кордона, архитектор Кваренги и художник Аргунов... Для широкой публики ее талант был недоступен, потому что она всю жизнь принадлежала, как вещь, «Крезу младшему», графу Шереметеву, находившемуся в двойном родстве с царями.

Он ее не просто любил. Уважал. Преклонялся. Не стыдась это показать. Потому и пытался отстоять ее достоинство в письме к графу Строганову, признавая, что великое дело, которым восхищались современники, придумано не им, а женщиной, крепостной, хоть и ставшей за три года до смерти его законной женой, правда тайной. Официально она числилась отпущенной на волю актрисой.

Удивительный звук взметнулся из-за двери, мимо которой проходил граф. Голос? Не мужской, не женский. Серебряный, как переливы аглицких часов. Как звон весенней капли. Голос, прозрачный в своей чистоте и свежести, высокий и свободный. Точно соловей заливался в саду на радость себе и всему миру...

Граф не мог сбросить сковавшего его очарования, пока не замерла странная песня без слов. Потом рывком отворил дверь в апартаменты тетушки, княгини Марфы Михайловны, низенькие, убранные по-старинному комнаты на антресолях Большого дома. Глаза его бежали залу тревожно и взволнованно. Где то существо, что пленило его настолько, что он забыл, куда и зачем шел?!

На низенькой скамейке возле выложенной голландскими изразцами печи сидела дворовая девочка в голубом сарафане и красном платочке. Торчали две косички, как заячьи уши. Нос был короткий, остренький, глаза ее, косого разреза, наружными углами протянутые к вискам, моргали тревожно, как у зайца, когда он чуял приближение охотника.

Кто же здесь пел?

Граф стремительно шагнул вперед. Анфилада жарко натопленных комнат была пуста. Только смешная девочка встала, когда он подошел ближе. Кукла, свернутая из шейной косынки, упала наземь. На маленьком лице лихорадочно сменялись разные выражения: растерянность, смтение, смущение, любопытство. Воспитанница тетушки? Но в таком наряде?

Граф не умел разговаривать с детьми. Они его утомляли, казались похожими на обезьянок, шумных, проказливых и упрямых...

— Кто пел? — спросил резко, отрывисто.

Темные глаза девочки сощурились, точно она смотрела на солнце, брови причудливо изломились. Она стала еще больше походить на зайчонка, графу показалось, что он даже слышит, как пугливо колотится ее сердце.

— Я-а-а... — прозвучало чуть слышно. Но голос зазвенел звучно и полно, как несколько мгновений назад. Она покраснела под его взглядом, щеки почти слились по цвету с красным платочком на голове. Руки девочки, тонкие и нервные, дергали, теребили край сарафана, но глаза она не опускала, не моргала, только ноздри дрожали и брови кривились сильнее.

Граф улыбнулся. Прекомичная встреча. И тут сзади раздался хриплый почтительный голос бывшей актрисы папенькиного тиятра, а ныне надзирательницы над актрисами Арины Кирилиной.

— Ваше сиятельство, да что же это деется?! Опять негодница безобразничает?! Не девка, а дурнопляска, одни проказы, ни покоя, ни отдохновения...

— Чья такая?

— Дочка кузнеца Ковалева, горбатого, Парашей кличут, княгиня воспитывает ее для тиятра.

— Воспитывает?

— С семи лет в доме. И грамоте выучилась, и по-французски чирикает, а в праздники пастушкой по саду бегаёт, увеселяет гостей: велят ей смеяться в кустах, уж больно заразительно хохочет, истинно бесовски...

Параша фыркнула, на щеках заиграли ямочки, глаза заискрились. Лицо стало лукавым, насмешливым. Истинный купидончик!

— Она и петь гораздо?

— Да уж певунья на удивление! Только озорная, намедни в церкви мужиком запела, дьякону подтянула, вот ее и наказали, в деревенский наряд обрядили...



Граф приосанился, улыбнулся уголками губ, притушил молодой блеск глаз, укрыл под маской высокомерия беспричинную радость, согревшую его с первыми звуками удивительного голоса. Потом благосклонно кивнул огромной, но очень проворной Арине:

— Пришлешь ко мне!

Девочка не шевельнулась, побледнев, только глаза сверкнули. А может быть, в них отразились лучи заходящего солнца?..

Так встретился граф Николай Петрович Шереметев с Парашей Жемчуговой. Ему было двадцать шесть лет, ей — десять. Он — богатейший человек России XVIII века, она — его крепостная. С этой минуты их жизни слились навсегда, но они этого не подозревали...

На другой день девочку привели в музыкальную залу. Граф улыбался, вспоминая об этом диком угловатом зайчонке. Василий Вроблевский раскладывал партитуры, подолгу забываясь над каждым листом. В профиль его лицо казалось старушечьим. Острый нос и торчащий подбородок — чистая Баба Яга в парике. Вроблевский забыл о молодом графе. Он шептал что-то, бережно глядя бумагу, присланную Иваром, конфидиентом Шереметева из Парижа, наклонялся к листам так низко, точно хотел проткнуть ноты носом с раздутыми ноздрями, привычными к табаку...

Шереметев подошел к новой своей виолончели, тронул струну. В воздухе поплыл бархатный густой звук, точно шмель залетел...

Параша застыла в дверях, переминаясь с ноги на ногу, поглядывая искоса, украдкой. Она смущалась в наряде барышни.

— Иди сюда... — Голос графа звучал ласково, вежливо, но Параша не шевельнулась. Графу на мгновение показалось, что ее приклеили к стене, как жуков и бабочек, которых он собирал с гувернером. Он решил ее подманить и тронул струну виолончели, потом другую — звук поднялся выше, зазвенел серебром. Девочка закусила губу, глаза расширились. Она чуть слышно повторила звучание, с такой чистотой, словно рядом возникла вторая виолончель.

Вроблевский поднял голову. Уши его шевельнулись.

Граф сел, взял в руки смычок... С первых дней жизни он привык, что все желания его исполнялись неукоснительно. Но давно ему ничего так не хотелось, как вновь услышать звуки ее удивительного голоса, вчера его заворожившего...

Параша молчала недолго. Виолончель повела ее за собой. Девочка вторила без слов, как птица, дыша свободно, раскованно, словно плыла в этих звуках.

Граф опустил смычок, голос Параши звучал, замирая, дольше, чем струна.

— Учить, всенепременно учить, безотлагательно... — Он сказал, не обращаясь напрямую к Вроблевскому, главному своему помощнику по делам тиятра. — И в спектаклях занять немедленно...

Вроблевский кашлянул. Он ставил уже оперы. Знал, сколько трудов стоит приучить холопов и холопок ходить, держать руки, не выдавая на сцене каждым жестом своего подлого происхождения.

— Ваше сиятельство! Помилуйте! Мужичка!..

Граф поскущел. Сколь его подводила увлеченность музыкой! Конечно, верный пестун прав. Напрасно он возомнил, что нашел жемчужину в навозной куче...

И вдруг изумление на лице Вроблевского заставило его резко обернуться. Угловатая девочка преобразилась. Очаровательная барышня жантильно\* улыбалась, делая ему реверанс, взявшись за уголки платья. Он увидел тонкую ниточку пробора, сверкнувшую среди густых темно-русых локонов.

— Мерси! — пропел серебристый голосок, и барышня поплыла к двери, ступая на кончики пальцев.

— О, холера ясна! — сорвалось у Вроблевского, забывшегося перед барином.

Граф Шереметев испытал странное чувство торжества. Он, который танцевал в Париже с дофиной Марией-Антуанеттой, встречался со знаменитыми актрисами: искрометной Ипполитой Клерон и ослепительной Рокур, он испытал что-то похожее на счастье, ощутив, что этот зайчонок может оказаться достойным своего невероятного голоса.

— Сколько ей... — Граф прищелкнул пальцами, он иногда любил показать, что некоторые русские слова проваливаются у него в памяти, хотя их род был истинно русский, без примесей иноземщины...

---

\* Манерно.

— Десять годов...

— Дать роль служанки в опере «Испытание дружбы». Премьера через месяц, успеет выучить...

На старушечьем лице Вроблевского пришли в движение все морщины, оно точно смялось от ужаса.

— Помилуйте, ваше сиятельство, дите сопливое...

Граф холодно посмотрел на его прыгающие брови...

Но Вроблевский, известный своим упрямством, сдался не сразу, он кинулся к Джованни Рубини, руководителю музыкальной части графского тиятра, и толстенький маленький итальянец с розовыми щеками пригласил Парашу на репетицию певцов. Графу об этом доложили в сей же миг, и он появился в зале, усмехнувшись при виде нахмурившегося Вроблевского.

Параше повелели петь ее роль, дали тетрадку в руки, но она строптиво ее отбросила. Брови графа приподнялись. Неужели и здесь будут шалости?!

Джованни заиграл вступление, и при первых звуках ее голоса он закатил глаза, причмокнув так, точно пробовал что-то лакомое, до чего он был великий охотник, а когда она еще без слов стала вторить журчащим аккордам клавесина, воскликнул: «Фор!» И подбросил вверх свой старомодный парик.

Потом заявил графу:

— Я сам буду ее... как это... гранить...

Граф опустил глаза, сдерживая смех, а Параша в ужасе попятилась, умоляюще поглядывая на барина.

Потом Джованни стал подавать реплики за главную героиню оперы «Испытание дружбы» прекрасную Корали, у которой Параше надлежало исполнить роль служанки. Корали истинно геройски отвергала брак с нелюбимым богачом, хотя от него зависела, признаваясь в своих страданиях девочке-служанке.

— Любезная Губерт, помоги мне оправить платье, поспеши...

Голос Джованни был больше похож на кошачий, хриплый, резкий, нежели на девичий... Граф усмехнулся, недоумевая. Неужели его жемчужина смогла выучить роль за единую ночь?!

— Вы сердитесь? — Параша произнесла свою реплику с такой теплотой, мягкостью и звучностью, что многие музыканты в зале оживились. Она приблизилась к Джованни доверчиво, как бабочка.

— О да, и есть за что... — Джованни чуть завывал многозначительно,



— В первый раз я вас вижу в таком сердце...

Лицо Параши выражало и лукавство, и скромность наперсницы, привычной к барской откровенности.

— Если ты любишь, Корали, будь послушна и не говори никому ни слова...

Джованни протянул Параше табакерку вместо денег, но уронил ее и даже покраснел от неожиданности.

— Возьми от меня эти деньги...

Параша чуть отклонилась, присела, неуловимо шевельнув рукой, и табакерка точно скользнула в ее ладонь и растаяла в складках платья.

Голос Джованни достиг визгливости, старик взаправду играл роль несчастной девицы.

— Да что вы намерены делать? — Сочувствие в гибком голосе Параши согревало, ребенок, втянутый в дела взрослых, лукавый купидончик заставил графа удовлетворенно потереть руки. Это дитя — истинная находка для кусковского тиятра.

Джованни поцеловал кончики своих пальцев и вновь сел за клавесин. Параша смущенно опустила глаза, заметив одобрение на лице графа. Она даже не представляла, какие воспоминания в нем вызвала. Петербург, придворный балет «Ацис и Галатее», в котором он четырнадцати лет исполнял роль лакея. Он волновался больше этой девочки, хотя не актерские лавры его манили. Он все пытался уловить взгляд царицы.

Странно, столько лет не вспоминалось, а тут он точно запах вдохнул того зала. Особые свечи жгли по приказу батюшки, плыл среди гостей аромат померанцев и бадьяна. Тогда еще были живы матушка и сестрица Анна.

Поскучневшее лицо графа послужило сигналом к исчезновению музыкантов, но Параша не шевельнулась. И странный взгляд ее, задумчивый и сочувственный, весь день преследовал молодого графа.

А вечером он встретил ее в аглицком парке возле пещеры с бронзовым львом. Над сим чудищем висела надпись: «Не ярюсь, бо неукротим»... Девочка стояла на одной ноге, а вторую подняла высоко, почти касаясь его приоткрытой пасти. Глаза ее были зажмурены от усилий. Она точно грезилась, танцуя непонятный танец. Потом сменила ногу, руки взлетели, всплеснулись, точно дразнили кого-то, могучего, грозного, чуть слышно звеня колокольчиками своего голоса. Новое па. Параша низко согнулась к прямой ноге, выгнув по-лебединому

тонкую шею, другая касалась носком морды неукротимого царя зверей.

Заскрипел песок под ногами графа. Девочка ойкнула тоненько, точно комар. Шереметеву показалось, что в ее горле не один, а несколько голосов. И тут же странная танцовщица, вспорхнув, исчезла.

С тех пор граф увлекся приручением этого дикого, пугливого и дерзкого в одно и то же время существа. Ни на кого из актеров и актерок крепостного своего театра не тратил он столько сил, драгоценных часов. Даже на первый сюжет — Татьяну Беденкову. Раньше она царила на сцене. Он любил слушать ее грудной привольный, как ветер, голос. Но Татьяна начала кашлять, бледнея до синевы, а когда затяжелела, граф стал избегать ее комнаты в актерском флигеле. Он скучал с ней, заранее зная каждое ее слово, вздох, несмелые улыбки и робкие желания. Ей запретили петь, а зачем ему эта блекнувшая игрушка без голоса?! Иногда он смотрел на ее портрет работы усердного крепостного художника. Высокий кокошник, жемчуга на шее, простое бесхитрое доброе лицо — пресный хлеб, не более, после парижских метресс.

Впервые появилась на театральной сцене Параша, Прасковья Ивановна Горбунова, в опере «Испытание дружбы». Писец канцелярии графской перепутал, дал ей фамилию не истинную, Ковалева, а по деревенскому прозвищу кузнеца, ее отца, горбатого от рождения, но наделенного дикой силой.

Граф Николай Петрович распорядился нанять для Параша учителей, переселил ее в актерский дом. Итальянским языком с ней занимался тенор сеньор Торалли, французским — мадемуазель Деврии. День расписали по минутам, точно она не девица, а новобранец. В сад не выбраться, не побегать, не поиграть. Но она со всем пылом горячей натуры предалась воле барина, показавшегося ей с первой минуты, как глянула, сказочным принцем. С недетским чувством она пела:

Я вечер в лугах гуляла,  
Грусть хотела разогнать,  
И цветочков там искала,  
Чтобы к милому послать.

Татьяна Беденкова не могла без слез слышать странный ее высокий голос, произносивший с тоской и серьезностью:

Долго, долго я ходила:  
Погасал уж солнца свет,  
Все цветочки находила,  
Одного лишь нет, как нет...

Татьяна никогда не была красавицей, лицо мало-подвижное, доброе, медленный разговор, чуть сонные движения. Но вот встала на пути чаровница Анна Изумрудова, певица наглая, насмешливая. Нет, граф не обижал больную Татьяну, не мучил работой в тياتре, ждал дите с довольствием, но Татьяна худела день ото дня и таяла так, что вскоре на шее зазмеились синие жилы, густая седина забелила ее русые волосы, а браслеты падали с руки, когда она ее опускала, закручинившись....

Татьяна одна лишь жалела Парашу, предчувствовала горести: летела дите в огонь, как бабочка, а слова сказать ей не решалась. Об нее сии слова могли бы удариться с могильным стуком, последние крупичи радости смыть.

Не дари меня ты златом,  
Подари мне лишь себя:  
Что в подарке мне богатом?  
Ты скажи: «Люблю тебя...»

Звенел чистейший голос девочки, переливался, таял в вышине, и казалось Татьяне, что с этим невиданным голосом то ли отрока, то ли девы и сама она тает, уходит в небесную синеву, жалея лишь неродившегося младенца.

А когда Парашу перевели к «графскому верху», встречаться им стало невмочь. Неусыпно следили надзирательницы Настасья Калмыкова да Арина Кирилина, собаки барские, за девочкой по пятам ступали, в затылок дышали. «Ни же отцу, ни же брату родному навещать оных актерок не разрешено», — приказывал еще старый граф, создав при тياتре домашнюю полицию: «гусарского командира» Ивана Белого и двенадцать «гусар», одетых в мундиры яркие, невиданные. Встали на вечную охрану, аки львы у актерского дома.

А уж Парашу лелеяли, точно истинную жемчужину,



и к болящей Татьяне подпускать было настрого запрещено. Лишь несколько месяцев спустя узнала она о смерти доброй подруги, возле которой отогревалась детской душой, расспрашивая о молодом графе. Сгинула от «горловой чахотки», сломанная обидой и тоской недавняя первая певица. Но записку переслала с огромной Ариной Кирилиной, отдала за услугу медальон золотой, графский подарок, жемчугом усыпанный. И в булавке той пророчила, чтобы, как взойдет Параша в милость к графу, не забыла ее бедную дочь-сиротку, пожалела, о матери хоть словечко молвила...

Невзлюбила Парашу новая главная крепостная метресска — Анна Изумрудова. Хоть соперниц не очень страшилась. Уж такие были богатые у нее рыжие волосы, густые, жесткие, как конская грива, даже старый граф шептал, когда дева их на сцене распускала почти до полу: «Иродиада, чистая дьяволица». Да и кожи ни у кого белее не было, а глаза — зеленый крыжовник, и умела она ими блеснуть невзначай, обжигая, и с приятной веселостью опустить долу. И пела чисто, грудным спокойным голосом, и плясала на сцене с живостью французской. Гости поглядывали с придыханием, откупить предлагали, да и свои, дворовые, вились мошкаторой — ныне она «первый сюжет» молодого графа...

Но учителей к Изумрудовой не нагоняли взводом, а у этой комарихи — ни минуты свободной. Утром репетиции, потом изучение языков, потом граф водил Парашу в свою картинную галерею, показывал да рассказывал разные разности, потом в библиотеке книги смотрели, да еще уроки на арфе, сам Кордона приглашен, на клавесине Джованни надсаживается с ней, с Дегтяревым пела дуэты, а вечерами — во всех спектаклях участвовала, не боялась графа опорочить...

А через несколько месяцев, только стукнуло Параше одиннадцать годков, молодой граф поручил ей заглавную роль в опере Сакини «Колония, или Новое селение».

Анна злорадствовала, девы шушукались, все предвкушали провал. Да видано ли это, чтоб девчонка, и ростом невеличка, и сама тощенькая, над куклой ей в пору мурлыкать, любовь истинную изображала?!

Вроблевский пробовал слово молвить поперек. Николай Петрович его прогнал, даже старого графа уломал...

И правда, в девчонку точно бес вселился. Она появ-

лялась на сцене во время репетиций Белиндой, невестой губернатора острова, величественно, достойно, ступала, как истинная придворная дама, даже росту в ней точно прибавилось, а уж голос звучал совсем не по-детски. Губернатор заподозрил Белинду в неверности и хотел отомстить, женившись на другой, и дева решила покинуть в лодке остров, где потеряно счастье. Лишь в последнюю минуту клевета рассеялась, губернатор ее удержал, когда она собралась уплыть куда глаза глядят, перестав мечтать «о верности, в любви нелицемерности».

Граф сам с ней роль проходил, рассказал о характере Белинды, ее мужестве, благородстве. Параша слушала, как сказку, особенно когда он доходил до шепота в самых сердцеприятельных местах. И она понимала, как это понижение голоса звучит волнующе после трелей изнемогающей в тоске героини. Николай Петрович вспоминал репетиции Клерон, когда волшебница парижская занималась при нем в зале с Рокур. Она требовала, чтобы ученица произносила медленно восемнадцать строк гекзаметра на одном дыхании, не меняя звука, потом повышала голос после каждой строки, потом понижала. В эти минуты крошечная капризница Клерон, которой подчинялся даже герцог Ришелье, суетливая, тщеславная, болтливая, вдруг вырастала точно на котурнах, и голос ее звучал в самых дальних уголках огромной залы парижского особняка...

Вроблевский присутствовал на его репетициях с Парашей, прохаживаясь, раскачиваясь в такт шагам, точно кланялся вправо и влево. На запавших губах блуждала настороженная улыбка, он тоже вспоминал, сколь тяжело было ему увести молодого графа от чаровницы, крепко запустившей коготки в его кошелек...

Николай Петрович показывал Параше свои любимые книги, скульптуры, картины, он требовал, чтоб она повторяла позы сих героинь перед зеркалом, он рассказывал ей об искусстве тиятра, вспоминая незабываемые годы в Париже, и снова о волшебнице Клерон, изменившей костюмы на сцене, державшейся в самых громких трагедиях естественно, точно в жизни. Она была остроумна, как десять бесов, и капризна, точно юная красавица, хотя годами и отцветала. Но рядом с ней гасли молодые свежие придворные дамы... Взгляды худенькой молчаливой девочки, ее искрящиеся глаза, вдумчивое остренькое лицо подталкивали его откровенность...

Граф Петр Борисович Шереметев не вмешивался в

театральные дела со дня возвращения наследника из-за границы. Он поселился в «Доме уединения» со своей последней «барской барыней» \* и не навязывал сыну советы.

Премьера оперы Сакини «Колония, или Новое селение» состоялась в московском доме Шереметевых на Никольской.

Параша затмила всех актеров. Одиннадцатилетняя девочка передала глубокую тоску своей героини, ее непреклонную волю, черное одиночество, отделявшее честную девушку от недоброхотов. Ее доверие, нежность, простодушную радость растоптала клевета и мнительность жениха, поверившего сплетням. Никто не понимал, как, но сей удивительный ребенок передал истинные женские страдания, сыграл живую душу, а голос ее касался самых потаенных уголков в сердцах присутствующих.

«Фор!» — кричали ленивые московские сановники, чувствуя себя помолодевшими, чаровница заставила их вспомнить то лучшее в жизни, что за давностью лет былшем поросло...

Улыбающийся граф Николай Петрович прошел в кабинет Изумрудовой, где впервые гримировали Парашу. Девочка сидела на сосновом стуле, поникнув, глядя на него измученными ждущими глазами. Против воли он подошел и поцеловал ей руку. И тогда она расплакалась навзрыд, освобожденно, счастливо...

А позже в своей светлице Параша долго стояла у окна, вслушиваясь в запретный для нее мир там, на воле. Следила за птицами, и синий вечер казался ей черным. Анна Изумрудова влетела, как ветер, смахнув шалью ноты с маленького столика. Она похвастала подарком графа Николая Петровича — изумрудной брошью в цвет глаз.

— Очень любишь его? — тихо спросила Параша.

Анна засмеялась. Она знала, что ее сладкий век короток, среди двора ходили разговоры, что старый граф часто приступает к сыну, мечтая о его женитьбе. Самый завидующий жених в империи, отказа ни от одной барышни не будет. А пока надо брать что само в руки летит, курочка по зернышку клюет... Ей стало скучно, странная девочка не возмутилась, не обиделась на чужой подарок, мести не получилось...

---

\* Крепостная фаворитка.



Постепенно Анна и другие актеры перестали Парашу жалить. Дите было бессловесное, а могла, коли бы захотела, свести счеты, граф на нее не надышится... Безобидная, умом, видно, тронутая, ничего, кроме книг да пот, не жаловала, как жучок...

Только однажды характер блеснул молнией. Взяли в те поры ко двору графскому семилеточку Таньку Шлыкову в балет. Уж на что родители ее были наближние к старому графу дворовые, а дочку не посмели отмо- лить. Надели на дите пояс железный, чтоб не горби- лась, да на цыпки ставили часами, носок держать не на- учена, а она в рев. Девы смеялись, дразнились, и тут Параша попросила молодого графа приставить к ней девчонку. Конфетами кормила, учила всяким балетным разностям, у нее-то все волшебством получалось, что петь, что танцевать, любой пируэт делает чисто, хоть на сцену зови... Танька хвостиком за Парашей бегала, не разлей вода стали, хохочет, с шуточками науку пости- гала быстрее...

— Дал же господь умения! — качала головой Арина Кирилина, видя, как Параша дите обучала. — Только рожа подвела, ей бы твоей красоты, Аннушка, цены бы рабе не было...

Анна Изумрудова знала, что нравится Дегтяреву, который уже не только пел, но и музыку сочинял. Все надеялись, что парень падет графу в ноги, выпросит в жены, но Дегтярев только глазами шептал, а рта не от- крывал. Конечно, молодой граф повиднее, Дегтярев на дьячка смахивал волосьями сальными да ликом уны- лым. Но все же лучше своим домком поживать. Анна подарки графа припрятывала, да и в рост деньги дава- ла дворне, как попросят... Эх, откупиться, только бы ее тут и выдывали!

Но графы Шереметевы никогда никого на волю не отпускали, какие бы тыщи ни сулили. Денег своих не считано. И все у них должно быть наивысшего качества, что картины, усадьбы, дворцы, крепостные, каких ни у кого равных нет...

И запивали горькую самые головастые. Даже масте- ра Васильева, кудесника по дереву, из петли вынули, когда сорвалась мечта о воле. Преподнес молодому гра- фу он стол своей работы, музыкальный. На крышке — вся труппа кусковская, из разных пород дерева изобра- жена, как живая. Но даром, что маленький, руки коря- вые, а голову высоко вскинул, посмотрел взглядом не-

уступчивым, не верноподданным, мастером-художником себя мнил. Озлился Николай Петрович и рубль один бросил серебряный ему за службу верную. Так и сгинул столяр, запил, в дальнюю вотчину сослали гордеца...

Анна раздраженно дергала свои рыжие косы, со страхом замечая на лице тоненькие морщины, точно их накликивал кто. И ждала, злорадно, тайно, когда и Парашу призовут к барину.

Как-то зашла Анна в светличку к Параше и увидела на комоде коробку золоченую, взяла в руки, а дева, как орлица, вцепилась: «Не тронь!»

Анна, посмеиваясь, ее отпихнула, а в ларце — одни бумажки, записочки на французском, почерк графа.

— Смотри, не заносись... — сказала устало Анна. — Уж на что я — не тебе чета, а и мною поиграет да выбросит, как старый шлафрок. Теперь, говорят, у него новая мамзель, французская, и дом ей купил, и ездит часто.

Параша опустила глаза и взяла гитару.

Ох, тошно мне на чужой стороне,

Все постыло, все уныло:

Друга милого нет...

Милого нет, не глядела б на свет,

Что, бывало, утешало, о том плачу теперь!

Слова она выговаривала с такой тоской, что у Анны мурашки по спине пробежали, хотела перекреститься, а рука точно каменная...

Голос разливался, ширился, на зеленые глаза набежали слезы. Она зажмурилась, увидела вдруг себя совсем молоденькой на берегу, когда еще о тиятре и не слыхивала. Была простой девкой в деревне и вздыхала тайно по могучему ковалю, который жеребцов подковывал, поднимая играючи.

Слезы слепили ее. Анна сощурилась и все видела его, черноглазого, веселого, сданного в рекруты в ту осень.

А голос пел и точно очищал ее, поднимая над годами, жизнью, облегчал душу, как после молитвы. Легче дышалось, думалось. Все вокруг посветлело, и Анна в голос зарыдала, дивясь на эту пичужку...

Молодой граф слишком много времени проводил с Парашей, и его батюшка подумал, как бы по Москве

первопрестольной не поползли ужами недобрые слышки\*. Дворовым на уста платок не накинешь, не замкнешь, как амбар. Да и гости сановные на операх подмечали, как слушал наследник эту девку, дар господний.

Он отправил «Креза младшего» в Петербург, где его произвели в обер-камергеры. Ни ростом, ни видом молодой граф не был обижен. И подбородок его раздвоенный, и тонкие ироничные губы волновали не одну фрейлину. А глаз побаивались, вспыхивали они иногда, полыхали бешенством, точно кровь матери — Варвары Черкасской, дальней родственницы царицы Марии Темрюковны, — вскипала в молодом графе.

Припадков гнева молодой граф и сам опасался, поэтому просил камердинера Николая Бема остужать его с бережливостью, чтоб не наделал вдруг урона фамилии своей.

Годы без молодого графа казались Параше остановившимися, как испорченные часы. И хоть голос ее наливался, расцветал все богаче, многокрасочно, но не хватало в нем радости.

Он вернулся щеголем. Волосы стал носить заплетенными в косу, пудреными, с буклями на висках. Крепостные девы призывались в его апартаменты чередой, он их дарил щедро и весело, его точно переполняла молодая озорная сила.

Парашу он повелел представить лишь дней через десять. Держался небрежно, накинул на нее кружевную белую гишпанскую шаль. Девушка могла в нее завернуться во весь рост.

Но стоило ему услышать ее голос, как вернулось навязание.

Каждый день она пела ему в музыкальной зале, а он играл на виолончели. И дуэт их тянулся часами. Он не осознавал, что с ним происходит, он не привык задумываться над прихотями, рассмеялся, скажи кто-либо, что он любит эту тонкую молчаливую девушку.

Параша вызывала в нем восхищение, смешанное с раздражением. Серьезное лицо, бледное, невыразительное. Оно преображалось от мгновенной сияющей улыбки, распускавшейся перед ним, как цветок. Поразительно было и ее одиночество. Она жила в каком-то своем мире и скользила мимо дворовых, точно нездешняя.

---

\* Сплетни (жаргон конца XVIII века).



Каждое суждение ее пленяло необычностью, прочувствованием, музыка ее создала, воспитала, жила в ней, и граф ходил в дурмане, слыша всюду ее голос.

Она держалась со светской простотой, непринужденностью, когда оставалась с ним наедине, безраздельно ощущая красоту искусства и растворяясь в ней. В такие минуты она точно светилась изнутри, и графа охватывал тайный страх...

Свечи так недолговечны, а самая беспощадная страсть — жалость к женщине. Она не приедается, как чувственность, она жжет и согревает душу, и сладость ее опаснее любви...

Параше исполнилось семнадцать лет. С утра в ее комнату принесли цветы, подарки и среди них яхонтовые серьги и бусы от старого графа Шереметева. Параша задрожала. Граф Петр Борисович всегда присылал такую награду приглянувшейся ему актерке. Но уже давно он жил на покое в «Доме уединения», радуясь малолетним побочным детям...

Параша была равнодушна к украшениям, она знала, что некрасива, а зачем вороне павлиньи перья?! Но сей момент захотелось ей появиться нарядной, празднично убранной. Лик молодого графа мелькнул перед глазами, и она залилась краской, рука дрогнула, драгоценный подарок покатился по полу. Она его не поднимала, застыв, точно внезапно лишилась сил.

Ее светлица не вмещала всех подарков, но с матерью, нежно любимой, свидеться ей не позволили. Граф хотел, чтобы даже память о семье стерлась в ее сознании...

А потом был торжественный обед для крепостных актеров. Молодой граф сел с ними, он часто заговаривал с Парашей по-французски, по-итальянски. Она опускала пушистые ресницы, краснея, скромная, тоненькая, и он на мгновение забывал, кто есть кто. Он хотел видеть ее улыбку, ямочки на щеках, но его смущал ее открытый детский взор. Ему становилось стыдно, жарко, он оживленно разговаривал, и его «взрослые» куклы всегда хохотали над немудреными шутками барина.

Потом внесли арфу и клавесин. Параша исполняла по его повелению роль хозяйки. Она приказывала дрожащим голосом слугам принести канделябры, расставить кресла. Пастушечья идиллия пречудесно удалась.

На мгновение он забылся. Его крепостные актеры и актрисы не уступали по манерам светским знакомцам.

Параша исполняла впервые публично русские песни. Глаза ее стали огромными, точно темное пламя в них колыхалось, а голос звучал надрывно, звуки накатывались волнами, сжимая сердца.

Ноет сердце, запыляет,  
Страсть мучительну тая,  
Кем страдаю, тот не знает,  
Терпит что душа моя.

Каждое слово, звук, нота тревожили его до болезненности. А последние строки песни она почти договорила, на звонком шепоте, обжигающем, как горячий пар.

Милый мой им обладает.  
Взгляд его — мой весь закон.  
Томный дух пусть век страдает,  
Лишь бы мил всегда был он...

Не замечала она, как шушукались девы, как вздыхали актеры, она точно отключилась от всех, вымаливая невозможное счастье, ни на секунду в него не веря, страдая и боясь, что такой полноты радости она уже не испытает.

В те поры она иногда слушала музицирование графа, притаившись за колоннами. Рядом застывал и Вроблевский, все время вызывающий барское неудовольствие. Сутулая фигура Вроблевского выделялась на фоне золоченой двери неуместно, точно высушенная монстра. Он чего-то боялся в последнее время, а больше всего — этой странной исповеди души, выраженной звуками. За этим могло последовать полное нарушение его устоявшейся крепостной, но привычной сытой жизни. Никогда еще граф так не играл, не предавался до такой степени музыке. Точно наемный виолончелист, он садился в оркестр со своими слугами, увеселяя гостей, а потом даже не выходил на приемы.

Вроблевский был тщеславен, вздорен и капризен с неравными, груб и властен, коли имел право, но с Парашей он терялся. Свет, излучаемый этой девой, разгонял мрак его души, возвращая к тем годам, когда еще верилось в предначертание, в преславное будущее...

Однако он терзал Парашу корявыми фразами в переведенных им речитативах, вспышками раздражения на репетициях, а главное — старательно подталкивал ее и

графа к сближению. Что это было — желание унижить гордую душу, раз сам никогда не соприкоснулся с подобной? Страх, что девушка окажется счастливой там, где он мог ежесекундно стать ненужным? Ужас перед наступающей старостью, когда ему могли повелеть ходить с колотушкой ногами по парку...

Молодой граф был в те месяцы со всеми и над всеми. Мелькание событий, суета балов, охот, карточных игр — шелуха, тополиный пух. В его мозгу возникали образы, живые, трепетные, бессловесные, он пытался их выразить музыкой, избавиться от калейдоскопов звуков, они сливались в музыкальные напевы, мелодии, это и мучило, и несло радость. Особенно когда рядом находилось родное существо, слышавшее саму музыку его души, причудливую и неповторимую.

Теперь Параша жила неуверенно, нервно, ей казалось, что под ее ногами тяжело дышала земля. Осчастливила ее лишь новая роль в опере Гретри «Самнитские браки». Девушка чувствовала: неустойчивое равновесие, в котором пребывали ее отношения с графом, пока не состоится премьера, не нарушится...

На премьере Параша вновь предстала неузнаваемой. Она играла гордую решительную самнитку Элиану. Вожди не разрешили ей выйти замуж за избранника, они считали, что браки заключают не по сердечной склонности, а по их велению. Но Элиана — не рабыня:

Разите, боги, мя, боязни в сердце нет.  
Ударов ваших ожидаю.  
Пойду к нему, презря все тучи бед...

Легкая стройная фигурка, крошечные ноги, оплетенные сандалиями, весь облик ее покорял нежностью и мужеством. Она решает сражаться рядом с Парменонем. Никто не вправе запретить ей умереть рядом с ним, воюя плечом к плечу.

Любовь нас может соединити,  
Когда закон противен нам.  
Хотя нельзя нам вместе жити,  
Но можно жизнь окончить там...

Николай Петрович слушал ее смятенный. Его охватило раздражение. Параша не склонилась перед ним благодарной рабыней, она ждала равных отношений, как и Элиана... Ему почудилось, что гости иронически



посмеивались над его откровенной склонностью к простой крепостной девке, и щеки его запылали, хотя он крепко сомкнул губы...

На третьем спектакле «Самнитские браки» Вроблевский коснулся плеча Параши. Его тонкогубый рот кривился, а глаза смотрели в сторону.

— Приказано после спектакля... к молодому барину...

Она выпрямилась, глаза точно провалились на худеньком лице.

— И чтоб яхонтовые серьги вдела...

Лицо ее застывало, мертвело.

— Ты не лучше других, дева...

Голос его дребезжал, он откашливался. Не первую отправлял к барину, но только сейчас ему вдруг стало стыдно, тяжело, точно дочь от сердца отрывал. И грубость его была жалкой защитой себя самого...

— Повеление его сиятельства Петра Борисовича, чтобы излечила сына от дурмана...

Он долго следил за ее проходом, когда она, никого не видя, шла на сцену в последнем действии. На ее шлеме были приколоты драгоценные перья, белые и голубые, воины в колеснице вывезли героиню, спасшую старого вождя на войне, огромный граненый сердолик под перьями шлема рдел и бросал кровавый отблеск на ее побелевшее лицо — Параша пела с такой страстью и болью, что в зале все замерли. Она точно боролась с судьбой, делавшей ее чужой игрушкой, искушала, вопрошала ее, страхась того, о чем мечтала годами...

Новость облетела кулисы, Вроблевский постарался, чтоб все знали «о милости», ей завидовали, злорадствовали, жалили взглядами. И встреча с барином, за которого она бы добровольно отдала жизнь, как Элиана, казалась ей теперь хуже смерти.

После спектакля за Парашей пришел камердинер молодого графа Николай Никитич, огромного роста, медлительный, важного движения человек с плоским желтоватым лицом и аккуратнейшим париком. Он ни на шаг не отпускал, по приказу старого барина, наследника, знал его вкусы, желания, страсти. Сам он читал только церковные книги, шевеля губами, презирал светские удовольствия, но, истово любя графа Николая Пет-

ровича, терпел греховодные его занятия, надеясь отмо-  
лить все его прегрешения.

Параша застыла, точно статуя, Николай Никитич почувствовал жалость.

— Шаль накинь, грудь побереги...

Она встала, точно механическая игрушка, которую граф недавно выписал из Парижа, и двинулась за ним плывущим шагом, а гишпанская белая шаль ползла за ней по земле, как змея, цепляя одно плечо.

Перед всдневной опочивальней графа стоял лакей Прошка, безалаберный веселый человек с курносым лицом, как у наследника престола. При виде Парашаи он низко склонил напوماженную голову и пропел полушепотом:

— Просят... -с...

И девушка переступила порог, выпрямившись, как струна, высоко неся несчастную голову.

Граф Николай Петрович сидел возле камина. Он снял камзол. Белая рубашка с пышными кружевами подчеркивала его молодость. С волос, забранных в косу, стряхнули пудру, они чуть вились на висках, и в них посверкивали седые нити...

Он вскочил, пошел ей навстречу, и в этой белой с голубым комнате девушка стала стремительно замерзать. У нее точно губы исчезли, голос, ей показалось, что она никогда не сможет произнести ни звука.

Странная робость охватила его. Граф наклонился, поднял ее шаль. Она смотрела прямо на него, но только волнистый рисунок шелковых обоев отражался в ее глазах.

Растерянность не проходила. Хоть бы взор опустила. Но ресницы Парашаи не шевелились. Статуя безмолвия, не дева.

Граф попробовал снять напряжение шуткой. Непринужденность всегда растапливала женские сердца.

— Помнишь позу Иродиады в моей любимой картине?

Ее молчание давило, точно глыба.

— Изобрази.

Все с тем же застывшим лицом Параша превратилась в танцующую зловещую фигуру, протянув руки вперед, точно держала в них золотое блюдо.

— Умница. А теперь изобрази деву со своей любимой картины.

Она подняла руку над головой, словно придерживала узкогорлый кувшин, изогнула стан, колеблясь на носках, взгляд ее ушел сквозь графа вдаль. В ее глазах будто запечатлелась пустыня, медовые пески, слепящий блеск солнца, марево воздуха...

Наваждение!

Она позволяла играть собой, точно куклой, легкая, гибкая, не произнося ни звука, то вспыхивая, то погасая от его новых причуд.

Графу казалось, что в его опочивальне сменилось несколько женщин. Такого изысканнейшего удовольствия он не испытывал никогда. Параша изображала всех дам, кто волновал в юности его воображение, всех, кого они вместе рассматривали в альбомах, всех, кто оставил болезненный и негасимый свет в сердцах умерших великих художников...

Она точно не ощущала усталости, после репетиций, спектакля, послушная, гибкая и почти неживая. Только ноздри трепетали, и все темнели, западали глаза.

— А теперь Данаю Тициана!

Параша изогнулась, откинула голову, одной рукой отталкивая золотой дождь, другой — ловя. Тень экстаза пробежала по лицу, страстного ожидания чуда...

Задышавшись, граф схватил ее в объятия, сердце его так билось, что отдавалось в ушах... Еще мгновение, и все поплывет, исчезнет...

И вдруг, не шевельнувшись, она сказала:

— Не надо...

Голос прозвучал тускло, беспомощно.

Он хрипло рассмеялся, тоже весталка, крепостная девка, сотворенная им из грязи...

Рывком порвал лиф, обнажив грудь, руки, плечи, тонкие, как у птенца. Кожа холодная, точно мрамор, она не теплела под его прикосновениями, а ведь ладони его были раскаленными. Хоть бы глаза прикрыла. Взгляд ее жег, давил, тяжелый, горький, точно ледяные иглы вонзились в сердце.

— Глупая... да неужто... силой надобно брать?..

Она затаилась, не дыша. Ему стало тяжело, что-то теснило горло, он хотел рассмеяться и не мог.

— Иди... подожду, пока сама придешь, своей охотой...

Она поплыла к двери, прикрывшись белой шалью. Что-то жгло душу с такой силой, что она не могла вздохнуть.



Через несколько дней после первого чтения «Записок правнучки» мне позвонила Маруся Серегина. Я, по ее мнению, прочно принадлежала к категории «не совсем нужных людей»: ее сын школу закончил три года назад.

— Рыбонька, у тебя нет книг о Кускове и Останкине?

От изумления я чуть не прикусила язык. Маруся, скупавшая ковры ручной работы, музейными альбомами не увлекалась.

— Есть, а зачем вам?

— Потом, лапочка, как на блюдечке принесу...

Я представила ее широкое лицо, маленькие темные глаза, всегда оживленные, жизнерадостные. Странный интерес к музеям, внезапный...

— У меня есть альбомы, только старые, черно-белые...

— Умоляю, птичка, потрудись... — У Маруси при смехе точно металлические дробинки перекатывались в горле. — Передай с Мишкой, как забежит к твоей Анюте... Кажись, он к ней неравно дышит.

Я промолчала, хотя меня тоже удивляла дружба дочери с Гусаром. У него, кроме орлиного носа, черных усиков и учебы в МГИМО, ничего за душой не наблюдалось. Он приходил почти каждый вечер с японским транзистором, пил чай и слушал безостановочный треск Анюты. Болтливость моей дочери превышала норму, иногда мне казалось, слушая ее, что я — мать многодетной семьи.

— Вот очухаюсь, забегу, и такое узнаешь — закачаешься! — Голос Маруси звучал торжествующе, наконец она могла меня ошеломить, потому что ее коврами я восхищалась из вежливости, и она это ощутила.

Я стала строить разные предположения. Может быть, она услышала про тетрадь, найденную Шутиковой? И кого-то из коллекционеров, собирающих мемуары, уже информировала. Не бесплатно, конечно, за одолжение. Но зачем ей альбомы старинных усадеб? Неужели просто совпадение — найденные «Записки» и ее интерес, внезапный, жгучий, к дворцам, где бывала Параша Жемчугова?

Я передала альбомы Мише Серегину и забыла о них, пока не услышала от мужа, что Маруся проходит диспансеризацию, перед тем как лечь в больницу. Ее мучили нарастающие головные боли.

Вскоре она попросила Сергея посмотреть ее дома, как нейрохирурга. Она панически боялась операции.—

В тот вечер в нашей кухне-«купе» сидели Аня и Миша Серегин. Ему исполнилось девятнадцать. Маленькая головка с покатым лбом казалась крошечной при двухметровом росте, руки и ноги выглядели длинными, как у орангутанга, но современные девочки считали Гусара красавцем. Аня лестило, что за ней ходит студент.

В десятом классе она не стала ни солидней, ни красивей. Косички разной длины торчали небрежно. Одну она подпалила во время химических опытов. Короткий нос был всегда поднят, ей приходилось задира́ть голову, разглядывая одноклассников-акселератов, большой рот выбрасывал слова с пулеметной скоростью, а глаза поблескивали, как у игрушечного медвежонка.

Все началось с иволги, которую Миша подарил ей три года назад. Со сломанным крылом. Оно зажило, птицу выпустили, а Серегин прижился в нашем доме, молчаливый и услужливый. Аня это устраивало.

Входная дверь хлопнула. Появился Сергей.

— У Маруси дела неважные. Похоже на опухоль.— Он прислушался к голосам на кухне и нахмурился. — Опять Мишка? Лучше бы с матерью посидел. Хандрит. Может быть, хоть ты заскочишь?..

— Прямо сейчас?

— Мишку ты не пересидишь.

Я быстро собралась, поражаясь долготерпению Аняты. Ну о чем можно говорить с человеком, который преданно смотрит, вздыхает, кивает и улыбается на ее монологи.

Я вошла в Марусин подъезд. Квартира Серегиных была на первом этаже, но к ним приходилось подниматься целый пролет пешком. Говорят, сердце от такой нагрузки должно радоваться. Мое двадцать ступеней воспринимало с ворчанием. Поэтому я слегка задохнулась, дотягиваясь до звонка. Тихо. Нажала сильнее. Молчание. Я вдавила кнопку, прижав ухо к двери, обитой ярко-красной искусственной японской кожей с бронзовыми гвоздиками. Не дверь, а стеганный диван. Маруся хвастала, что внутри дверь посажена на стальные пластины.

— Ты же знаешь, какие теперь двери?! Вшивенькие,

дунь, плюнь, влезь — и пусто в квартире, одна скрытая проводка останется...

Нет, тишина. Странно. Сергей велел ей лежать. Маруся болеть не любила, но уж если связывалась с докторами, выполняла все предписания истово. Задремала? Я снова и снова давила на звонок. Но, кроме глухого дребезжания, из квартиры ничего не доносилось.

Я вышла на улицу, позвонила из автомата, который стоял возле подъезда. Занято, занято, занято. Значит, дома. Но почему она не открывает? Не стало ли ей плохо? Я вернулась к квартире, нажала на кнопку звонка, не отрывая пальца минуты три. Звон, тонкий, вездливый, комариный — и молчание. Что-то глухо во мне загудело. Тревога, страх...

Я снова вышла на улицу, крикнула около окна:

— Маруся! Ма-ру-ся!

На меня оглядывались редкие прохожие. Пришлось звонить домой. Трубку взял Сергей. Я подпросила узнать у Мишки, не собиралась ли Маруся выйти?! Сергей возмущился. При ее головокружении ни о каких «выходах» речи быть не могло.

— Мы с Мишкой сейчас подойдем.

Я походила по улице. Небо посерело, прогнулось, набухло, только снега еще не хватало.

Через пять минут появились Сергей и Мишка. Один высоченный, с маленькой головой, вышагивал, как страус. Другой — ниже и шире, шел в раскачку. Миша достал ключ, открыл дверь, пропустил меня вперед. Передняя была маленькая. Поэтому мы входили гуськом. Я, Сергей, замыкал хозяин.

Маруся сидела к нам спиной, зажав телефонную трубку в руке. В красном бархатном кресле. В ярко-синем халате. Распустив по плечам выкрашенные в рыжий цвет волосы.

Сергей вдруг резко крикнул мне:

— Стой!

Солнце раскатилось на полу, на бирюзовом китайском ковре. Он задымился пылью, лучи поглаживали старинную мебель карельской березы, которую Маруся велела обить красным бархатом. Оно освещало югославские обои ядовито-изумрудного цвета, расписанные золотыми колонками. Перед Марусей стоял столик на колесиках и на нем две чашки, кофейник, ваза с одной розой и подсвечник с тремя свечами. И вдруг Миша обогнул меня, сделал шаг вперед и закричал высоким сры-



вающимся голосом, схватив себя за волосы. Я перепугалась. Показалось, что он сошел с ума. Сергей быстро обернулся, подскочил к нему, сжал его запястья и крикнул мне:

— Беги в автомат, звони в «Скорую», в милицию.

Он усадил Серегина на диван. Меня поразило, что Маруся не шевельнулась. Ведь ее сыну стало плохо...

— Ты тоже в шоке?!

Я попятилась.

— Русский язык понимаешь?! Маруся мертва!

Я тупо несколько секунд смотрела на него. В комнате чистота, порядок. Маруся сидит так мирно, спокойно...

— Уж не собираешься и ты грохнуться в обморок?!

Тон Сергея подействовал, и я выбежала на улицу.

Когда-то Маруся рассказывала мне о своей жизни во время войны. Она училась в железнодорожном техникуме. Было ей тринадцать. Отец погиб на фронте. Мать опять вышла замуж... Маруся перешла в общежитие. Помогать ей перестали: родились близнецы, а Маруся отчаянно хотела купить туфли. Стала она мыть полы у соседей, даже продавала пайки своего хлеба — все копила на обнову, старые, довоенные туфли, совсем развалились. А вскоре на толкучке у нее вытащили скопленные деньги вместе с хлебной карточкой. Она решила броситься под поезд. Все рассчитала. Чтоб не задерживать воинские эшелоны и санитарный поезд, лучше всего электричка в час ночи. Встала потихоньку и ушла из общежития. Ее поздний уход заметил старшекурсник, бывший фронтовик, без руки. Пошел следом, поймал на рельсах, наорал, дал денег. Маруся помнила его всю жизнь, лучше человека она не встречала.

В последнее время она решила собирать «рорутеты», как своеобразно называла редкости антикварната. И приохотилась читать книги по искусству. Хотя знаний накопила маловато, это не мешало ей теперь судить о старинных вещах категорично. Правда, она подстраховывалась, консультируясь у некоторых «искусствоведов», как называли себя кое-кто из постоянных покупателей антикварного магазина. По-моему, это были не истинные коллекционеры, а перекупщики, не брезгавшие и подделками. Но они хвастали своими связями с музеями, чем и поражали воображение Маруси Серegiной, мечтавшей купить что-нибудь «музейное».

Странная смерть! Сергей считал, что в любую минуту при этом заболевании могло произойти мозговое кровоизлияние, но мне не верилось. Ведь за полчаса до смерти он ее видел, она была спокойна, хоть и боялась операции...

У меня в ушах снова Марусин голос: «Такую вещь оторвала — закачаешься!»

Мы вернулись домой, когда Марусю, после приезда милиции и «Скорой», отправили в морг.

Мишу Сергей притащил к нам, считая, что ему нечего делать в опустевшей квартире. Аня усадила его в кухне и подливала крепчайший чай. Как истая дочь медика, она верила в целебность этого напитка, поглощая его стаканами, когда готовилась к экзаменам или контрольным.

— Мама купила недавно какую-то антикварную вещь? — спросила я Мишу.

Он непонимающе смотрел на меня красными распухшими глазами. Покатый лоб собрался в гармошку.

— Какую-то вышивку-картину... Бисерная вышивка, большая...

— Мама, ну с чем ты пристаешь к человеку! — возмутилась Аня. — Разве может он сейчас об этом думать...

Серегин нервно зевнул.

— Когда мы вошли в комнату, где была вышивка?

Он закрыл глаза, на лице его стало проступать напряжение. Как на уроке, когда он не мог вспомнить ни одного произведения по заданной теме.

Брови Аняты запрыгали, она поняла, что я задаю вопросы не зря...

— Вроде... нигде...

Значит, что-то пропало из Марусиной квартиры?!

— Где она висела у вас?

Миша свел брови.

— На ковре. Против кресла. Мамка велела ее прямо на него пришить. Все охала, любовалась...

Против кресла висел самый ценный Марусин экспонат — ковер «Исфагань». В тот период, когда она азартно собирала ковры, больше всего разговоров было именно о нем. Как достала, какого он века, в каких музеях есть подобные. Ковер — метр семьдесят на метр тридцать. В форме трапеции. Висел горизонтально. При-

чудливые симметрично-асимметричные узоры, тончайшее кружево рисунка по голубоватому фону. И если Маруся закрыла такой ковер, значит...

— А что изображалось на вышивке?

— А какая-то баба... мужик... по краям, а в середине дворец.

Я вернулась в спальню, растолкала Сергея.

— Ты видел у Маруси вышивку, когда заходил?

Он сел, сонный, несчастный, покачиваясь как ванька-встанька, глаза закрывались.

— Напротив ее кресла висела вышивка?

Он внимательно посмотрел на меня.

— Висела большая картина из бисера. Я все любовался, пока с Марусей разговаривал...

— Что изображалось там?

— Какой-то дворец, а в овалах — мужчина и женщина.

— Бисер какой?

— Неровный.

— Маруся что-нибудь о ней сказала?

— Хвастала. Митьку Моторина благодарила.

— А Митька при чем?

— Он ей достал или принес, не помню.

Я походила по комнате.

— И что ты мельтешишь? — голос мужа был жалобен.

— А чем, собственно, она хвастала?

Сергей зевнул и сказал буднично:

— Ну, что это личная вышивка Параши Жемчужовой.

Мне показалось, что я ослышалась. Этого не может быть.

Напрягла память. Даже зажмурилась, и передо мной тут же всплыла четкая сцена. Бирюзового цвета ковер, мебель с красной обивкой и Марусина фигура в ярко-синем халате перед столиком на колесах. На нем прозрачная ваза с белой розой. На ковре вышивки не было. Любое контрастное цветовое пятно я бы вспомнила, особенно если такая вещь висела перед Марусей...

Я прошла в «предбанник» — пятиметровую комнату при кухне. Там временно поселился Митя Моторин после своего приезда в Москву. Я о нем совершенно забыла. Даже не помню, был ли он дома, когда мы вернулись. Но сейчас он отсутствовал. И мне это очень не понравилось...



Митя пришел утром. После ухода Анюты в школу. Открыл бесшумно дверь ключом, и если бы не поющая половица, я бы не услышала его возвращения. От него пахло спиртным, и он не смотрел мне в лицо, когда я вышла в коридор. Ведь единственное условие, которое я поставила ему, разрешив у нас пожить по просьбе Олега Стрепетова, был полный и абсолютный запрет выпивок.

Митя учился десять лет назад в том же классе, что и Стрепетов. За несколько дней до экзаменов на аттестат зрелости его арестовали. В драке, защищая десятиклассницу Антонину Глинскую, он ударил железкой одного из пяти нападавших. Суд решил, что он превысил пределы необходимой обороны. После отбытия наказания самолюбивый Моторин не вернулся в Москву. Предпочел поехать по стране, пробуя на вкус, «методом собственной кожи», по его выражению, разные профессии. Он снова чуть не попал в уголовную историю, защищая сотрудника экспедиции, и только месяц назад вернулся в Москву. Мать его умерла, у отца новая семья, и он не желал его прописывать, а Митя наконец понял необходимость учебы. Стрепетов решил попробовать его устроить слесарем-водопроводчиком или дворником в ДЭЗ. И попросил меня его на время приютить.

Мы прошли с Митей на кухню, он сел, опустив голову.

— Что за вышивку ты отнес Марусе? — спросила я в упор.

Ему было под тридцать, но выглядел он мальчишкой. Нелегкая жизнь точно не коснулась его пышных золотистых кудрей, предмета зависти многих девочек в школе. Только взгляд казался тяжелым, да и выступающий подбородок принадлежал точно другому лицу, волевому, упрямому. Двойственность была свойственна и его характеру, то энергичному, напористому, то ломкому, равнодушному.

Митя не поднял глаз.

— Мне ничего нельзя пришить...

— Никто и не собирался этого делать.

— Нет, все сразу на меня подумают...

— У тебя мания преследования?

— И как вы решились меня к себе в квартиру пустить, Марина Владимировна? А вдруг обокраду, зарежу?

Днем забежал Стрепетов. Он принес мне «Дневник добрых и злых дел» Оли Шутиковой. Стрепетов как-то посоветовал Оле записывать раз в неделю, что ей больше встретилось — хорошего или плохого в людях. Она всё воспринимала всерьез, если говорил Стрепетов, и уже два месяца вела записи. На первой странице было написано:

В мире так много хороших людей,  
Что мы счастливее королей.

— Твои стихи?

— Стивенсона, только я перефразировал, заменив «вещи» — «людьми».

Во мне чуточку заговорило самолюбие учительницы. Шутикова училась у меня в восьмом классе, но держалась отчужденно, скованно, а Олег ее приручил. В сочинении на свободную тему «Самый хороший человек» она написала, что считает себя везучей: «Я встретила Олега Николаевича, таких — один на миллион, и теперь у меня не опускаются руки в самые трудные минуты...»

Он уже знал о смерти Маруси Серegiной, сказал, что вскрытие показало: аневризм аорты.

— Вас что-то смущает в смерти Маруси Серegiной? Я усмехнулась.

— Телепат! Тут не до смущения. Понимаешь, из ее квартиры пропала одна вещь... Сергей ее видел, а через полчаса — ее уже не было, как раз в последние минуты жизни Серegiной...

Глаза Стрепетова оживились.

— Я что-то именно такое и ждал...

— У Серegiной была огромная бисерная вышивка, она хвастала, что исполнила ее Параша Жемчугова, представляешь?!

— Вышивка прошла через антикварный?

— Не знаю, скорее нет. Маруся, когда мне звонила месяца полтора назад, намекала на удивительные вещи, но, взяв у меня альбомы по Останкину и Кускову, ничего не рассказала.

— Серегин не заявил о пропаже в милицию?

— Не хочет, говорит, что, может, найдется... Или мать подарила кому-нибудь. Он старательно избегает разговора на эту тему. И кажется, жалеет, что проговорился о вышивке.

— Вышивка ценная?

— Если подлинная, то очень.

— Кто знал о болезни Маруси?

— Свои знали.

— А не свои брали бы не вышивку, у нее же множество было золотых украшений, на каждой руке по три-четыре кольца носила... А почему она вдруг заинтересовалась бисером?

Я пожала плечами. Хотя «виновна» была именно я в ее новом увлечении.

Началось с того, что на бисерном кошельке, который Парамонов-младший принес в музей памяти с разрешения прабабушки, на одной стороне была изображена девочка с ягненком, а на другой — четыре пляшущие балеринки в тирольских костюмах. Сюжеты показались мне знакомыми.

Моя память точно склад забытых и ненужных вещей. Вместо материальных предметов — масса сведений, фактов, деталей, необязательных для каждодневной жизни. Но при какой-то ассоциации иногда вовремя всплывают. И я пошла в библиотеку, полистала несколько альбомов и нашла в «Русской вышивке» иллюстрацию с аналогичной картинкой, только на ней девочка была в красном платье, а на кошельке в голубом. Я стала читать дальше, и оказалось, что русский бисер неповторим, он близок к лубку. Потом я пошла на выставку, побывала в частной коллекции...

Я рассказывала об интересном, новом для меня виде искусства ученикам, которые посещали мой факультатив по истории материальной культуры XVIII—XIX веков. Видимо, Миша и передал матери, а она давно хотела изменить «собираТЕЛЬские» свои интересы...

— С кем Маруся общалась в последнее время? — спросил Олег.

— У Миши спроси. Он знал о ее встречах с мужчинами. Она не стеснялась сына.

Стрепетов поморгал выгоревшими ресницами и сказал с укоризной:

— Что-то у вас на душе туманное, недоговоренное...

Я чуть не покраснела, мне не хотелось упоминать, что в этой истории, кажется, замешан и Митя. Но тут проснулся Сергей и вышел на кухню. Он очень лаконично рассказал о болезни Маруси, зато о вышивке вспомнил больше подробностей, чем ночью.

— На переднем плане дворец, похожий на Останкино. А слева и справа — в медальонах — два портрета.



— Николай Шереметев? — перебила я его.

— Я с ним не был знаком. А справа — женщина в шлеме с голубыми и белыми перьями. И в доспехах...

— На обороте вышивки ничего не было написано?

Сергей улыбнулся азарту Олега, достал блокнот и прочел: «Сия вышивка исполнена моей супругой графиней Прасковьей Ивановной Шереметевой перед рождением сына нашего Дмитрия Николаевича Шереметева».

— Зачем вы это записали?

— Для своей супруги. Я уже два месяца слышу про ваши странные «Записки».

— А вообще, можно довести человека до смерти? Зная о болезни?..

— Можно. Любой подскок давления вреден, волнение, тяжелая физическая нагрузка...

— Мне не дает покоя телефонная трубка в руке Маруси...

— Но если человеку плохо, он пытается позвонить в «Скорую».

— Логично, конечно. Серегина никого не ожидала? — спросил Стрепетов.

— Кроме моей жены...

Стрепетов поднялся, одернул мундир. Когда он пошел к выходу, Сергей вдруг бросился за ним. И я услышала запыхавшийся голос мужа:

— Вспомнил, звонили ей по телефону...

— Разговор слышали?

— Только ее реплики. Она сказала: «Хорошо, осчастливь...» И еще какое-то слово, минутку, минутку... Лебедь белый! Понимаете — лебедь белый. Так и сказала.

Стрепетов ушел, слегка прихрамывая. Обычно вследствие старой футбольной травмы было незаметно, но когда он переставал следить за собой, задумывался, походка менялась, тяжелела.

Около часа каждый из нас занимался своими делами. Сергей читал медицинский журнал, я проверяла сочинения. И вдруг он меня оγοрошил:

— Кажется, Марусе звонил еще и Виталий... Я трубку поднимал, когда раздался первый звонок. Знакомый голос просил Марусю...

Последние годы я перестала заходить в антикварный магазин, хотя и жила рядом. Я поняла, что исто-

рически ценные вещи не должны радовать только одного человека, они принадлежат всем. А обычные старинные вещи меня раздражали своей бессмертностью.

Утро я провела в Исторической библиотеке. Много лет назад я случайно прочла книгу о Параше Жемчуговой, написанную до революции. Наследники позволили автору выборочно познакомиться с документами семейного архива. В той книге и упоминалось о вышивке, над которой она работала перед смертью. В этой прилежной работе умирающей женщины, которая знала, что обречена, была одна особенность, делавшая ее бесценной.

Библиографию я нашла скудную. Выписала все материалы по истории крепостного театра в России XVIII века. Ничего похожего. Сидела часа три и лишь под конец нашла упоминание о запомнившейся мне книге и ее выходные данные.

Я заказала эту работу, боясь, что ее не выдадут в общий читальный зал, что она окажется на руках или утрачена.

Дежурная долго искала мой заказ на стеллажах. Наконец она протянула мне невзрачную книжку с вытертым выгоревшим матерчатым переплетом с кожаными уголками. Она задрожала в моей руке, точно я ухватила горячую картофелину.

Лихорадочно листая страницы, я нашла упоминание о том, что Параша Жемчугова-Ковалева вшила в свою работу...

Войдя вечером в антикварный магазин, я осмотрелась. Торговый зал был заставлен старинной мебелью. Отдельно кровати, шеренга столов, качавшихся на разнообразных ногах. Секретеры и шкафы, буфеты в углу напоминали семейные склепы.

Виталий Павлович — директор магазина — сгорбился у окна. Он не сделал даже попытки мне улыбнуться. Ни злобы, ни обиды — полное равнодушие. А ведь мы учились когда-то в одной школе. Только он — на два класса старше. Он пополнил, облысел, обрюзг.

— В ваш магазин не приносили случайно какие-либо бисерные вышивки? Недавно? — спросила я.

— Ты разбогатела? — Меня снова поразил его женский высокий голос. По телефону у нас обычно принимали его за девушку.

В тусклых глазах моего школьного товарища начал разгораться красноватый огонек.

Он полуобнял меня и повлек в свой кабинет: я снова стала ему интересной.

— Так что это за вышивки?

— По слухам — одна из них работа Параши Жемчуговой.

Виталий притушил накал заинтересованности.

— Ты же знаешь, на старину сейчас цены упали, никто ничего не берет, у нас горит план...

— Как мне жалко тебя! Одолжить рублей двадцать? Я вчера зарплату получила.

Он слегка смутился.

— Ну, если настоящий паритет.

— Настоящий, поверь...

Виталий Павлович тяжело вздохнул, точно я претендовала на его директорское кресло.

— Дорогая игрушка!

— И еще я читала, что в этой работе были вшиты настоящие камни.

Губы его точно запеклись, обуглились.

— Камни?

— Бриллианты. Граф Николай Петрович Шереметев подарил Параше к свадьбе.

Лицо его перекосилось, точно я его ударила, но я постаралась сохранить невозмутимость и пошла к двери. Только на улице я вспомнила, что так и не узнала, разговаривал ли Виталий с Марусей в день ее смерти? Я вернулась в магазин, вошла без стука в кабинет и услышала конец фразы, которую он произнес по телефону.

— Да-да, о вышивке знает Марина...

Он увидел меня и вздрогнул, а я молча закрыла дверь его кабинета.

Дома меня ждал Миша Серегин. Анюта была рядом.

— Вы Лисицыну звонили?

Тон такой требовательный, точно это входило в мои обязанности.

— А ты с ним знаком?

— Мама...

Он замаялся, опустив длинные темные ресницы.

— Ей было бы приятно... Мы поминки устраиваем. Пусть придет...



Лисицын, мой бывший ученик, известный парикмахер, неужели она им пленилась?

Поймать Лисицына оказалось сложно: две бывшие жены и мать не знали, где он теперь живет, потому что свою однокомнатную квартиру он, кажется, обменял на большую, кооперативную, но без телефона... По рабочему же номеру в парикмахерской он был неуловим.

После ухода Миши Серегина Анюта повздыхала, нашла сухари и захрустела как мышь.

— Ланщиков вернулся... Говорят, освободили досрочно за примерное поведение...

— Откуда ты знаешь?

— От Миши. Ты будешь разговаривать с Ланщиковым, если он заявится?

Анюта унаследовала мой характер, в частности максимализм. Она решила тогда, что Ланщиков — подлец, и он для нее перестал существовать. А меня мучило сознание того, что такой талантливый человек пошел на преступление.

— Не знаешь, Серегин встречается с Лужиной? — спросила я Анюту, удивившись своему вопросу. Странная ассоциация при мыслях о Ланщикове...

Анюта высоко подняла брови.

— Его мама с ней дружила, даже когда она ушла из магазина.

— А Миша?

— Наверное, заходит. Хотя теперь Вика компаний не собирает, у нее двое детей...

Голос Анюты звучал равнодушно. Я обрадовалась. Значит, к Мише Серегину она не питала особых чувств. Иначе бы ревновала. Анюта была активной собственницей в отношениях с людьми, которых любила.

Информация Анюты меня ошеломила. Невероятно! Я не видела Лужину несколько лет и не могла даже на секунду представить, что она мать двоих детей.

Мои мысли прервал звонок в квартиру. Я подумала о Ланщикове. Открыла дверь — он, собственной персоной. Только какой-то другой, непривычный. Он похудел, поздоровел. Однако разноцветные глаза по-прежнему так быстро двигались, что трудно было поймать его прямой взгляд.

Простой костюм отечественного производства меня изумил. Ланщиков раньше даже на овощебазу его бы не надел. Но первая произнесенная им фраза показала,

что он сохранил верность своей манере беседовать, точно расстался с тобой полчаса назад.

— Даже господь бог простил Кудеяра-разбойника после покаяния...

Я промолчала.

— Неужели, если навешен ярлык «подлец» — то это на всю жизнь?

— Проходи.

Он отрицательно покачал головой, застыв в передней.

— Не думайте, что я осознал, перевоспитался. Чего нет — того нет. Это, — он оттянул свой пиджак, — элементарный камуфляж.

Голос Ланщикова поражал многозвучностью, бархатистостью баритона. Но теперь он приобрел явно драматическую окраску.

— В колонии я понял, что поставил не на ту лошадку. Я осмелился явиться, чтобы просить вашего любезного содействия моим научным занятиям. Мне надо трудоустроиться на непыльную работу, я поклялся за год написать диссертацию...

— Что от меня требуется конкретно?

Даже самой стало неловко от подобного канцелярского оборота.

— Вы увлекаетесь делом, но не его конечным результатом. Полная противоположность мне. Я ведь стремлюсь подчинить вещь себе, а не себя вещам. Хотел бы я устроиться лаборантом в какое-нибудь НИИ. Понимаете, финансы вскоре будут для меня не проблема, а вот свободное время...

В этот патетический момент в квартиру без звонка вошли Митя Моторин и Антонина Глинская. Все замерли на месте, как актеры в последней сцене «Ревизора».

Быстрее всего обрел хладнокровие Ланщиков. Он встал, склонил коротко остриженную голову, без усов и бородки, которые он носил до ареста. Антонина вспыхнула и сказала агрессивно, точно они вчера расстались:

— Какие новые пакости приготовил, маэстро?

— Надо прощать, что можно простить, дорогая, жизнь ведь коротка, а я вернулся не с курорта...

Антонина подошла к нему, откинула голову с тяжелым узлом темных волос. Посыпались шпильки. Митя молча начал их собирать. К этому он привык в школе. Глинская вечно теряла шпильки, они не удерживали ее

волосы, а стричься она не желала, чтобы не следовать моде...

Антонина сжала губы, лицо ее похорошело, как всегда в минуту ярости. Странная у нее была внешность. Неброские краски, мало косметики. Да еще бледность, усталость. Она работала врачом в детском интернате и регулярно не высыпалась. Но успехом у молодых людей пользовалась огромным. Хотя ничего для этого не делала, проявляя равнодушие и к вещам, и к поклонникам.

— Вас можно поздравить с законным браком? — Ланщиков скоморошествовал, но глаза его заметались. Неужели он не забыл Глинскую? Единственную девушку, которая его отвергла еще в школе, резко, беспощадно, открыто.

— Поздравляй! — Тон Мити был бесстрастен, лицо равнодушным. Он казался сейчас старше Ланщикова лет на пятнадцать.

Я восхитилась Митей, потому что знала, что он не простил Ланщикова, считая его виновником своей искалеченной жизни. К сожалению, тогда не удалось доказать причастность Ланщикова к нападению хулиганов на Глинскую и Моторина.

— От души рад. У вас так много общего — начитанность, воспитание, интересы, ты сможешь прекрасно помогать ему на улице с метлой. Физический труд оздоравливает, знаю на личном опыте.

Больше всего я боялась, чтобы Митя не сорвался. При его обычной вспыльчивости последствия могли стать необратимыми, ведь Ланщиков с убийственной меткостью бил по самым болевым точкам.

— Марина Владимировна, — обратился Митя ко мне, спокойно, точно Ланщикова вообще не было в помещении, — вы не звонили Стрепетову? Если нет — прошу это сделать. Антонина убедила меня ничего не скрывать...

Что-то дрогнуло в напряженном лице Ланщикова, и он торопливо засунул сжатые кулаки в карманы.

— Можете передать, что вышивку к Серегиной я отнес по просьбе Лужиной.

Синие глаза Мити светились безмятежностью.

Ланщиков вдруг неожиданно повернулся и вышел не прощаясь.

Он по-прежнему, кажется, жил в призрачном мире ложных теорий, путая правду и вымысел в силу своей редчайшей самоуверенности.



— Марина Владимировна! — окликнула меня Глинская. — Вы очень сердитесь?! Но, понимаете, этот осел боялся подвести беденькую Лужину...

«Осел» блаженно молчал. Антошка была рядом. А больше ему ничего не надо было для счастья.

— Вика снова беременна, ждет третье прибавление семейства, — сказал он неторопливо.

— Когда ты ее видел? — спросила я.

Моторин опустил голову.

— Как приехал. Я хотел разобраться в той истории, с Олегом Стрепетовым и нашими ребятами. Ну и зашел домой к ней.

Антонина скрестила руки на груди.

— Я тебе обо всем писала...

Голос Антонины зазвенел.

— Я до тебя дружил и с Ланщиковым, и с Барсовым...

Мне стало понятно его поведение. Моторин был из терпеливых, он не умел мгновенно обрывать старые привязанности. И хотя Глинская давно стала самым дорогим для него человеком, даже ей он не мог подчиниться бездумно.

— Ну и как Лужина поживает?

— Жалкая... Все время разыгрывает из себя красавицу.

Брови у меня непроизвольно взметнулись. Я редко видела женщину красивее Лужиной. Ослепительной, хотя и мрачноватой, внешности.

— Она все время старается убедить мужа, что ей нет проходу от поклонников. Представляете, покупает сама себе букеты и нанимает разных «тигровых втязей», чтобы они ей подносили, когда он с работы приезжает. Дикая деньги на ветер! А еще о старике вашем гнусном сообщила... Интересно... прямо детектив.

Знал бы бедный Виталий Павлович, что его считают стариком!

— И о Лисицыне. Присосался к ней, жаловалась, как клещ...

— Кто к кому?!

— Она говорила, что он втянул ее в какие-то аферы... Но Лужина вовремя обо всем сообщила милиции и осталась в стороне.

— Бедная невинная девочка! — Антошка кипела. Митина наивность ее злила, кажется, даже больше, чем цинизм Ланщикова.

— А разве Лужина счастлива? У нее скоро будет трое детей и никакой специальности. Ей приходится вещи тайком продавать.

— Чьи вещи?

— Наследство от бабушки. У него в Кашире домик остался. Вот и попросила отнести вышивку к Серегиной. Муж ведет с ней раздельное хозяйство, представляете?

— Как это? — с одинаковым изумлением вскричали мы обе.

— Один месяц он платит за квартиру, другой — она, раз он покупает продукты, потом — она, у них и блокнот заведен, чтоб никто своей очереди не перепутал, сам видел.

Я растерялась. Неужели знаменитый муж, профессор, тихая пристань — фикция?!

— Позвоните Стрепетову, — повторил Митя.

Я решила пойти к Лужиной. Неужели и в этой истории с Марусей Серегиной замешаны мои бывшие ученики? И снова мысли мои перескочили. Интересно, почему теперь, после колонии, для Ланщикова «финансы» не проблема?

Возле квартиры Лужиной я замерла. Дверь ошеломляла своим торжественным старомодным дубовым великолепием. В центре огромной двери висела старинная табличка — эмалевая, голубая, в бронзовой рамке, а на ней изображено тончайшей золотой вязью, с ятями: «Профессор Белоногов». А сбоку двери, тоже в бронзовой рамке, под кнопкой звонка, еще один текст без ятей: «Профессору — один звонок, Лужиной — два».

Лужина открыла мне дверь, и я растерялась, настолько она изменилась. Нет, красива она была по-прежнему, но красотой отцветающей женщины. Дело не в полноте, еще терпимой. И не в старательно ухоженной запудренной коже. Поразили меня глубокие морщины, измявшие ее лицо. А ведь ей только двадцать семь — этой полной даме с крупными бриллиантами в ушах и в весьма несвежем халате.

— Прошу! — Лицо ее не дрогнуло при виде меня. Даже стало обидно. Все-таки бывшая ученица. Почти три года не виделась. Мы остановились в передней. Метров пятнадцать. Целый холл. Карельская береза, XVIII век, отличная музейная реставрация.

— Я все собиралась тебя навестить, но никак не могла выбраться. Это твоя коллекция?

— Частично. Большая часть вещей — мужа, остались от предков, я только реставрировала...

В комнаты она меня не зазывала, и я выстрелила наугад:

— Так надеялась застать у тебя Ланщикова...

Веки ее чуть дрогнули.

— Почему у меня? Мы с ним не виделись после его возвращения.

Секунду она колебалась, но здравый смысл победил неприязнь.

— Прошу в гостиную.

Я встала у порога большой светлой квадратной комнаты и с трудом сдержала улыбку, обзывая себя «снобом»: музейный интерьер, почти копия гостиной богатого помещичьего дома конца XVII века. Все сверкало, ни пылинки, ни пятнышка.

— Сама убираешь?

Она кивнула с творческой гордостью.

— Тебе стоило бы брать с гостей по тридцать копеек, как в музее, выдавая тапочки...

Она не улыбнулась, только рукой шевельнула, предлагая мне сесть. Непробиваема. Но в этой броне должна же быть брешь! Лужина в школе была импульсивна.

— Что за вышивку ты послала к Серегиной?

Угадала. Лицо ее вспыхнуло красными пятнами.

— Я ничего ей не посылала.

— Но Моторин сказал...

— Я могла тоже сообщить, что он велел мне отравить Серегину...

— Ты хоть слышала об этой вышивке?

— Я ничего не знаю.

Она легко приняла восемь лет назад ухаживания директора антикварного магазина Виталия Павловича, когда начала у него работать. Он был старше на тридцать лет. Кажется, она пыталась потом женить на себе Лисицына...

— Что-то не слышно детей...

— Гуляют. С аспирантом мужа. У меня специальная коляска для близнецов...

Она откровенно демонстрировала желание избавиться от меня. Я равнодушно смотрела на ее мебель. И тут я увидела у камина две небольшие овальные картины в великолепных рамах, увитых гирляндами бронзовых



цветов, переплетенных бронзовыми лентами. Лица на портретах были мне знакомы. Он и Она. Оттянутые назад волосы, завитые буклями, заученно правильные улыбки, чуть приподнимающие уголки рта. Но ее глаза точно кричали от боли, пронзительно-трагические, униженные. Его — горделивые, уверенные в исполнении всех желаний — по праву рождения светили приветливо-равнодушно.

Я стала внимательнее рассматривать: копии? Нет, подпись, дата. Этих портретов ни в одном альбоме по искусству XVIII века я не видела. Наконец разобрала подпись — Аргунов. Конечно же, это Параша и граф. Я читала у Бессонова, что граф велел запечатлеть себя и ее, когда она стала официально «барской барыней».

— Портреты тоже от предков мужа?

Я не оборачивалась, но по небольшой паузе поняла, что Лужина снова солжет.

— Также. Его прадед был коллежский ассессор...

Господи, хоть бы историю поучила! Хорош коллежский ассессор с орденом Андрея Первозванного!

Портреты были погрудные, но такой живости, напряженной внутренней жизни я мало видела на картинах XVIII века. Казалось, что Николай Петрович сейчас повернется, чтобы послать Параше успокоительный взгляд, поддержать ее в те минуты, которые болезненно оскорбляли ее. Самолюбие, достоинство, гордость, не наигранные, не воспитанные, а природные — нелепые свойства характера для «крепостной девки...».

Тяжелые уверенные шаги грузного крупного мужчины. Я обернулась. В комнату вошел маленький, лысый человек с простоватым курносым лицом. Яркие, в багряных прожилках щеки, тонкие лиловые губы...

Он не обратил на меня никакого внимания. Не поздоровался.

— Вот тут деньги за свет, моя доля. За квартиру в этом месяце платишь ты, а я кладу на детей семьдесят пять рублей, плюс пять рублей за уборку.

Голос был чуть визгливый. Бедная Лужина! Везло ей на мужчин с женскими сопрано...

— Мне пришлось купить Ольге комбинезон...

— Меня это не касается.

И это профессор Лужиной?!

— И еще я оставил на кухне банку с растворимым кофе, мне такой хватает на четырнадцать дней, а тут кончилось за двенадцать.

Лысый человек горестно вздохнул и направился к двери. Я не выдержала, окликнула его:

— Простите, нас не представили, но я бы хотела...

Он обернулся, побагровел еще больше, надел огромные выпуклые очки.

— Кошмар! Близорукость минус двенадцать, я вас и не видел...

Он подбежал, вбивая свои туфли на высоких каблуках в пол, пожал мне руку. Кожа была сухая, теплая, кисть сильная, он даже показался мне симпатичным.

— Моя бывшая учительница, — сказала Лужина недовольным голосом. Ее попытка нас не знакомить не удалась.

— Крайне признателен, что навестили! Но что же мы стоим, прошу, кофе, чай? Я так рад новому человеку, иногда очень мучает одиночество, вы согласны, когда долго занимаешься...

Я поблагодарила, сказала, что опаздываю на уроки...

— Нет-нет, я вас не отпущу, это прелестно, что нас посетил интеллигентный человек. Такая неожиданность...

Он прикусил губу, цепко взял меня за локоть. Его макушка доставала до моего уха. И повел в кухню, поразившую меня своей траурностью. Преобладало два цвета — белый и черный. Диванчики, креслица были обтянуты черной кожей, кафель выложен в шахматном порядке белыми и черными плитками, кастрюли, навесные шкафы повторяли эти же сочетания цветов. Даже холодильник имел черные бока с белой дверцей. Только с потолка спускалась старинная трактирная лампа с розовым стеклом на толстых бронзовых цепях.

Странно, эффектно, артистично. Интересно, кто был у Лужиной дизайнером?

Профессор быстренько достал банку с растворимым кофе, алые кофейные чашки и после минутного глубокомысленного раздумья — сыр из холодильника.

— Сыр мой — ешьте спокойно...

— Я не боюсь, что меня отравят... — Шутка моя повисла в воздухе. Кажется, у профессора отсутствовало совершенно чувство юмора. Он диковато на меня покосился и налил в чашки кипяток, посыпав сверху растворимым кофе. Напиток получился цвета жидкого чая.

— Моя жена всегда была такой мороженой рыбой? — неожиданно спросил он, прихлебывая то, что называл кофе.

— В школе она мечтала сыграть Изольду.

— Неужели читала? Чудеса! За три года в ее руках ни одной книги не было...

— У вас прекрасные вещи, картины...

— Да, хоть в этих обещаниях мадам не соврала. Правда, когда заманивала в свой агитпункт, сообщила, что все — родительское...

— Значит, этот интерьер не от ваших предков?

Он тоненько засмеялся.

— От моих дедов только микитра осталась да бабкин ткацкий станок, я ж с украинской деревни коло Чернигова...

Только сейчас мелькнул украинский акцент в его академически правильной речи, точно пенка на цельном молоке.

— Все сам, своими руками достиг, я ж после войны в город пришел босиком, как Ломоносов.

— И картины не ваши?

— Неужели вы в школе не знали, что моя жена — патологическая врунья? Если бы за ложь давали премии, она давно была бы нобелевским лауреатом... Мой вам совет — держитесь подальше... Да-да, не усмехайтесь...

— Но зачем тогда вы женились? — не выдержала я.

Он хитренько погрозил мне пальцем, усмехаясь половинкой губ:

— Влюбился...

Потом вскочил и быстренько пробежал к двери, заглянул за нее.

— Смешно, а я боюсь мадам. Она в начале нашего семейного альянса пригрозила пристукнуть меня в состоянии аффекта.

Я невольно улыбнулась.

— Сначала мне даже польстило. Такие страсти! Она умеет рыдать, как Тарасова в «Без вины виноватых».

Может быть, он — сумасшедший? Глаза бегали, лысая голова была в красных пятнах, он почесывался, бедная Лужина!

Я поблагодарила и пошла к двери. И тут раздалась три звонка, один длинный, два коротких. Лужина пронеслась мимо, как ветер, открыла — и с роскошной коляской для двойни в передней возник Ланщиков.

Я сделала вид, что ожидала его увидеть, и попросила, чтобы он меня немного проводил.

Лужина укатила коляску, и мы вышли на площадку. Все-таки он сильно изменился. Исчезла легкость бесе-



ды, небрежная наглость, он суетился, ежился, точно постоянно готов был к удару.

— Почему ты врешь все время? — сказала я резко. — Неужели так легче жить?

Ланщиков усмехнулся. Кажется, мой вопрос напомнил ему школу, наши беседы.

— Зачем ты приходил ко мне?

— Дань сантиментам, как-никак любимая учительница...

— Вранье! Хотел что-то выведать по поводу Маруси Серегиной?

Настороженность мелькнула в его разноцветных глазах, он точно секунду прикидывал, в каких пределах можно отпустить мне дозу правды... Потом пожевал губами, как старик, и сказал таким тоном, что против воли я поверила в его искренность...

— Ничего не хочется. Ни горького, ни кислого, ни сладкого... Ваша работа, напророчили...

— Что именно?

— Вы сказали тогда мне, что Варька будет мне сниться. Я уж снотворные глотал — все равно каждую ночь она на меня смотрит... Как старуха графиня на Германа.

Он улыбнулся с вызовом.

— Думаете, сломался Ланщиков?! Будет жить тише воды, ниже травы?! А вы знаете, что значит для интеллектуала жизнь в колонии?

— Тебя посадили незаслуженно? Оговорили, оболгали?

— Какая разница, было — не было! Кто умеет думать, должен хорошо жить.

Но глаза его казались тусклыми, он точно по обязанности произносил эти слова. Он никогда не умел ни дружить, ни любить — только подчинять, унижать, оскорблять, касаясь нагло и бесцеремонно самого больного места в душах людей...

— Прощайте, Марина Владимировна! А вы ведь даже не представляете, сколько в Москве живет разных потомков из бывших: забытых, опустошенных, выродившихся.

И он ушел в квартиру Лужиной. Ланщиков ничего случайно не говорил, играя всегда по собственным правилам. К чему бы его последняя фраза?

Я снова посмотрела на роскошную дощечку на двери. Ай да Лужина! До смерти хочется ей стать столбо-

вой дворянкой. Спасибо, хоть не убеждала, что шереметевские портреты — ее наследные.

Я представила, что живу в музейной обстановке вместе с человеком, который меня ненавидит, и мне стало зябко под лучами весеннего солнца. Страшную каторгу сама себе устроила, а зачем?

Странно, что Ланщикова при ней. Раньше он такими помыкал, а тут ее детей выгуливал. Что ему надо от нее?

И тут его слова насчет потомков всплыли снова в моей памяти. Он это сказал назло Лужиной, сводя с ней какие-то непонятные счета.

Анюта бегала на все встречи краеведов, которые собирались вокруг Олега Стрепетова. Приходила мрачная. Ей не удавалось узнать ничего интересного о нашем районе. Она приставала ко мне, просила подбросить материалы. Я предложила почитать исторические книги, но в своем нетерпеливом желании удивить Олега она металась от темы к теме, ничего не нащупывая достойного...

Однажды она спросила:

— Хобби бывает только у тех людей, которые не нашли себя в жизни, какой им положено жить?

Станный поворот рассуждений.

— Что значит — положено?

— Ну, у кого жизнь уже отлилась по мерке, не переделывать, не начать сначала...

Круглые глаза дочери смотрели тревожно.

— Олег сказал вчера, что у каждого человека в жизни должно быть одно дело, одна страсть. Я спросила: «Значит, для тебя история — важнее работы в милиции?!» А он засмеялся: «Одно — продолжение другого», представляешь?!

Я представила и усмехнулась, а дочь зашипела, как раскаленный утюг, на который брызнули холодной водой. Она отчаянно ревновала Олега ко всем подопечным, особенно к Шутиковой. Она, конечно, понимала, что после смерти Вари в его жизни должна рано или поздно появиться женщина, что ему пора заводить семью, детей, но упрямо мечтала, чтобы Стрепетов дождался, когда она вырастет и «женится на нем».

Много месяцев назад, выйдя из больницы, Олег Стрепетов показал мне пожелтевший лист бумаги, заложенный в старинный сафьяновый бумажник с причудливой монограммой, и прочел вслух, легко разбирая полустер-

тые буквы: «Но, видно, не мне назначена жизнь, которую называют счастливой. Я не роптал, считал детством и слабостью жаловаться на судьбу, но иногда задумываюсь: чем заслужил, какая вина лежит на мне, почему меня давит такой гнет?! И отвечаю себе: ты родился не в свое время, не у тех родителей. Один — гигант, одноглазый циклоп, другая — женщина лукавая и жадная к жизни, что для нее был внебрачный ребенок? Позор, а не память о великой любви». Я думаю, что по ее воле этого ребенка передали бы в бездетную семью зависящих от нее людей, но Потемкин восстал, в нем были чрезвычайно сильны родственные чувства, поэтому мой предок и остался дворянином... — голос Олега звучал раздумчиво. — Странное письмо, правда? Я нашел его у мамы, выпало из книги. Там еще лежало и письмо Воронцовой с такими строчками: «Зачем благодарить меня за дружбу, память, разве дружба с разлукой прекращается?!» Хорошо сказано?

— И у таких детей была мать — графиня Браницкая! Малограмотная, жадная, она продавала крепостных в розницу из выгоды, дарила ризы священникам и железо для цепей каторжникам, — удивилась я.

— Мой предок от нее отрекся, отказался от состояния, которое она должна была выделить ему, наверное, по воле Потемкина, сам пробивался в жизни.

— Это Ланщиков заинтересовал тебя твоей родословной? — спросила я.

Стрепетов так покраснел, точно я обвинила его в плагиате:

— Может быть. Раньше я пропускал мимо ушей мамины рассказы, а пока лежал в больнице — задумался. Я в ответе и за них, за их ошибки, преступления, жадные радости, безвольное смирение, гонор.

— Тебя это гнетет? — снова спросила я.

Олег неожиданно улыбнулся.

— Нет, я стихийный оптимист, я не умею смотреть в прошлое и лить покаянные слезы. Но моя жизнь должна приносить пользу, понимаете, не только мне, моим близким, но и другим, посторонним, чтобы уравновесить поведение, поступки тех, кто был до меня...

И добавил по-мальчишески восторженно:

— А все-таки контуры жизни маминого прадеда были удивительно причудливы. Сын богатейшей помещицы, непризнанный наследник, потом адвокат в Варшаве, дальше — каторжанин на Нерчинских рудниках. Он со-



здал на Большом Нерчинском заводе кассу взаимопомощи вместе со своими польскими единомышленниками, библиотеку, они разбивали огороды, пробовали новые культуры в Сибири. Еще он обучал местных детей грамоте, языкам, музыке. Среди них и жену нашел.

Мне стало тревожно, когда я посмотрела на Анюту. Ее лицо ничего не умело скрывать, открытое до беззащитности, но Олег ни о чем не догадывался. А она каждое его слово воспринимала как руководство к действию. Однажды он сказал, что милосердие, забытое ныне слово, определяет суть человека, живущего не ради своего желудка или кошелька. Анята тут же нашла в нашем переулке несколько старых больных ветеранов войны и активно начала их опекать, заставляя даже Мишу Серегина носить им картошку и мыть окна. Сама же два часа в день проводила у них, записывала воспоминания, покупала лекарства и разыскивала их однополчан.

— Интересные судьбы есть в прошлом любой семьи, — продолжал Олег, — надо уметь их найти. И тогда человек не может жить безрадостно, отсюда корни глубинного патриотизма — любовь к старине, в которой были всегда удивительные люди.

Разговор прервался. У Стрепетова было не так много времени на философствование, но его слова я часто потом вспоминала, разговаривая с моими нынешними учениками и их родителями. У них было мало интереса к прошлому родных и близких, некоторые даже удивлялись, когда я заводила беседы на эту тему. Фотоальбомы у большинства обрывались на дедах, бабушках, людях, родившихся в тридцатые годы, а кем были их прадеды и прабабушки, мои ученики знали редко.

Может быть, поэтому я часто вспоминала Ланщикова и его тоску, зависть, что в его «генетике» не было исключительных личностей. Он заявил на выпускном вечере, подойдя ко мне в перерыве, когда школьный ансамбль, им возглавляемый, запросил отдыха.

— Мир разделен на две неравные части. На тех, кто навязывает свою волю и живет, не подчиняясь законам, ими созданным, и тех, кто им верит и подчиняется. Я из первых...

А теперь, вернувшись из колонии, держался странно. Дело было не во внешности. Ушла уверенность, самодовольство, он точно тонул, понимал это и пытался выплыть, но беспомощно, впустую взмахивая руками.

И я не понимала, о каких потомках известных фамилий он упомянул, провожая меня из квартиры Лужиной? Была ли тут связь с чтением «Записок правнучки», о которых много говорили в нашем районе?

## ЗАПИСКИ ПРАВНУЧКИ

Обычным человеком своего времени был граф Петр Борисович Шереметев. Отца он почти не знал, но память его чтит свято. Он не был иссушающе жаден, но своего не упускал, потому и женился на богатейшей невесте России — Варваре Черкасской. Она принесла ему и добросердечие, и дружбу двора.

Он все имел, о чем мечтают обычные люди, а потому ни к чему не стремился, только тешил свое тщеславие, страшась уронить прославленную фамилию в памяти людей.

Граф Шереметев отличался необыкновенной вежливостью, даже со своими крепостными. Он требовал неукоснительного выполнения своих повелений, не возражал, когда крестьяне величали его «государь наш...», но давал свободу уму любого холопа, поэтому имел в своем владении людей, одаренных разными искусствами. Он не признавал телесных наказаний, но и за равных себе людей их не считал, поэтому и запретил пользоваться колодезцем в селе Иванове в холерный год всем жителям, кроме его семьи и приближенных, выставив вокруг охрану. Он знал, что, сколь бы холопов ни перемерло, на его век и даже век сына останется с преизбытком.

Ему казалось поначалу, что явный интерес сына к простой актерке, да еще своей холопке — род лихоманки. Перетерпеть, и пройдет. Но червь начинал точить душу, как вспоминал он о сестрице Наталье, ставшей женой окаянного Долгорукого. В пятнадцать лет его полюбила, в те поры князь был ближайшим другом и наставником во всех проказах императора Петра II. Вот семья фельдмаршала и не противилась девичьей блажи. А как рухнул в одночасье род Долгоруких, попав под тяжелую руку императрицы Анны Иоанновны, отказалась своевольная сестра бросить жениха, обвенчалась и пошла за ним в ссылку. А когда мужа обвинили в новом заговоре и казнили смертью лютой, отправилась с двумя детьми через всю Россию к брату. Одного ребен-

ка схоронила в пути, с другим возникла во дворце, как нищенка, но глаза оставались непреклонными, смелыми, сухими. Оставила племянника дяде и уехала в Киев. Над Днепром стояла, бросила в воду обручальное кольцо и ушла в монастырь мужа непутевого оплакивать, а брату написала, что не себя — его жалеет, так и не узнал он истинного счастья...

У сына, наследника Николая Петровича, были ее глаза. Вспыхивали они искрами бешенства, одержимости, самозабвенно подчиняясь любым прихотям, страстям, чувствам, а значит, и он был бессилен перед властью сердца...

Правда, с той ночи, как по приказу старого графа к наследнику доставили Парашу, стал он от нее отдаляться. Не музицировал, не приглашал в библиотеку, остыл и к своей виолончели, оперы забросил. Пристрастился к мужским утехам: охоте, картам, холостяцким пирушкам. Старый Шереметев не любил лишних расходов, даже заграничные товары предпочитал покупать контрабандные, подешевле, но тут радовался исцелению сына от глухой блажи и платил долги молодого графа щедро, без длинных нравоучений.

Однажды Кусково посетила императрица вместе со светлейшим князем Таврическим. Четырнадцатилетняя Таня Шлыкова, получившая фамилию Гранатова, даже удостоилась дорогого платка от князя за сольный танец в опере «Самнитские браки» и горсти червонцев. Но более всех понравилась Параша Жемчугова. Так ее назвал молодой граф на сцене. Последние месяцы она стала выше, лицо утончилось, покрасивело, точно прочеканило его тайное страдание. Голос звучал лихорадочно, бархатная ровная глубина его рвалась в некоторых ариях, но откровенная страстность певицы, не исполнявшей, а жившей жизнью своей героини, захватила в полон самых равнодушных к музыке гостей.

После спектакля светлейший князь Потемкин расцеловал ее в обе щеки, нагнувшись к ней, маленькой с высоты гигантского роста, а императрица пожаловала с руки перстень и сказала старому графу Шереметеву, что его крепостная с такой непринужденностью на сцене носит драгоценности, точно привыкла к ним в жизни. Она говорила по-французски, но Параша опустила ниже свое пылающее лицо, она знала этот язык. Князь Потемкин



мгновенно понял и, полуобняв ее за талию тяжелой рукой, спросил хозяев по-русски:

— Дивный соловушка, может, подарите?!

Параша побледнела, молодой граф резко выпрямился, но старый царедворец Петр Борисович Шереметев улыбнулся с достоинством:

— Мой сын набрался французского вольтеризма, он не позволяет наших людей ни дарить, ни продавать...

— Так дайте сей птахе волю, сама ко мне пойдет, не пожалеет, я талант ценить умею...

Взгляды всех присутствующих в ложе соединились на ней, точно в фокусе. Она запылала, ощущая иронический синий взор императрицы, жаркое неукротимое око Потемкина, холодную ярость старого графа. Только наследник замер, смотря в землю, чувствуя, что еще секунда — и произойдет непоправимое...

Свобода?! О ней Параша и не мечтала, знала, что графы Шереметевы на волю никого не пускают, не нуждаясь в деньгах, тешась тщеславием...

— Решай, красна девица! Пойдешь ко мне, попрошу государыню порадеть, авось ей не откажет граф Шереметев...

Петр Борисович Шереметев налился краской, нос втянул нервно воздух, дряблые щеки задрожали, а наследник лихорадочно сжал кулаки, вонзая ногти в кожу.

Параша поклонилась русским поклоном светлейшему и сказала своим неповторимым голосом, прикрыв пышными ресницами горький взгляд:

— Домашняя голубка живет в своей голубятне. Да и не смогу я петь без подруг милых, без музыкантов наших ласковых, без благодетеля моего графа Петра Борисовича, который с детства меня пестовал...

— Хитра, ловка девка! — Бас Потемкина зарокотал громом. — Однако пустил бы я тебя, соловушка, в далекие страны, чтобы и там прознали, какие птицы в наших краях водятся...

На лице его неугомонно подпрыгивали брови, особенно одна — над искусственным оком, и выражение князя от этого менялось от почти добродушного до надменного и зловещего, от чего обмирали придворные. А единственный глаз его в такие мгновения не просто глядел, а впивался, точно околдовывал каждого.

Параша выдержала его неукротимый взор, сведя подтверже брови, хотя кровь отлила от ее лица.

Ах, если бы она была вольна в своем чувстве! Боси-

ком бы побежала в Италию солнечную, на коленях бы поползла, чтоб послушать, поучиться у истинных соловьев. Но навеки прикована она к золотой клетке, к молодому графу, который ее из рук выкормил, а потом опостылела ему забава, не смотрит, не зовет больше...

Она снова в пояс поклонилась светлейшему, улыбаясь молча онемевшими губами. Он потрепал ее по локоткам, подхватил на руки, точно куклу, и сочно поцеловал в холодные уста.

— Ох и растопил бы я эту Снегурку! — Потом вздохнул, понимая, посмотрел на молодого графа и велел хранить девицу, чтоб не украли завистники.

Прием продолжался долго, но Парашу отпустили. Она забилась в светличку, села в углу на пол, закрыла глаза, но все равно видела, как полыхнуло радостью лицо графа Николая Петровича, когда она отказалась от вольной, не решилась покинуть Кусково, хотя навсегда и погубила свою жизнь.

А век был ей предсказан короткий, хоть и удивительный. Не раз гадали на картах девицы, на чае, воскилили — все сулили ей богатство и счастье, но малое, точно вскрик.

Нет, не могла она не видеть молодого графа, не слышать хоть изредка его требовательного насмешливого голоса, не подслушивать тайно пения его виолончели. Хотя все реже, недоступнее для нее были эти мгновения, почти не видя его во дворце. Но она жила мечтой об этих секундных встречах, чувствовала, что они убивают ее, выпивают все силы, оставляя на долгие часы обгоревшей головешкой.

Старый граф Шереметев умер. Наследник решил обновить Кусково. Он повелел уничтожить деревянные статуи на крыше дворца, золоченых коней. Раздражали его и живописные плафоны, штофные обои. Даже «плиточная» и «китайская» комнаты выглядели бедно в глазах «Крезы младшего».

Ему хотелось перемен. Что-то жгло его. Он метался безудержно и азартно, точно конь, сбросивший узду. Устраивал ежедневные балы, охоты, карточные столы. Он забросил театр, виолончель, не читал писем Ивара из Парижа. Дворню лихорадило, актеры и актрисы ощущали себя на вулкане...

Параша с тоской это наблюдала. Она привязалась

к старому дворцу. Здесь проходили ее счастливые и горькие годы. Она с трудом отвыкала от вещей привычных, дорогих воспоминаниями. На самом почетном месте стояла у нее золоченая шкатулка. В ней Николай Петрович преподнес Параше три фунта парижского драже «девердье», когда она сыграла роль Белинды в одиннадцать лет. При этом воспоминании сердце ее сладко обрывалось. Она видела его мягкие подвитые напудренные волосы, чувствовала горячие сухие губы на своей руке и часто рыдала, но втихомолку, негромко, не навзрыд, как деревенские...

Однажды к ней явилась потолстевшая, поскучевшая Анна Изумрудова. Теперь она равнодушно относилась к молодым соперницам, махнула рукой на все горести, наряжалась только в свои покупные платья, дорогие украшения, подаренные графом, и больше всего полюбила попивать кофеек и сплетничать. Только Параша вызывала ее глухое тайное раздражение. Чутьем ревнивым и завистливым понимала Анна, что не все доиграл он с Парашей, что еще многого можно ждать от этой равнодушной к злату девицы, непонятного и неожиданного.

Усевшись в светелке Параша, она со значением в голосе рассказала, что у графа нынче была большая игра. Он горячился, проигрывал и, когда князь Дашков, писанный красавчик, предложил бросить карты на Парашу, согласился.

У Параша подкосились ноги, ни кровинки в лице не осталось, а Изумрудова потрянула своими рыжими волосами и рассмеялась.

— То-то, а ведь думку держала — сама себе королева.

Она ждала вопросов, возмущения, криков, но Параша наглухо слепила запекшиеся губы. Никакого удовольствия для злорадницы.

Тогда она добавила, что граф все-таки отыгрался, а потом бросил перчатку князю.

— Дуэль?

— К вечеру, как солнце падет...

Параша выпрямилась, подошла к окну и поклялась себе: если жив останется, добром к нему придет, душу не жалея, не дорожась вечным спасением...

Все оставшееся время она молилась, била в светелке поклоны пресвятой богородице, знавшей женские страдания, шептала горячечно: «Только бы живой...»

Не ела, глотка воды не сделала, иссохла вся, пока не увидела, как прискакал на лошади к ночи граф Ни-



колай Петрович, соскочил с юношеской ловкостью, бросил поводья, похлопав по крупу любимого пятнистого жеребца.

Параша начала напряженно раздумывать, как осуществить клятву. И решила, написала тонким острым почерком: «Прошу принять меня, Ваше сиятельство. П». Одна литера, он догадается. Но через кого передать? Через надзирательниц, «гусаров»? То-то смеху будет среди дворни и актрис!

Она металась в своей клетке, ее обдавало попеременно то жаром, то холодом. И тут в окне она увидела лакея Прошку. Кликнула, бросила три червонца, умолила немедленно передать записку. И замерла, страшась, что граф не захочет ее видеть, что не надобна она больше, что упустила свое счастье...

Шли минуты, из пасти бронзового льва-часов бил стеклянный фонтан. Эту диковину ей пожаловал старый граф, когда она отказалась уйти к светлейшему. Видно, не нужна она более никому, глупая птица, забыта, заброшена.

Совсем к ночи появился Прошка.

— Иди, ждут... — Он поглядывал на нее с опаской. Долго он не решался передать записку, а потом даже испугался. Граф вскочил, засмеялся, бросил ему свою табакерку французскую, фарфоровую с портретом ихней королевы, больших капиталов стоила.

— Их сиятельство в музыкальной зале...

Она не видела графа близко несколько месяцев. Он постарел и обрюзг, точно прожил это время впятеро быстрее, чем она. Параша ступала бесшумно, он не шевелился. Сидел возле камина при одной свече, сгорбившись, отпустило его то лихорадочное волнение, которое жгло после смерти отца, а сердцем не за что было зацепиться...

Увидев Парашу, странно дернул щекой. Его глаза казались усталыми, не оживились, не засверкали молодым блеском, только и сказал:

— Спой, Параша!

Давнишним добрым голосом. Но к виолончели не потянулся, сидел в парадном костюме, с кольцами на пальцах. И Параша запела сочиненную ею в последние месяцы песню:

Вечор поздно из лесочка  
Я коров домой гнала.

Лишь спустилась к ручеечку  
Близ зеленого лужка —  
Вижу, барин едет с поля...  
Лишь со мною поравнялся,  
Бросил взор свой на меня.  
— Чья такая ты, красотка?  
Из которого села?  
— Вашей милости крестьянка, —  
Отвечала ему я. —  
Коль слышали о Параше,  
Так Параша — это я!

Он и не знал, что она стихи сочиняет, музыку, его Жемчужина. Чуть не потерял ее в суете московских светских будней, за мишурой пустоты. Он бы не услышал больше ее бархатный голос, целься князь Дашков вернее... Истинно сладостное пение.

Никогда она так не пела, это Параша понимала. Она точно хотела развеять различие, установленное между барином и крепостной, точно обнимала его, сдавалась на милость. Клялась отказаться от гордости, от мечтаний, надежд на лучшую судьбу.

Шереметев смотрел на нее. Потом закрыл глаза. Лицо его разглаживалось, молодело, с каждой секундой он точно сбрасывал с плеч груз шестнадцати лет, на которые был старше, что прожил безудержно, с единственным желанием — не скучать... Что-то подсказывало ему, что сия гостья, неотвязная, как зубная боль, пресыщением именуемая, никогда больше не посетит его апартаменты, если с ним рядом будет эта девушка.

Потом встал и двинулся к двери, сказав небрежно, точно собаке.

— Пошли...

И она поплыла за ним, вручив себя и свою судьбу человеку, который вдохнул в нее душу, а теперь имел право лишить и вечного спасения на том свете, и спокойствия на этом...

С этой минуты граф Шереметев никогда не расставался с Прасковьей Ивановной Ковалевой-Жемчуговой, до самой ее смерти.

По Москве поползли слухи, свиваясь шипящими змейками, сплетаясь в жалящий клубок противоречивых сведений. В гостиных, салонах, на раутах и балах шелестело злорадное злоязычие. Шереметев-то граф с актеркой... Видел бы отец-батюшка... Со своей крепостной

девкой... в открытую... Была бы хоть француженкой... Анахоретом стал... вслух ей читает... Идиллия на французский манер... Руссо в Кускове...

Граф поселился с Парашей не во дворце, а в Новом доме из тринадцати комнат. Три принадлежали ей. Оклеенные дорогими обоями, увешанные картинами. Она отказалась от белой с золотом мебели, от шелковых занавесей и драгоценных шандалов \*. Согласилась лишь на картины по своему выбору.

В правом углу — богородица в драгоценном жемчужном окладе. Его подарок. Жемчуга Жемчужине. Писал икону Гурий Никитин, и принадлежала она, по преданию, старице Леониде, несчастной жене царевича Ивана, в миру — Елене Шереметевой. Застав невестку «неприбранной, в исподнем», царь Иван Васильевич замахнулся в гнев посяхом. Сын защитил жену и пал от руки отца. Скинула беременная Елена младенца и ушла в монастырь, оборвался навсегда царский род Рюриковичей.

Страшно стало, как рассказал ей граф, точно ветром ее подхватило, оледенела, но смолчала Параша, боялась даже вздохом испортить его и свое счастье.

И еще два портрета висели. Ее, в роли Элианы, что повелела написать царица. И копия с «Кающейся Магдалины» Тициана, воля Николая Петровича Шереметева. Она мечтала поместить и его портрет, но графу не нравилась работа Аргунова. Он выглядел на картине горделивым, холодно-сановным, совсем не таким, как теперь, когда появлялся в ее маленьких комнатах.

Блаженствуя и отдыхая душой с женщиной, которая понимала его с полуслова, он требовал, чтобы она ежесекундно была рядом, не таяла, как мираж пустыни.

Он любил ей читать «Мемуары маркиза де Мирмона» или «Философа-отшельника» д'Аржана. В этой книге герой, устав от света, уединяется в лесах, построив маленький домик, где он музицировал, писал картины и читал в прекрасной библиотеке, — только искусство может дать пищу уму и успокоение сердцу.

Графа удивляла ее начитанность. За последние годы она прочла большинство книг, которые он любил, в каждой осмысляя что-то неожиданное. Сначала она стеснялась делиться своими мыслями, краснела, опу-

---

\* Подсвечники.



тив глаза, как не решалась смеяться, шутить при нем. Но детская веселость с каждым днем пробивалась заметнее, точно зеленая трава из-под снега.

Однажды она рассказала свой сон. Чудилось ей, что она бабочка, которая пытается взлететь. Хочется испытать радость освобождения от бремени земного. Но одно крыло у нее примерзло, не оторваться ей...

Испугался он до озноба и с тех пор вставал иногда ночью и заходил к ней, чтобы услышать дыхание, увидеть спокойное бледное лицо и трагически беспомощные тонкие руки.

Покидая Парашу, днем граф пытался вспомнить ее лицо, но перед ним вспыхивала только ее улыбка, блестящие зубы и смех, мелодичный, хрустальный, веселящий.

В эти дни они много занимались. Он получил из Парижа новые книги, ноты и требовал, чтобы она училась не только петь, но и безукоризненно владеть голосом в речитативах. Он становился поодаль от нее в музыкальной зале и тихо читал ей александринские стихи либо приказывал, чтоб она произносила их сама, понизив голос, но так, чтобы каждый звук был слышен ему отчетливо и ясно. Он декламировал текст, как французские актеры, на одном дыхании, сохраняя одинаковую силу звука во всей фразе, не позволяя смены интонации, раз от разу удлиняя свой монолог. Развитие дыхания, умение набрать нужный запас воздуха достигались постепенно, но у Парашаи это было врожденным даром...

Однако через несколько месяцев он ощутил, что беззаботность, веселость оставили Парашу. Она почти не выходила из дома, не обращалась к слугам, отмалчивалась, мертвее лицом, на все расспросы. Только от Тани Шлыковой узнал, что Парашу дразнят, пользуясь ее беззащитностью, «кузнецовой дочкой», говорят стыдные слова. Она страдала за него, ей казалось — он, граф, стал мишенью для насмешек, связав себя с такой...

Гнев графа Шереметева был страшен. Он решил разослать всех крепостных Кускова по дальним деревням, «очистить воздух».

«Гусарский командир» поутру привел к Параше челобитчиков. На коленях они просили «барскую барыню» о заступничестве, жалкие и злобные, потому что смотрели на нее с возмущением: ни пышности, благо-

лепия, ни обхождения, такая же девка, как у них полны избы, а поди куда взобралась. Они пытались совать ей мятые ассигнации, с мира собранные. Она отшатнулась, заплакала, махнула рукой, горькая жалость сдвинула горло тугой петлей...

Впервые она обратилась к графу с просьбой. Голос ее вздрагивал, просить у него было унижением, но не для себя же она молила о прощении. Не быстро он отменил свое повеление, однако решил увезти ее из Кукова, построить необыкновенный театр для своей Жемчужины, равный версальскому. Но лицо ее не стало счастливым. Она все чаще думала о том, что она — его вещь, его собственность, и даже любовь не заставила его понять ее положение. Когда они читали вместе Руссо, она мысленно восклицала: «Ты умиляешься над сей идиллией, а я у тебя на цепочке, как ручная обезьяна!»

Он пытался ее одаривать, щедро и безудержно, но «злато никогда не оставалось у нее в сокровенности, все роздано ею, все обращено в помощь человечества», писал он много лет спустя. Она помогала матери, сестре, Тане Шлыковой, дарила свои наряды подругам, даже Анне Изумрудовой, точно откупалась этим от сглаза, боясь, что счастье ее может растаять.

Вскоре Николай Петрович Шереметев открыто представил Прасковью Ивановну театральной своей труппе, сказав, что все их дела будет обсуждать с ней, да и уединение ее нарушилось. Он стал вывозить ее в Москву на богослужение, в городской театр, а потом попросил великосветских актеров-любителей поставить в его театре оперу Паизелло «Нина, или Безумная от любви».

Много было толкований этого действия. Возмущений, сплетен. Князь Долгорукий, племянник графа, писал:

«Шереметев пожелал видеть, как моя жена играет не для того, чтобы дивиться со всеми чрезвычайному таланту ее в этой роли, но дабы показать хороший образец театрального искусства первой своей актрисе и любовнице Параше».

Дошло до императрицы. Она усмехалась, отмалчивалась. Ей ли, столь откровенной в страстях, осуждать безумного графа! Она не любила его как одного из друзей наследника, но Парашу помнила, ценила. Не ради голоса. Она плохо разбиралась в музыке, но вот отказ в прихоти светлейшего в ее присутствии... Она-то знала, как велик князь Таврический талантами, неукро-

тимостью духа, как мало дам при дворе отказали бы ему. А тут — крепостная девка! Это вызывало невольное уважение, что-то вроде сочувствия и пристального женского интереса...

На спектакле великосветских актеров граф наслаждался, поглядывая на свою Парашу. Она сидела рядом в ложе. В той, где принималась императрица. Отказалась надеть бриллианты Шереметева. Приняла от него лишь его портрет-медальон в золотой рамке. Лицо ее было переменчиво и взволновано, взгляд оживлен. Но только первые минуты. Потом равнодушие покрыло ее точно инеем. Актеры играли изящно, но они все время любовались своими жестами. Голоса звучали чисто, но разве могла сравниться княгиня Долгорукая с актрисой из городского тиятра Медокса несравненной Марией Синявской, от голоса которой согревалась кровь.

Завитки темных волос падали на широкий лоб Параша, губы вздрагивали, она невольно повторяла слова, морщась от неправильной интонации, звука, она забыла о его присутствии. Но он не гневался. Неизъяснимое чувство самопожертвования заставило увлажниться его глаза. Впервые он любил сам, а не принимал снисходительно, пресыщенно в дар чужую страсть, впервые ощутил чудо растворения в другой душе.

Только о вольной для нее он не позволял себе помыслить. Ему хотелось сохранить эту душу для себя, не смел он отпустить соловья без цепочки в бескрайнее небо. Не верил, что вернется добровольно на грешную землю...

Пока рассматривались планы строительства Останкина, граф реконструировал тиятр в Кускове, актеры получили удобные «кабинеты». Прасковья Ивановна — две комнаты, оклеенные французскими обоями, расписанными вазонами цветов. Она приходила гримироваться задолго до спектаклей. Садилась на кожаную красную подушку возле трюмо, озаренного серебряными канделябрами, и начинала всматриваться в свое лицо, пока в зеркале не всплывал лик принцессы Заморы или царицы Голкондской.

По ее просьбе в труппу пригласили отменных учителей из городского тиятра: Лапина и Шушерина, Плавильщикова и Сандунова, и даже несравненную Марию Синявскую. После смерти светлейшего перешел



к графу и композитор Сартти, с большим вниманием изучавший сочинения Степана Дегтярева.

Продолжала Параша и уроки на арфе с Кордоной. Граф часами просиживал рядом, слушая звенящие лады этого любимого ею инструмента и ее вторящий без слов голос. Они особенно ценили Сонату Кордоны, которая точно рассказывала о ее жизни, светлой, переливчатой, тревожной без видимых тревог. Кордона заплакал, услышав ее исполнение, и это обрадовало ее больше аплодисментов великосветских гостей.

Никто не знал его происхождения, цыган ли он, испанец, но его не задевали, горяч был до бешенства. Седина делала его восточное лицо скульптурно значимым, а черные густые брови почти скрывали глаза. Сначала он думал, что его ученица — очередной каприз графа. Он долго не желал слушать ее пения, не верил, что в этой «варварской стране» мог звучать голос, берущий души в сладостный плен. Но однажды не смог отказаться, присел в уголке зала во время оперы «Самнитские браки» и с тех пор не пропускал ни один спектакль с ее участием.

По-другому играла Параша воспитанницу Нанину в комедии Вольтера «Нанина». Если раньше ее героиня была лишь простодушной грациозной девушкой, страдавшей под властью капризной благодетельницы, то теперь она изображала живого страдающего человека, у которого отнято судьбой все, кроме самоуважения и достоинства. И слова: «Жестокое мученье иметь высокий дух и низкое рожденье» — она произносила почти шепотом, но с такой болью и горечью, что слушатели замирали.

Вершиной ее мастерства стала партия Нины в опере «Нина, или Безумная от любви» Паизелло. Граф давно мечтал об этой постановке, но меломаны говорили, что партия Нины — зело богата трудностями, и только после игры великосветских любителей, когда он увидел, каким спокойным, скупающим стало ее лицо, он решился на эту работу.

Страшной казалось сцена, когда Нина, узнав о гибели возлюбленного, сходила с ума. Неуверенно ступая, она бродила по сцене, держала и роняла цветы, глаза были расширены, невидящие; брови страдальчески сдвинуты.

Голос ее был слышен в каждом уголке зала, точно это не шепот, а само дыхание.

— Он придет к вечеру... Он так обещал мне... Где может быть ему лучше, как с тою, которую он любит и которой так нежно любим...

Отделка каждого звука, интонации, страдание, разлитое не только в лице, но и во всей дрожащей беспомощной фигурке, блестящие слезы производили завораживающее впечатление.

Граф Николай Петрович был уверен, что все мужчины в зале ему воистину завидуют. При всех сплетнях никто не говорил, что он приневолил свою Жемчужину, как обычный барин, все видели, что перед этой женщиной он преклонился...

Страх охватывал его, когда Параша, сидя на сцене, перебирала цветы и медленно дрожащим, рвущимся голосом исполняла арию безумной Нины: «Когда любезный возвратится в сии унылые места, тогда здесь прежняя красота и прежняя с ним весна явится...»

Плакали все, не замечая слез, не чувствуя влаги на щеках. Даже сестра графа Варвара Разумовская, ненавидевшая «подлую девку», околдовавшую Шереметева. Вместе с Ниной на сцене она оплакивала свою пустую холодную жизнь, неудачных детей, легкомысленного мужа. Так и не встретила она любовь страшнее смерти, и никогда не узнает, каким огнем она выжигает и закаляет души. Графиня давно не испытывала истинно родственных чувств к брату, но его проклятая певица любому могла пронзить сердце, хотя и не обладала особой красотой. Что-то в ней было сильнее красоты, и в эти минуты графиня Разумовская понимала и прощала Николая Петровича Шереметева...

Иногда он думал, что мало у кого такая насыщенная жизнь в хорошем и дурном, как у него. Если исчислять время событиями, его наполнявшими, он прожил уже пятьсот лет. Не скучал ни одного дня, умел сжигать время, пропуская с азартом сквозь пальцы. А теперь, глядя на молодых людей, иногда ощущал смутные сожаления по своему безудержному прошлому. Ведь отношения с Парашей привели к тому, что он отказался от прежних забав. Она наполнила его дни бескрайними душевными радостями.

Он стал приневоливать ее принимать гостей во дворцах, потому что повсюду возил Парашу за собой. Каждый большой прием вызывал у нее такой страх, что

руки леденели, но этого никто не замечал. Она выплывала светской дамой, с приятственной улыбкой на устах, спокойная, уверенная, но без украшений. От этого простота ее строгого наряда, врожденное достоинство выделялись. Постепенно она решилась на реплики, остроумные, безупречного вкуса, разговаривала и по-французски, и по-итальянски. Высказывала свое мнение обо всех новинках в искусстве, особенно в театральном. Корреспондент графа в Париже Ивар снабжал Шереметева всем, о чем спорил беспокойный город. Она читала «Мемуры» господина Беранже во время его тяжбы с лживым графом Лабришем и всем сердцем была на стороне великого остроумца, просто-го происхождения, но талантом возвысившегося до королей.

Однажды, когда в ее присутствии стали говорить о глупости, тупости крепостных, она процитировала по-французски его бессмертные слова:

Кто мыслит, тот велик, он сохранил свободу.

Раб мыслить не привык, он пляшет вам в угоду.

Митрополит Платон вскочил и поцеловал ей руку.

Параша играла на клавесине, арфе для гостей, пела неаполитанские вилонеллы, народные песенки, похожие на частушки, иногда танцевала с бубном, как истинная испанка, изгибаясь прельстительно и чарующе.

Графу завидовали. А где зависть, там и ненависть. Но все стрелы колкостей поражали одну цель — ее душу.

Однажды, когда она исправляла либретто Вроблевского, как всегда корявое, он сказал оскорбленно:

— Ничего, скоро кончится твоя масленица... Вот уедет граф в Петербург, женит его царица, тогда и я буду хорош для тебя...

Он сам не понимал, зачем обижает эту женщину. Может, потому, что с ней вышло у графа не так, как с другими. Что выросла, не замечая его чувства, безгуга и помощью, и любовью, и враждой.

— Но мне не нужны барские заедки...

Он никогда не думал, что тихая кроткая Параша может полыхнуть бешенством. Она вскочила, ударила его по лицу.



— Не забывайся, раб! Холоп ничтожный!

Вроблевский побелел, но склонился в поклоне.

«И правда — раб!» — подумал с брезгливостью. Да разве можно такое терпеть от наглой девки. Исхлестал бы ее, хоть плюнул в сторону... ах боится...

Вроблевский пятился, его острый нос казался костяным от белизны, по щеке пробежала судорога...

И у порога не выдержал, прошипел:

— И тебя сломают, будешь, как собака, лизать барскую руку...

Она усмехнулась. Знала, что даже от любимого человека не стерпит унижения, навсегда оборвется ее связь с графом...

А вскорости зашла к ней Анна Изумрудова в новой турецкой шали. Поворачивалась, покачивалась павой.

— Наверное, граф скоро призовет к себе, соскучился поди, он завсегда с подарков начинается...

— Мне он ничего не дарит...

— Слыхали, на что надеешься, но не видать тебе волюшки, как и нам, грешным, на том свете только дождеешься...

— Уходи... — чуть слышно сказала Параша, взяв книгу, но Анна не унималась. Шалое настроение распирало ее.

— Ох и глупы мы, бабы, — резковатый голос Изумрудовой с годами приобрел металлический оттенок, и этот звук резал слух Парашы, — не зря болтают в деревне, что ты и наряд покойной графини примеряешь, только как была ворона, такую и останешься, даже в павлиньих перьях...

И снова бешенство опалило огнем Парашу, заставило в беспамятстве бить по розовому сытому лицу Анны. Правда, ужас отрезвления мгновенно отбросил ее, стыд залил огненной волной, горячей, мучительной. Она схватила руку Изумрудовой и стала целовать, приговаривая, как в бреду:

— Прости! Прости!

Она дошла до полного падения! Бить такую же рабу подневольную, пользуясь покровительством графа, мстить несчастной за завистливые шепотки, сплетни, за всю боль, которую она испытывала?!

— Да не бойся, я не люблю жалиться графу... — Ленивый голос Анны выражал не возмущение, а удивление.

— Я не боюсь...

Параша подошла к шкатулке, достала перстень — подарок императрицы, надела его на палец Изумрудовой. Та полюбовалась мерцанием бриллиантов.

Знатный перстень, ценою в деревню, а то и в две...

Потом чмокнула Парашу в щеку и быстренько ушла, чтоб та не передумала, не отняла дареное.

А Параша долго терзалась своей несдержанностью, кусая губы, чтобы не закричать, не забиться в воплях, которые стояли у нее в горле, исконные вопли деревенских плакальщиц, после которых так легко становилось на душе.

Почти в это же время, зайдя в кабинет-табакерку графа за своим забытым вечером вышиванием, случайно прочла строки из середины его письма, упавшего с секретера, которое она подняла, до сих пор не решаясь звать из-за такой малости слуг.

«Наконец-то у меня есть все, чего я хотел, друг мой. А счастлив ли я? Мне кажется, что нет. В моей душе больше нет той пленительной бодрости, кои возбуждают желания и приносят столько утех, нарастая по мере того, как должна пасть последняя преграда дерзновенному. Да, теперь я понял — радость не в наслаждении, а в погоне за ним...»

Параша долго сидела в низком треугольном креслице, не шевелясь. Впервые и она почувствовала, что и ее начинает охватывать усталость от постоянного накала чувственности. Что-то испарялось из души. Благодарение, преклонение, почтительность. Она невольно вспоминала его капризы, частые жалобы на плохой сон и дурное пищеварение, скучание его в минуты чужого веселья. Только пением могла возродить былые утехы плоти, только ее голос вызывал в графе всплеск недавнего огня.

И будущее все неотвратимее маячило перед ней, ибо она знала, как поступает граф с надоевшими живыми игрушками. Отшвыривал, отбрасывал, не грубо, но совершенно бесчувственно, возвращая на «круги своя». А чем же ей жить, игрушке, в которую вдохнули душу, научили думать, рассуждать, чувствовать? Музыкой? Но она всегда была с ней, как дыхание, а радовала только тогда, когда могла радовать других. Любовь? Она уплывала, таяла. Могла ли укрепиться душой раба?

Граф Шереметев увез Парашу в Петербург и даже построил ей в Фонтанном доме павильон для репетиций. Он решил подготовить с ней русскую оперу «Взятие Измаила», написанную племянником светлейшего, чтобы привлечь внимание двора.

А Параша с особым чувством вспоминала одноглазого великана, предложившего отворить ее клетку. Он уже ушел из жизни, и что-то подсказывало, что и она вскорости последует за ним в край невозвратный. Может быть, поэтому с особым чувством играла она пленную турчанку Зельмиру, которая полюбила русского офицера и ради него готова отказаться от родины, религии, отца.

Роскошный восточный костюм, настоящий, приобретенный графом у отставного сержанта, потерявшего под Измаилом ногу, но забравшего несколько женских костюмов, во дворце сераскера. Необыкновенной густоты, медовой сладости голос певицы, чарующие сладострастные движения в танце, глаза подстреленной газели — Параша завороживала даже ироническую петербургскую публику.

Любовник, друг и просвятитель мой.  
Жизнь новую приму, соединясь с тобой.

И вновь вскипало чувство графа, исчезало вечное недовольство всем вокруг, он восторженно склонялся к ней, это удивительно изменчивое лицо заменило ему всех женщин мира...

На камерные концерты Параша собиралось в Фонтанном доме еще больше гостей, чем в Москве. Она начала исполнять и русские песни, и цыганские. Однажды, набросив алую шаль, прошлась, постукивая каблуками и поводя плечами. Звенели монеты из золотых и серебряных монет на ее груди, блестели мрачные глаза, казалось, с каждым звуком она рвала собственную душу, лишь бы вырваться на волю...

Граф Шереметев посерел, заметив взгляды графа Платона Зубова, приглашенного им из тщеславия: фаворит был на вершине успеха.

Не терзай ты себя,  
Не люблю я тебя.  
Полно время губить —  
Я не буду любить.

Эту песню Параша исполняла двумя голосами.



Один — высокий, лукавый, нежный. Мужчины привставали с кресел, тянулись к легкомысленной певунье. И сразу же звучал другой голос. Низкий, горько язвительный. Графу казалось — о нем она поет, и ужас холодил спину.

Не терзаю себя,  
Не люблю я тебя,  
Дни на что мне губить —  
Я не буду любить.

И снова лукаво-капризный голос, легкие шажки, четкие ритмичные движения рук и плеч, откровенно зовущая фигурка. Новые строки песни — опять фатоватый, чуть самодовольный голос, не понимающий, как надо беречь вольных птишек. Но певунья сдалась на милость победителю:

Я покорна судьбе  
И вручаюсь тебе.  
Ты напрасно дни тмил,  
Как душа стал мне мил...

И вдруг точно огнем ее опалило. Параша преобразилась, на секунду дала себе волю, взметнулась в безудержной «Цыганочке», приоткрыв губы и потряхивая множеством разноцветных юбок. С плеч ее слетел алый с золотом полушалок, и граф Зубов кинулся его поднимать...

А потом на холостом ужине граф Николай Петрович Шереметев, выслушав новые проекты матримональных планов императрицы в свой адрес, ответил фавориту: «Мое сердце не чувствует пленения, и впредь оно не уповательно».

Тон его был так резок, что граф Зубов улыбнулся прекрасными пустыми глазами, обнажив в сей превежливой усмешке крупные точеные зубы. Он понял, что несчастный в плену у своей Цирцей. Он и сам был ее волшебством очарован сверх меры и боялся, как бы царица не проведала про такой пассаж. И тут же прикидывал, как бы намекнуть Шереметеву, коли потом эта певунья ему надоест, он, сам Зубов, с превеликой благодарностью откупил бы такого соловья...

Покой и счастье не совместны с суетной жизнью. После внезапной смерти государыни на графа Шереметева обрушился шквал милостей нового императора,

давнишнего друга детства. Он назначил его обер-гофмаршалом своего двора у постели еще не уснувшей, только отходившей матери.

Граф Шереметев помолодел, ходил, откинув голову еще горделивее. Он восхищался указами своего благодетеля. Хотя смеху подобны были его веления, чтоб все в России в один час сажались обедать, ужинать, ложились спать, чтоб все мужчины стригли длинные волосы, не носили круглых французских шляп и отложных воротников, бантов на туфлях. За слова «гражданин», «отечество», «курносый» сажали на съезжую.

Параша наблюдала за Николаем Петровичем и думала, что всем мужчинам надобны действия в жизни. Раньше он тосковал в своем бездельи, а тут с наслаждением решал при дворе ничтожные вопросы: какой сервиз на какой прием подать, сколько денег должно уходить на припасы, какую мебель заказать для императора. Он увлекался как мальчишка, дни проводя с императором, а ночью сообщая ей, как изволил пошутить повелитель России.

Она молчала. Она не выносила государя, его вдавленный нос, дергающееся лицо, круглые, безумные в минуты гнева глаза, хотя с ней он беседовал после концертов с вежливым равнодушием. Она слышала, что «в России все упражнялись в тихом роптании», оно все усиливалось, становилось громче, тревожнее, в воздухе копилось грозное напряжение.

Граф Шереметев недолго был в фаворе. Сначала император вдруг приревновал его к Нелидовой, потом поверил в наветы Кутайсова, перестал к себе допускать. Граф вынужден был обратиться с письмом к князю Куракину, отказываясь от своей должности: «Исполняя волю монарха, я желаю быть действительным, а не страдательным орудием управления...»

Потом наступило примирение. Когда граф болел, подвергся операции, император приезжал как частное лицо узнавать о его здоровье. В минуты просветления Павел Петрович понимал преданность друга детства, но волны лихорадочного гнева все чаще одурманивали повелителя, и он возмущался и его независимостью, и открытой связью с «подлой девкой».

Но все-таки пообещал графу Шереметеву посетить лично построенное наконец волшебное Останкино вместе с польским королем Понятовским во время коронации своей в Москве.

Впервые Параша видела барина в такой ажитации. Он повелел за сутки украсить дорогу, по которой мог проехать император. Безжалостно были согнаны тысячи крепостных. Посажены сотни деревьев без корней. Они должны были пасть по его жесту, чтобы открыть государю вид на Москву от Останкина.

Больше всего граф боялся, чтобы император не усмотрел во дворце следы вкуса своей матушки. Немилость неминуемо поразила бы его громом. Поэтому зрительный зал переделывался почти полностью. Император Павел больше всего любил зеленые и голубые тона, и тياتр отражал все оттенки этих красок, особливо заметных при многочисленных огоньках огромной деревянной позолоченной люстры. А насупротив генеральной ложи граф приказал повесить специальный светильник, доставленный срочно с Фонтанного дома, — легкую причудливую, как цветок, люстру на 12 свечей.

Все актеры и актрисы крепостной труппы были возбуждены. Пронесся шепоток, что, если императору угодят, он прикажет всем дать вольную. Им передалось лихорадочное чувство барина, исполнители оперы «Самнитские браки» дрожали от возбуждения.

Кроме Параша. Странное чувство охватило ее. Она впервые поняла, что для ее голоса в музыке нет больше невозможного. Он парил над ней, как вольная птица, наполняя грудь восторгом, резонировал колоколом. Вокальное эхо сопровождало арии Элианы, вызывая вспышки аплодисментов меломанов, смеявших забыться до такой степени, что они хлопали раньше императора, унесенные ее вдохновением из этого разукрашенного зала. Параша пела звуком такой беспредельной широты и насыщенности, точно у нее появился второй голос. Последняя ария Элианы заставила всех привстать. Из сердца в сердце лился уже не голос, а словно душа певичцы, гордая, смелая, истинно великая.

Лица, свечи расплывались перед ней, дыхание несколько раз пресекалось, и только усилием воли она не позволяла голосу дрогнуть. «В последний раз, последний раз», — стучало у нее в висках, и она с трудом сдерживала слезы.

Император милостиво оценил ее пение, «чистое и громкое», застывшее покорное лицо, но слегка пожалел графа, связавшегося с не такой уж и красивой девкой.

Он послал Параше дорогой перстень и обласкал графа. На другой день Николай Петрович Шереметев



отдал приказ поднять жалованье отличившимся артистам. Параше к 50 рублям помесячной оплаты было прибавлено 250, Анне Изумрудовой — 70, к старым 30, Тане Шлыковой — 28 рублей к 25.

Прасковья Ивановна Жемчугова, так она давно уже прозывалась в театральных ведомостях, оскорбилась, точно ее высекли. Она опустила глаза, когда Вроблевский зачитал барскую милость, багровея скулами: вещь, рабыня — барская утеха... Граф был слишком занят в эти дни, чтобы лично поблагодарить своих игрушек. На втором представлении «Самнитских браков» в присутствии короля Станислава Понятовского она пела ровно, холодно, без малейшего вдохновения, предаваясь горьким иссушающим душу мыслям. Но 260 гостей этого не заметили, а венценосный гость записал в своем дневнике, как всегда от третьего лица: «По окончании спектакля король со своим обществом вернулся в комнаты, где не успел пробыть и получаса, как их попросили сойти по той же самой покрытой красным сукном лестнице, которая их ввела в тиятр. Вместо последнего глазам зрителя представилась теперь огромная бальная зала, образовавшаяся из амфитеатра и тиятра. «Особенно его потрясло, что костюм Элианы был украшен «бриллиантами графини Шереметевой, урожденной Черкасской, более нежели на 100 000 рублей».

Граф Николай Петрович гневно осерчал, единственный заметивший, почувствовавший безусердие певицы. У нее вдруг кончились слезы. Она с трудом довела оперу до конца, ничего не сознавая, точно в лихоманке.

Промолчал он, не сказал худого слова, но неудовольствие его тонкой трещиной пролегло между ними. И еще больше озлился он, услышав, как она плачет вечерами в своих покоях. Ей передали, что ее мать может ежесекундно преставиться. Она умоляла о разрешении отлучиться из дворца, попрощаться... Она впервые увидела брезгливую гримасу на столь дорогом ей лице, холодный барский взгляд. Тихий чеканный голос произнес:

— Повеления наши не дозволено никому отменять...

Он смотрел ей на брови, полузакрыв глаза, точно не слышал голоса той, что дарила ему не единожды радость, не узнавал его, оскорбленной в своей гордыне владельца игрушки, посмевшей вообразить себя живой и самостоятельной...

Второе чтение тетради, найденной Шутиковой, вызвало больший интерес.

Парамонов-младший и Шутикова сидели рядом. Она на секунду повернула в его сторону лицо, малоподвижное, как и раньше, но чуточку смягченное. Оле, наверное, льстило, что ее находка вызвала столько волнений, разговоров. Шутикова впервые почувствовала себя сопричастной к чему-то истинно драматическому, но не выдуманному, не книжному. По просьбе Стрепетова она рассказала о поиске своего бывшего соседа. Была даже на подмосковной даче, но он и оттуда уехал. Теперь она ждет, когда сосед известит райсобес, на какой адрес ему переводить пенсию.

Когда я выходила, Стрепетов вызвался проводить меня до дома. Я спросила:

— Тебя заинтересовала вышивка?

— Понимаете, в одном районе почти одновременно всплыли два любопытных предмета: вышивка Параши Жемчуговой и «Записки правнучки».

Я пригласила его домой. Мы сели за стол в кухне, к нам вошел Митя Моторин.

— Устроился на работу? — спросил Стрепетов.

— Не только на работу, — в голосе Мити прозвучало плохо скрытое торжество. — В ДЭЗе дают комнату, через неделю освобождается. Правда, полуподвал, но для начала — Версаль. Хотя я, наверное, уеду.

— Куда это ты собрался? — поинтересовался Стрепетов.

— Лет пять назад... — тон Мити был нарочито небрежен, — работал я в комплексной экспедиции Академии наук. Они против сине-зеленой водоросли воюют на Ладоге...

— Кем же ты был?

— Числился лаборантом, а работал «прислугой за все». У них нет рабочих. Котлован рыли все, готовили по очереди. И я случайно оказался у них, как вышел из колонии.

Он вздохнул, умоляюще посмотрел в мою сторону. Ему хотелось курить, но я безжалостно выгоняла гостей с сигаретами на лестницу, а прерывать разговор было жаль. Я покачала головой. Сергей бросил курить после инфаркта, и я боялась пробудить в нем ненужные эмоции. Митя облизнул губы.

— Ну я и предложил свои услуги. Починил я им лодочный мотор, на веслах по Ладоге ходить почти нель-

зя, вырыл котлован для кухонных отбросов, переложил печь... Ну и решил я — это дело по мне. Двадцать лет люди работают. Ладога мелеет и зеленеет...

— Ясно, она ждет Моторина...

Митя не обиделся.

— С водорослями воевать не легче, чем с уголовниками. А в самом конце сезона я сорвался. Поехал на «Дерюгине», было у нас такое экспедиционное судно, в Приозерск за ящиками для гербариев и вмазлся в драку. Защищать стал одного сотрудника, ему очки сбили. Ну я и рассвирепел... Короче, чуть не получил год, хорошо, что следователь разобрался. В общем, смотался я в Ленинград, — продолжал Митя, — нашел ребят, потолковал... Обещали взять на лето...

— А прогуливать тебе три месяца позволят, дворник?

— Меня Антошка заменит, обещала...

Я вздрогнула.

— Они на мне жениться хотят...

Глаза Митьки смеялись, хотя он оставался совершенно серьезным.

Я покосилась на Стрепетова. Он сохранял безмятежность.

— Я готовиться буду, на заочный биофак в пединститут осенью поступлю, мне только цель нужна, а потом я двинусь...

И тут появился Ланшиков с гитарой. Он поскукнел при виде Стрепетова, но непринужденно сел к столу, хотя я его не приглашала.

— Радость от моего прихода лишила всех дара речи?

Когда-то в школе Ланшиков ходил размашисто, небрежно, враскачку. Потом стал двигаться точно английский лорд. Шаги его были тогда легкие, пружинистые. А теперь новая метаморфоза. Руки держал за спиной, ступая осторожно. И все время на четко вырезанных выпуклых тонких губах блуждала дрожащая улыбка.

— Значит, Глинская уедет с тобой из Москвы? — решила я демонстративно не прерывать разговора, обращаясь к Мите.

— Мне не хочется навсегда уезжать. Выписываться, прописываться... Почему нельзя работать где-нибудь далеко лет десять, а потом в Москву?

— Север сохраняет прописку и жилплощадь... — вставил Стрепетов. — А на Ладоге льгот нет.



Ланщиков смутно улыбался, глядя сквозь меня на медную утварь нашей кухни. Он полуприкрыл глаза и напевно заговорил:

— Десять лет назад мы кончили школу и что успели? Глинская — врач в детском интернате. Моторин — без пяти минут бродяга или, пардон, — дворник. Я — архивариус... Похож на гоголевскую невесту: вот если бы при моей зарплате, да научные возможности, да поездки по всему миру, да любимая женщина в трудную минуту, нежная и верная...

— И это все, что нужно для счастья? — небрежно усмехнулся Стрепетов. — Так ведь это, наверное, можно было бы иметь за одну вышивку Параши Жемчужной.

Пауза затянулась.

— Я чист, как капля росы, — ответил Ланщиков, — а если насчет вышивки интересно поговорить, всех приглашаю в кафушку, через три дня. Отметим одно событие.

— Тебе вручили повестку?! Два раза вызывали к следователю прокуратуры. — Стрепетов говорил резко, обрубая слова.

— А я болен, на бюллетене. Гипертония. Ву компрене?

Стрепетов тяжело посмотрел на него и сказал медленно, с напряжением:

— Не глупи. В твоих интересах развязаться с прошлым. Ты недооцениваешь, с кем играешь...

Ланщиков остался невозмутимым, бренча на гитаре:

— По тундре, по широкой дороге...

Голос его стал глубже, легкая хрипота сделала его баритон человечнее, теплее. Потом он запел «Землянку»...

Вспомнились мне рассказы матери о военных годах, эвакуации. Все жили «Последними известиями», работали, учились и так равнодушно воспринимали вещи, карьеру, удобства...

Совершенно неожиданно Ланщиков прервал пение на полуслове, сделал дурацкий скоморошеский поклон, коснувшись пола рукой, и ушел не попрощавшись.

В моем восьмом классе случилось ЧП. Я дала сочинение домой по пьесе Грибоедова «Горе от ума»: «Он дойдет до степеней известных». Собрала все работы и

оставила в учительской на полке в шкафу. Потом заболела и две недели сидела дома. Когда же пришла на уроки, меня вызвала директор Зоя Ивановна и спросила:

— Ты видела сочинение Шутиковой?

— Нет. Я не успела проверить работы этого класса.

— Тогда послушай!

И она стала читать, внятно и выразительно, делая паузы на всех знаках препинания:

«Я прочитала комедию Грибоедова и поняла, что Молчалин мне нравится больше Чацкого. Все считают Молчалина подхалимом и подлецом, а Чацкого героем, не побоявшимся пойти против общества. Но Молчалин «тот, кто в бедности рожден». Он служит секретарем у Фамусова и ютится в чуланчике. Всякий может его туда отослать, сказав: «Вот чуланчик твой, поди, господь с тобой». Отец ему завещал: «угождать всем людям без изъятия», даже «собачке дворника, чтоб ласкова была».

Конечно, вырос он подхалимом, но таким его сделало фамусовское общество, где даже богатые «сгибаются в перегиб» для карьеры.

О Чацком говорят — герой! Но он мечет бисер перед свиньями. Разве можно перевоспитать такое общество? Вот Молчалин и подличает, притворяется влюбленным в Софью, которая сама ему на шею вешается.

Он не верит в ее чувство: «Любила Чацкого когда-то, меня разлюбит, как его». Но он с ней поступает честно. Другой бы воспользовался случаем, читая с ней ночами вместе, но Молчалин — «враг дерзости», «ни слова вольного». Поэтому мне даже стало его жалко, когда она Молчалина выгоняет, узнав, что ему нравится Лиза.

Конечно, я не во всем оправдываю Молчалина, но разве можно было иначе выбиться бедному человеку? В то время? Но вот почему у нас и сегодня так много развелось Молчалиных? Гениален Грибоедов, что создал такой вечный образ, но грустно, что он бессмертен...»

Зоя Ивановна передала мне тетрадь Шутиковой. Сочинение все было исчеркано красным карандашом. На полях стояли выразительные комментарии: «Двусмысленно», «безобразие», «цинизм»! В конце сочинения шло категорическое резюме: «За уродливое восприятие художественного произведения — 2».

Я подняла глаза на Зою Ивановну.

— Кто читал?

— Пришла поработать на два месяца Алевтина Гри-

горьевна. Обнаружила твои непроверенные работы, прочла и подняла панику, даже в районо доложила...

Помолчали. Мы эту учительницу хорошо знали. Она преподавала в школе тридцать лет. Работала и заочно училась. Не пропустила ни одного собрания, педсовета, методобъединения. Посещала Институт усовершенствования учителей.

— Оля Шутикова из неблагополучной семьи. Девочка прямолинейна, но искренно думает и говорит. Всегда высказывает собственное мнение, хоть и с трудом выбирает слова...

Я точно увидела сутуловатую Шутикову, одетую в вязаные кофточки своей работы, потому что из формы она давно выросла. Она поглядывала на собеседника украдкой, но глаза поражали недетской серьезностью.

— Ее сочинение — мой брак, значит, я что-то неявно сказала в классе. А Шутикова устную речь воспринимает лучше книжной...

— Короче, — усмехнулась Зоя Ивановна, потряхивая седыми, стриженными по-мужски волосами, — районо я беру на себя, а тебе — Алевтина, за брак в работе.

Мы улыбнулись, ее лицо похорошело, стало женственней, и я в тысячный раз подумала, что работать с таким директором школы при моем характере лучше, чем выиграть «Волгу» по лотерейному билету.

Три часа у меня ушли на тягостную беседу с Алевтиной Григорьевной, которая назвала сочинение Шутиковой аморальным, циничным, безыдейным. Я смотрела на ее большой рот, совершенно здоровые зубы и думала, что такие люди забальзамированы в своей убежденности.

— Зачем делать больно несчастливой девочке? — спросила я, исчерпав все аргументы.

Бесцветные глаза посмотрели на меня удивленно.

— Плодите поклонников Молчалиных?

— Лучше поклонников, чем самих Молчалиных...

— Вот-вот, она правильно написала, что их множество...

— Если правильно, то почему вы поставили ей двойку?

Алевтина Григорьевна подергала себя за золотую цепочку на шее и сказала тихо, холодно:

— Не тратьте слова, не переубедите. Я за свои принципы на костер пойду. А вот среди ваших учеников най-



дете ли хоть одного, о ком это можно было бы сказать?

Я вспомнила Стрепетова, Глинскую, Шутикову...

— Найдутся. Но способные думать раньше о других, а не только о себе и своих принципах. Другим рядом с ними жить теплее, светлее...

Я достала сочинение Шутиковой, открыла последнюю страницу и написала у нее на глазах, под ее заключением: «Сочинение дискуссионно. Требуется классного диспута. За искренность и честность — 5». И расписалась.

Алевтина Григорьевна вздохнула, усмехнулась и тяжело вышла из учительской, сопровождаемая дребезжанием стекла в канцелярском шкафу.

В автобусе было тесно, меня прижали к чьей-то твердокаменной спине так, что мой нос почти уткнулся в светлую дубленку, а сумка надавила этому человеку под коленки, отчего он ерзал и переступал с места на место.

Все-таки хорошо, что у нас, у горожан, почти отсутствует обоняние, иначе в автобусе можно было бы задохнуться. Я попробовала пошевелиться, спина перед моим носом передернулась. Кто-то сделал замечание:

— Отзынь, папаша!

Голос показался мне знакомым.

— Молодой человек, вы невоспитанны.

— Уймите волнения страсти!

Беззлобно, равнодушно, напевно.

Справа освободилось место, началась передвижка, и снова ввинтился занудливый возглас:

— Безобразие! Оттолкнул меня, ни стыда ни совести, паразит...

Спины в дубленке передо мной уже не было. На освободившееся место, видимо, сел именно он, а скандалил с ним старик в потертой ушанке и ратиновом пальто. Перебранка продолжалась, накалялась, а окружающие отворачивались, скучающе и привычно.

— Папаша, не травмируйте свою нервную систему...

— Я тебе дам «папаша», да я таких...

— Напился, как не стыдно, в таком возрасте...

— Кто, я напился?! Да как он смеет, товарищи! —

Голос старика завибрировал в поисках сочувствия, дряблое лицо побагровело, он тяжело задышал. Но временные жильцы автобуса делали вид, что уснули. — И за таких подонков мы жизнь отдавали...

— Помолчите, папаша, а то инфаркт тряхнет...

— Господи, и тут перебранка!

— Ох, эти пенсионеры! И чего их носит в часы «пик»...

— Пьяный, разве не видно!

Старику не сочувствовали.

— Может быть, вы все-таки уступите место старому человеку? — не выдержала я, хоть и закаялась вмешиваться в подобных ситуациях, грубость тут же обрушивалась на меня, миротворцев не терпели с древности.

— Господи! И когда это старье отомрет, как мамонты! — обладатель спины в дубленке повернул голову в мою сторону. И мы узнали друг друга. Лисицын побагровел и вскочил, уронив вязаный колпачок.

— Марина Владимировна! Сколько лет, сколько зим...

Старик проворно уселся на его место, продолжая бубнить:

— Перед бабой расшаркивается, а у нее ни стыда ни совести.

— Видали! — Лисицын усмехнулся. — Таких стоит жалеть?!

Лисицын покачивался надо мной, сытый, нагловатый и самоуверенный. Он поигрывал длинными глазами, и на его холодные взгляды ловились некоторые девушки, хотя взгляды были масленные, с ухмылочкой, а выпуклые яркие губы складывались в многозначительную гримасу.

— Извинись! — сказала я.

— Слушаюсь, ваш ученик всегда покорен любимой учительнице.

— Ах, так вы еще и учительница! Хорошо же вы их учили: не уважать старших, оскорблять заслуженных людей!

Старик сделал все, чтобы я остро пожалела о своем вмешательстве и поспешила к выходу, хотя мне надо было проехать еще две остановки. Лисицын вышел со мной, помог сойти, подав руку, а потом остановился, точно не сомневался, что я захочу с ним поговорить.

— Вас что-то интересует? — спросил он в лоб и стал закуривать, щелкая красивой зажигалкой. И вдруг я ее узнала, Марусину перламутровую зажигалку, она ею всегда хвастала.

Я отвела глаза, вспомнив, как Миша Серегин про-

сил меня пригласить Лисицына на поминки, но его нельзя было нигде отыскать.

— Ты бы хоть телефон оставил, — сказала я, — авось придется снова делать прическу.

На секунду он помрачнел, вспомнив, как я приходила к нему в салон три года назад, но тут же оживился:

— Лучше я вам позвоню через месяц, пока у нас нет еще телефона.

— У нас?

— Ну, у моей последней жены. Мы построили трехкомнатный кооператив в Ясенево, жене даже пришлось на общественных началах машинисткой поработать в правлении, чтоб от первого этажа избавиться...

— А кто она?

— Дочь одного деятеля... — он усмехнулся. — Такие жены нынче вместо крыльев...

— У тебя было две жены, я слышала, это которая?

— Ну, если у вас есть время, могу изложить трагикомические факты моей биографии. Первая фифа была с высшим образованием, дочь директора универмага. Выгоды минимальные, а сцены, скандалы... Даже дралась, я ходил весь исцарапанный, представляете?

Лисицын снял свой колпачок, и я заметила, как подели его темные волосы.

— Вторая благоверная была «крысой», она всегда подходит «быку».

— При чем тут крыса?

Мое невежество его развеселило.

— Ай-ай, какая вы несовременная! Сейчас жен надо подбирать по гороскопу. Вот я — «бык», нас особенно любят «крысы». Я все вычислил, подобрал девчонку лет восемнадцати, работала курьером, по моим делам самая полезная профессия... Наш общий друг Ланщиков всегда советовал: «Живи со своим веком, но не будь его творением, служи своим современникам тем, в чем они нуждаются, а не тем, что хвалят и выпрашивают...»

— Жена была — заглядение, тихая, скромная, уборщица, прачка, рубашки стояли, так их крахмалила, свое место знала, только что с ложечки не кормила. Но через полгода домой шел как на каторгу, скукота, пустота, тупость. Ну я и смылся к мамочке под крылышко, правда, развод не оформлял, чтоб другие бабы не ловили...

Зачем он откровенничает? Почему не ведет себя,



как три года назад, когда долго делал вид, что меня не узнал? А может быть, действительно иногда рождаются люди, лишенные нравственности, как бывают слепые от рождения?! В школе он считался слабохарактерным, Ланщиков водил тогда его на коротком поводке, помыкал им.

Лисицын снова посмотрел на часы.

— Вопросов больше нет? Моральный облик мой ясен?!

Он кивнул своим помпоном и ушел, ни разу не оглянувшись. А я все думала про Марусину зажигалку. Лисицын, видимо, часто бывал у нее в последние годы. Лечился от скуки?!

Позвонила Глинская. Попросила разрешения приехать. Я удивилась, она обычно не баловала меня вежливостью. Как ни смешно, но в основе ее характера была застенчивость, а преодолевала она ее варварски, заставляя себя вести резко, даже вызывающе. Главным в ее жизни стали принципы, иногда нормальные, но чаще странные. Из принципа она себя уродовала черными вещами, не носила украшений, презирала удобства жизни. Все деньги у нее уходили на путешествия, пластинки, книги.

— Где Аня? — спросила Антонина, как только вошла в квартиру. Все-таки ее молодость потрясала. Эта взрослая женщина выглядела семнадцатилетней.

— В школе... Ты разве на минутку? — удивилась я, видя, что она не раздевается.

— Миша Серегин решил поймать вора, укравшего вышивку. Вы ничего об этом не слышали?

— Что за чушь?! С чего ты взяла?

— Имела честь заслужить доверие одной особы, которая участвует в этой операции, но дала слово молчать, поэтому только намекаю. — Антонина усмехнулась. — Серегин обнаружил, что кто-то недавно пытался войти в его квартиру, он поставил секретки в дверях...

Нелепость! Правда, Миша Серегин запоем читал детективы...

— Что там могут искать?

Только сейчас я заметила, что она даже ресницы накрасила, сменила черное платье на коричневое и на высоких каблуках оказалась выше меня.

— Ты куда-то собралась?

— А вы не помните? Ланщиков организовал встречу нашего класса. Он всех обзвонил по телефону, потом послал письменные приглашения. Организатор из него гениальный. Операция под кодовым названием «Десять лет спустя» в кафе «Лира».

— Митя тоже идет?

— Конечно, только я не успела с ним договориться, где мы встретимся.

— Он был вечером дома.

— Меня вчера Барсов в кино водил, вернулась поздно, не решилась звонить...

Интересно получается! Наверное, я старомодна, только не понимаю, как можно собираться выходить замуж за Митю, а вечер проводить с Барсовым, зная ревнивость Моторина. Теперь мне понятно, почему он не отходил вчера от телефона и так много курил, что наша лестничная площадка даже утром плавала в дыму.

Мне очень хотелось высказаться, но я сдержалась. Глинская — не Варя, она и в школе вызывала у меня двойственное отношение: и привлекала и коробила ее прямолинейная резкость, категоричность. Под ее ироническими взглядами и усмешками бывало неуютно.

Антошка Глинская, как ее тогда называли, была влюблена в Барсова, но тщательно это скрывала, боясь унизить свою вольнолюбивую натуру. Эта девочка не признавала компромиссов, не прощала никому слабостей. Барсов по своей толстокожести долго ничего не подозревал, а потому и потерял человека, с которым ему никогда не было скучно.

Неужели у них теперь начался новый этап отношений? Когда-то Глинская мне заявила, что обязательно выйдет за вдовца с детьми. Она их отчаянно любила, поэтому и пошла врачом в детский интернат. А замужества ее все откладывались, хотя каждый год возле нее кто-то появлялся. Она хотела выйти только по настоящей любви, а современные поклонники, избалованные, эгоистичные, ее быстро разочаровывали. Она презирала тех женщин, которые завоевывают мужчин, и ничем не желала поступиться ради этого...

Антонина еще несколько минут подождала Митю и убежала, а я представила, какая его ждет выволочка... Сама провела вечер с другим, а Митю выругает за невнимание. Женская логика!

Я сидела в кухне, моем любимом помещении, и, пы-

таясь составить отчет о работе факультатива, медленно разгоралась возмущением против Анюты. Просто болтать со мной, отрывая от работы, она любила, а секреты дарила Антонине, Мите, Олегу, но не матери. Я всегда скрывала свои чувства, чтобы не казаться сентиментальной. В молодости меня высмеяли однажды за безоглядность слов и поступков, и это сделало меня на всю жизнь сдержанной и замкнутой. Даже дочь ласкала мало, хвалила редко, обращалась как с мальчишкой. Вот и результат: дурацкие поступки, нелепые и для пятого класса.

В квартире было тихо, и во мне нарастала тревога. Даже когда влетела Аня и по комнатам точно ветер закружился, я не могла отделаться от тяжелого настроения.

Зачем Ланщиков решил собрать одноклассников? Ностальгия по прошлому — не его амплуа. Ради Глинской — вряд ли. Он умен и всегда говорит, что нельзя дважды съесть одно и то же пирожное. Антонина никогда ему не простит Моторина.

Мне он тоже прислал открытку с приглашением. Но Аня, записывающая по телефону уроки, потому что дневник считала излишней роскошью, делала это на любой бумажке. Так она исписала открытку Ланщикова, а потом ее выбросила, лишь мельком упомянув о намечавшейся встрече... Поэтому я и забыла о ней, а теперь ехать было поздно.

Все-таки непонятно, почему Ланщиков выгуливал детей Лужиной? Комплекса отцовства в нем никогда не наблюдалось, Лужину он презирал, считал хищницей, хотя и пользовался ее услугами, когда она работала в магазине. А теперь при ней — мальчик на побегушках?!

А главное — зачем он приезжал ко мне с просьбой помочь устроиться на работу? Тот же Александр Сергеевич, профессор истории, с радостью ему поможет. Он до сих пор считал недоразумением то, что случилось тогда с его дипломником... Неужели именно он снял драгоценные камни с медальона и продал их вместе с документом князя Потемкина? Их не нашли, хотя Филькин проверил множество его друзей, коллег и даже спекулянтов антиквариатом... Смалодушничал, споткнулся сначала из азарта, любопытства, желания доказать, что он умнее всех, кто пытался разгадать тайну стола Потемкина. А потом заразился жадностью?!



Я решила поставить точку на бесплодных рассуждениях, слишком большая роскошь, когда столько собственных дел и непроверенных сочинений. Наконец, ведь ничего криминального не произошло, смерть Маруси была естественна. О вышивке Серегин не заявлял, значит, знал, кому ее Маруся могла отдать. И постепенно я так ушла в работу, что перестала слышать бой часов.

Около двух часов ночи ко мне в комнату вошел Митя. Полумрак скрадывал очертания его фигуры, но что-то в его застывшей осанке заставило меня похолодеть. Предчувствие?!

— Меня утром арестуют, — сказал он без интонации, стиснув руки в кулаки, и посмотрел на меня, точно тонул. Глаза казались совершенно черными под сведенными бровями.

— Я из кафе раньше ушел, я не мог видеть ее кривляний, я сразу понял, что Антошка снова с Барсовым... ну... встречается...

— За ревность никого не арестовывают...

— Я с Ланщиковым перед кафе ходил, пока все собрались... Он хихикал, рассказывал, как она с сыном Варьки нянчится...

— При чем тут Ланщиков?

Он меня не слушал.

— И зачем... туда явился, дурак, идиот, дубина?! Антошка не позвонила — значит, не хотела видеть...

— Возьми себя в руки! В чем дело, наконец?

От него пахло спиртным, но на пьяного сейчас Митя был не похож.

— Не могу... больше не могу...

— За что тебя могут посадить? Что ты несешь?

Он кусал губы.

— Я его нашел, первым.

— Кого?

— Ланщикова.

— Ничего не понимаю. Где нашел?

— На улице. Я шатался, уйдя из кафе, часа два, потом решил вернуться, вдруг понадоблюсь Антошке...

— Ну и что?

— Наверное, его ударили сзади, он лежал в десяти шагах от кафе.

— Ты вызвал «скорую»?

Он повернулся, беззвучно шевеля губами, точно они слиплись.

Взгляд его был отчаянным. Потом он закричал:

— Мы поругались с ним в начале вечера...

Глаза у Мити глубоко запали, точно год болел.

— Я не могу снова сесть, поймите, у меня только начало налаживаться, больше мне не подняться... Все, амба!

И он зарыдал.

— Перестань! Ланщиков придет в себя и все объяснит милиции...

Митя махнул рукой, точно потерял надежду:

— Не придет... Он уже холодным был.

Я вздрогнула, до последней секунды я этого не допускала. Кто угодно, но не Ланщиков, неуязвимый, хитрый, ловкий, всегда выходивший сухим из воды.

— Лучше бы вызвал милицию и «скорую».

— Я вызвал из автомата, через пять минут, как очухался, но меня все равно заметут.

Волоча ноги, он пошел из комнаты, ссутулясь, точно его схватил жесточайший радикулит.

Легла я не скоро, и меня почти сразу поднял звонком Стрепетов: «Дома ли Митя?» Я сказала, что пришел очень взволнованный, потом спросила о Ланщикове. После паузы Стрепетов сказал, что Ланщиков умер.

— Самоубийство?

— Это не самоубийство. Аллергический шок.

Неужели Митю арестуют? Не случайно ведь Стрепетов именно о нем спросил. Ланщиков безошибочно умел раздражать Митю, вызывать вспышки ярости. Ему доставляло какое-то наслаждение мучить именно Моторина. Может, из-за Антошки? Когда-то Ланщиков сказал мне, что настоящей любви, как и ненависти, можно посвятить всю жизнь...

— Они в кафе поругались.

Я вспомнила почему-то иронические реплики Ланщикова на уроках. Он комментировал ответы товарищей. Остроумно, зло, метко. Сбивая с темпа, с мыслей, ехидно усмехаясь при виде беспомощности одноклассника. А потом мог помочь. Позаниматься. Дать списать свою работу. Показать решение задачи, которую разбирал с репетитором. Но только тем, кто был слабее его по характеру. Своеобразная благотворительность. И в то же время бешено-ревниво он относился к Стрепетову. Нет, его футбольным успехам не завидовал, но своеоб-

разию мышления, умению дружить, доброте... Да, он именно доброте его завидовал больше всего, как глухой — человеку с абсолютным слухом.

— Марина Владимировна! — услышала я вновь голос Стрепетова и заметила, что стою с телефонной трубкой в руках. — Посмотрите, дома ли Митя?

Я заглянула в комнату Мити. Все вещи на месте. Их немного. Один большой чемодан, перевязанный ремнями. Замок Митя взломал, когда потерял ключ. И мешок, похожий на рюкзак.

Я ответила Стрепетову сухо:

— Мити нет дома.

Он повесил трубку, забыв даже попрощаться.

Митя отсутствовал весь день, а потом зареванная Антошка прибежала ко мне и рассказала о том, что произошло в кафе. Я стала расспрашивать о Ланщикове:

— Он вел оскорбительные разговоры?

— Не знаю, — она пожала плечами. — Говорил, что я его сглазила, что без меня нет у него удачи, просил не выходить замуж за Митьку.

Все это она проговорила залпом, потом сжала губы.

— Сказал еще, что Лисицын подлее его, но «этого красавчика никто не презирает... Богатыми только восхищаются...». Но когда все соберутся, он такое о нем сообщит, что мы ахнем.

Помолчали.

— Лисицын приехал с Лужиной?

— Нет, появился позже, беседовал покровительственно, растягивал слова. А глаза водяные, лягушачьи и губы бантиком. Один всю красную икру съел. Придвинул к себе икорницу и ложкой... С таким видом, точно очень спешит...

Лисицын и Митя, что у них общего?! Они взаимно обходили друг друга, хотя, кажется, именно из-за Мити у Лисицына были когда-то неприятности в поездке в Ригу. Классный шут обожал забирать на память отовсюду солонки. Такое невинное хобби! А Митя возмутился, когда заметил, что он положил солонку в карман. Они были в ресторане. Мите понравилась официантка, и он не хотел, чтобы у девушки были неприятности.

Лисицын краснел, каялся, говорил, что это была



шутка, повод для знакомства с хорошенькой девушкой. Она поверила, но Митя с тех пор с ним не разговаривал. Неуживчивый, упрямый, Митя был из тех людей, с которыми трудно в легких обстоятельствах и легко в трудных. А Лисицын не из тех, кто забывает и прощает унижение...

В школе говорили, что отец Лисицына — известный фельетонист, разошелся с матерью, оставив ей квартиру, дачу, машину. Мать Лисицына, портниха, сама много зарабатывала, но обожала жаловаться на судьбу.

— Представляете, сын проверяет ежемесячно, как я трачу алименты. Если не на него — хамит...

Она не осуждала сына, просто сообщала сведения, информировала, точно я собиралась писать о нем биографическую справку...

Мы долго молчали с Антониной. Она курила, и я не выгоняла ее на лестницу. Я пыталась понять, представить себе своих учеников там, в кафе. Взрослые, нарядные, оживленные, всем хочется показать, что жизнь прошла не зря. Каждого вновь подходившего встречают рукопожатия, девушки обнимаются, оглядывая друг друга. Ланщиков каждую наделяет гвоздикой или розой... И за столом все простые, веселые, довольные. Благодарят Ланщикова за идею. Намечается следующая встреча, разговоры о тех, кто не в Москве... Антонина сидит с Барсовым, он ей занял место, а Митя с края, пришел позднее. Она кокетничала, конечно, с Барсовым, поэтому и не запомнила, что делали остальные. Только Ланщиков не спускал с нее тяжелого взгляда, она это чувствовала. И ей льстило, что до сих пор ему не безразлична...

— Ты любишь Митю?

— Жалею, он как ребенок...

— А твои родители?

— Для них Митя — уголовник.

— А он на тебе женится?

— Как миленький!

Постоянная категоричность, одностороннее решение. Кажется, инфантильности в Антонине Глинской не убавилось, хотя и кончила она мединститут.

— Зачем Ланщикову надо было все же вас собирать в кафе? — вдруг спросила я.

Антонина равнодушно дернула плечом.

— Он заявил, что хочет рассказать об одном богатстве, несправедливо нажитом.

По-моему, Антонину Глинскую не взволновала смерть Ланщикова. А она так переживала из-за детей своего интерната, требовала, чтобы ими занимались воспитатели более внимательно, ласкали, утешали, считая, что человеческая теплота — главное лекарство.

Мне казалось, что человек на перекрестке судьбы должен думать и о прошлом, осмыслить все, что было накоплено и потеряно.

С кем же позер Ланщиков хотел свести счеты? При всех, вызываясь, ведь за столом с ними сидел Стрепетов — работник милиции?

Мне вспомнились слова Ланщикова, еще в школе: «Я себя не люблю, зачем мне еще кого-то любить?!»

Появилась мрачная Анюта. Походила, поглядывая так выразительно, что Глинская сбежала. У моей дочери бывал иногда такой взгляд, что мог прожечь спину. Она сделала себе бутерброд и сказала:

— Мама, я влюблена... Ты не спрашиваешь — в кого?

— Я и так знаю.

— Ты читаешь во мне, точно я стеклянная.

Она задумчиво жевала. Во всяком случае, несчастная любовь не лишила ее аппетита.

— Он смеется.

— Лучше бы плакал?

— Я сказала, что пожалеет, сам за мной побегает, когда вырасту, а я — ноль внимания.

— Угроза — прекрасный способ завоевания любимого.

— Не смейся. Он считает меня ребенком.

— А ты взрослая?

Анюта закусил губу, дернула себя за косу, накрутив ее на палец, точно хотела оторвать, и нахмурилась. Но мне было не до ее переживаний и детской влюбленности в Стрепетова. Все дни я неотвязно думала о Ланщикове. Его лицо возникало на страницах сочинений, учебников. Он оказался, видимо, тоже частью моей души и безболезненно не исчезал. Я вспомнила, как в школе он пытался привлечь мое внимание развязными выходками, наглыми репликами, обижаясь, что я хвалю Барсова.

— Привет! Ты дома?

В кухне появился Сергей, вернувшись с дежурства.

Ритуальное выражение, своего рода пароль.

— Нет, до сих пор сижу в школе.

— А где вредная дочь?

— Занимается, наверное.

Сергей пошумел, пооткрывал двери комнат, шкафов.

— Ее нет.

Я добросовестно заглянула за тахту и в шкаф. У Анюты была страсть устраивать развлечение такого рода собственным родителям.

Мы вернулись в кухню.

— Она не говорила, куда собралась?

— Вроде нет.

— Поссорились?

— Просто я посмеялась, когда она снова завела песенку про Стрепетова. Только ее влюбленности Олегу сейчас и не хватает...

— Девятый час... Рановато ей из дома сбегать...

Он налил чай.

— Насчет Ланщикова — правда? Аллергический шок?

Я кивнула.

— Удивительно, редчайшая вещь! А на что у него аллергия?

— Откуда я знаю, мне никто не докладывал...

— А зачем Ланщиков собрал всех в кафе?

— Сведение счетов. Ему что-то не выплатили, когда он сидел в колонии. Вот он и решил отомстить.

Я встала, прошла в комнату Анюты, поискала записку. Вдруг она пожалела родителей, их нервы?

Записки не было. Пробило десять. Все лимиты спокойствия исчерпаны.

Я снова походила по квартире, поглядывая на телефон. Конечно, звонить так поздно неудобно. Но мы — друзья?!

Я посмотрела на Сергея.

— Не смей, — сказал он. — Никуда дочь не денется.

Он угадал, как всегда, мое намерение, но и сам не выглядел спокойным. Мы пытались еще полчаса притворяться друг перед другом.

— Я пройду перед домом, погуляю.

Он стеснялся своего волнения, делая вид, что у него крепкие нервы.

— Не надо. Я позвоню Стрепетову.

— Он тебя высмеет.



Но я уже набирала его номер, мечтая застать этого неугомонного человека дома. Голос Олега показался мне сонным. Как только я сказала, что Анюта исчезла, он крикнул в трубку:

— Сейчас приду. Никуда не уходите без меня.

Мы переглянулись с мужем. Стало еще тревожнее...

Стрепетов пришел через полчаса, злой и мрачный. Ничего не объясняя, позвал нас с собой. Пройдя три минуты дворами, мы с Сергеем оказались возле дома Серегина. Стрепетов шел очень быстро, молча, потом попросил нас сесть на скамейку и вошел в подъезд. Сергей выразительно посмотрел на меня.

Вечерняя синева гасила звуки, и мы тщательно прислушивались, пытаюсь понять, что происходит у Серегина в квартире и какое к этому имеет отношение Анюта. Неужели Мишка решил, что сам поймает мифического вора? С Анютой... Захотелось поиграть в сыщиков? Легкомыслие потрясающее. Бедный Сергей, вместо того чтобы выспаться после дежурства, волнуясь из-за девочки, которая даже в десятом классе осталась младенцем.

И тут Стрепетов вывел из подъезда ревущую Анюту.

Прежде всего я удивилась, увидя ее слезы. Она была человеком сдержанным и на людях не ревела.

Лицо Стрепетова было возмущенным.

— Получите ваше сокровище! Советую дома высечь. Сам бы с удовольствием, но не имею права.

— Да-а, — ревела она, — но мы же задержали...

Сергей встал, взял Анюту за руку, крепко взял, она даже зашипела от боли, но сдержалась, с видом мученицы, идущей на костер.

— Что с Серегиним?

— Это же надо, с простыней решили напасть на преступников!

— Какая простыня?

— Они договорились; на любого, кто войдет вечером в квартиру, накинуть простыню и связать.

Мы помолчали. Серегину почти двадцать лет. Рост два метра, а мозги — на какой возраст?

— Чья это плодотворная идея? — спросил Сергей.

— Моя! — пискнула Анюта, она не умела врать в серьезных делах. — Но раз пойман преступник — значит, хоть какая-то польза от нас была?

У Стрепетова от ее упрямства даже хохолок на макушке стал торчком.

— Какой преступник?! Вошел человек, у которого был свой ключ, ничего не успел сказать, даже шага не ступил из передней, как эти пинкертоны на него напали, перепугали...

— Но вошел-то он без ведома хозяина...

— Там оставались его вещи. Он не увидел света в окнах, решил, что Мишка на тренировке, а ему была нужна его личная бритва...

— Как же это? — спросил Сергей, но я уже знала ответ и поняла, что в квартире Серегиной был Лисицын. Он чувствовал себя там как дома...

Сергей велел Аняте немедленно ложиться спать, не мозоля родителям глаза. Он забыл, что она не ужинала, а она не напоминала, счастливая, что проработка переносится, надеясь на спасительное время.

— Почему Мишка никогда не говорил о Лисицыне? — спросил Сергей.

Я уже думала об этом. Стрепетов три года назад отвлек десятиклассника Серегина от его дружков, сделал из него классного футболиста. Мишка переменился, кончил школу, бывал у нас. Но о Лисицыне упомянул только однажды, в связи с похоронами. До этого — ни разу. Сдержанность, такт, уважение к матери? И зачем было ему устраивать эту нелепую засаду?

— О каком браке он может мечтать! — сказал Сергей, не дождавшись ответа.

— Брак? Кого с кем?

— Он же собирается жениться на нашей дочери. Ты не в курсе? Меня он поставил в известность.

— Бред!

— Не уверен. Ты обратила внимание, что у Аняты не осталось товарищей! Она ни минуты не бывает одна. Он ее встречает, провожает, дарит цветы.

— На какие деньги?

— Тем более что стипендию он ни разу не имел, идет на одних тройках...

Новость эта меня ошеломила больше, чем их нелепая засада.

— Мне кажется, что она его просто жалеет, — ответил на мои невысказанные мысли Сергей.

— При чем тут жалость, скажи на милость?!

— Я как-то слышал, когда они сидели в кухне, что он ее попрекал безжалостностью. А когда я вошел к ним, он ломал пальцы с таким хрустом, точно орехи щелкал.

— Да не влюблена она в него!

— А разве я говорю, что она? Просто он ее размягчает своими несчастьями, страданиями.

— Анюте нравится Стрепетов. — Сейчас я об этом вспомнила с облегчением. — Много лет она им восхищается, прислушивается, подражает...

В квартире было тихо, капала вода в ванной, постукивала труба отопления. Спать мне не хотелось. Я посмотрела на часы. Четыре. Сергею в шесть вставать. Веселенькая ночь!

— Интересно, на какие деньги Мишка собирается жить? После смерти матери на работу он не устроился. И стипендии нет... — Сергей, кажется, решил не ложиться, глаза у него были не сонные, а острые, сосредоточенные, точно он обдумывал шахматную задачу.

— У Маруси есть, наверное, накопления, ковры...

— Кстати, а что сказала Маруся, когда просила у тебя альбомы по Останкину и Кускову?

— Ничего, на какой-то секрет намекала...

О вышивке она не упоминала? Интересно, от кого Лужина получила эту картину? От бабушки вряд ли.

И мне отчаянно захотелось расспросить Шутикова. О соседе. Чем-то они были связаны, тетрадь и вышивка. В одном районе, в одно время всплыли. И не мог Ланщиков сболтнуть случайно о потомках знатных фамилий. Я вспомнила наш разговор, его интонацию, ироничные глаза. Он никогда ничего случайно не делал, запутываясь в своих хитростях оттого, что слишком усердствовал, но осознавал при этом, во имя чего говорит и совершает нелепые вещи...

После уроков я спросила Парамонова-младшего, знает ли он, где живет Шутиков. Он подозрительно посмотрел на меня и нахмурился.

— Будете ругать за сочинение о Молчалине?

— За мнение нельзя ругать. Надо переубедить.

— Ее переубедишь! — сказал десятиклассник. — Скала!

Он несколько шагов переваливался уточкой рядом со мной, шмыгая веснушчатым носом. Прабабушка так



и не уговорила его, наверное, пользоваться носовым платком. Маленький рост талантливого футболиста, открытого Стрепетовым, не увеличился за три года даже на сантиметр. Парамонов-младший стал после занятий спортом очень сильным, хотя в глаза это бросалось не сразу.

— Ладно. Отведу. По дороге. Пошли.

После каждого слова он делал паузу, похожую на точку, и чаще всего пользовался для бесед глаголами, не вынося многословия. Потом вытащил из-за батареи хозяйственную сумку с кастрюльками, покосился на меня, точно боялся насмешек, но я промолчала, и это его примирило со мной. Поэтому и решил дать пояснения:

— Там ее мать. Выпустили на побывку. К детям. Взял им обед. От всего нос воротит.

Я не совсем поняла, о ком он говорит, но решила не задавать вопросов. Парамонов-младший напоминал недоверчивого щенка, хоть и любопытного, но боящегося чужих рук.

Мать Шутиковой встретила меня так оживленно и радостно, точно мы были любимыми подругами и давно не виделись.

— Наконец-то! Я так мечтала все узнать о дочери! Она бука, бяка. Да-да, только глазами шарит. Ну ни капли не приняла, ни грамма, можете понюхать...

Женщина была без возраста. Кожа цвета старой упаковочной бумаги. Веки багровые, глаза слезились. У нее отсутствовали верхние два зуба, и она улыбалась, кокетливо прикрывая рукой рот, посасывая губу, отчего все ее слова сопровождались чмокающим звуком.

Оля Шутикова сидела у окна с младшей сестренкой и демонстративно что-то ей рисовала на листке бумаги. Но девочке было интереснее следить за матерью. Парамонов выгрузил судки на стол, покрытый клеенкой, и махнул рукой, как фокусник после окончания номера, когда из рукава у него вылетает голубь.

Мать Шутиковой понюхала воздух расширенными вздрагивающими ноздрями.

— Кошмар! Разве это еда? Так кормят детей в вашей школе?! — Она возбужденно забежала по комнате. — Масла нет, в пюре налита вода, видите — отстают от стенок. А суп! Это просто опивки, остатки из кастрюль...

Я не поняла, кого она играла, ревизора или правдо-

любца, но дочь вскочила, подошла к Парамонову-младшему и погладила его по рукаву.

— Спасибо, Степа, ты — настоящий друг!

Мальчик смущенно ухмыльнулся, перестав смотреть на суетливую хозяйку квартиры, бегавшую кругами по комнате в лихорадочном возбуждении.

Оля Шутикова поставила на квадратный стол по две тарелки для каждого присутствующего, рядом деревянное кольцо с салфеткой. Белой, крахмальной. Ножи, ложки и вилки разложила по всем правилам и, не подогревая, разделила содержимое судков на четыре порции. Они получились крошечными, девочка на мгновение задумалась и добавила по кусочку хлеба возле каждого прибора. Потом поманила пальцем сестренку, усадила, заправила ей салфетку. Молча, без всяких слов нажала на плечо Парамонова, указала стул рядом с собой и после всего обратилась ко мне:

— Просим гостей дорогим, Марина Владимировна, не побрезгуйте...

— А твоя мама... — начала я растерянно, поглядывая на продолжавшую бегать по комнате женщину.

— Мама брезгует. А для нас и этот обед прекрасен.

Мать Шутиковой засмеялась визгливо и ненатурально.

— Вот когда я работала официанткой в кафе, у меня был самый малюсенький аппетит, вот такусенький... — она потрясла передо мной мизинцем, — зато больше никто из девочек не мог выпить и прийти домой на своих как человек.

Оля Шутикова ее не замечала, решительно и твердо, и никакими заискиваниями, истериками эта мать не могла, кажется, вернуть к себе любовь детей.

Проглотив несколько ложек, я встала. Оля собрала тарелки и предложила мне пойти с ней в кухню. Потом выразительно посмотрела на Парамонова-младшего, и он успокоительно кивнул. Он понимал ее без слов.

В кухне пахло побелкой. Окно блестело, а стол и три табурета сверкали белой масляной краской.

— Мать ни на секунду нельзя оставлять одну, — пояснила девочка, — тащит все подряд, даже туфли Мани, на бутылку. И как мог Олег Николаевич ей поверить?! Поручился за нее в больнице — «тоскует по детям». А мы часы считаем, когда ее обратно примут...

— Это теперь болезнь... — начала я, но близко посаженные, как и у матери, глаза Оли Шутиковой блес-

пули такой ненавистью, что у меня по коже побежали мурашки.

— Болезнь! — повторила она. — Маня у нас больная, на всю жизнь слабоумная, вот и Лидочка — глухая почти, да и я — с трудом читаю, голова сразу болит, а эта — живет. Ни цирроза печени, ни инфаркта. Еще какого-нибудь младенца мне подкинет, с нее станет, ни стыда ни совести, одно название — мамаша.

Она быстро вымыла тарелки, отобрала у меня полотенце, стараясь сохранить независимость, и спросила другим тоном:

— У вас разговор ко мне по сочинению?

— Нет. О твоём бывшем соседе. Ты заходила в его комнату?

— Да... — Шутикова удивленно подняла голову.

— У него были старинные вещи?

— Были. Они с мамой пили наперегонки. Иногда он совал ей то картину, то книгу, то подсвечник, чтоб продала на бутылку. А она рада до смерти.

— Что тебе больше всего запомнилось из его старинных вещей?

Девочка наморщила лоб, прикрыла глаза и замерла.

— Картина на стене висела. Вышитая бисером, каждый стежок поблескивал.

— А что изображено?

— Женщина в шлеме с перьями, не очень красивая, но прямо на вас смотрела, точно сказать пыталась что-то. И мужчина с волосами по щекам. От ушей вниз росли.

— Бакенбарды?

— Вот-вот, я слово забыла. А за ними — дворец вроде знакомый...

И тут Шутикова открыла глаза.

— Ой, так это же Останкино, мы недавно с Олегом Николаевичем ездили, он мою тетрадку там показывал.

Она поставила в раковину тарелку, только что вытертую, и механически стала снова ее мыть.

— Так, выходит, та вышивка связана с Парашей Жемчуговой? И мой сосед — из бывших?

Шутикова помрачнела.

— А пил хуже мамки, всех пьяниц таскал сюда, никому не отказывал, квартиру в помойку превратили...

Тоненькая, сутуловатая, она возвышалась надо мной, точно камышинка, и лицо ее стало совсем детским.

— Ну скажите — чего он пил? Добрый, умный, ко-



гда трезвый, последнее любому дарил, и художник взаимовыгодный!

Пауза затянулась, и она махнула рукой, поняв мое молчание, а может быть, и не ждала ответа.

Мы вернулись в комнату. Я заметила расстроенного Парамонова-младшего и сестренку Оли. Девочка рисовала что-то ложкой на клеенке из лужицы супа. Матери их здесь не было.

— Дал деньги? — Голос Шутиковой зазвенел.

— Ну, на коленях просила, всего трояк... — Парамонов-младший не решался посмотреть ей в лицо, уши его пламенели.

— Ей ни глотка нельзя, дурень добрый! Она умереть может, сердце как мешок дырявый... — Девочка накинула на себя короткий выгоревший плащ и метнулась к двери, забыв обо всех. И такая тревога отразилась на лице этой восьмиклассницы, что я поняла, как вечна любовь дочери даже к потерянной матери, хотя она этого и не понимала...

Последнее чтение «Записок правнучки» Олег Стрепетов начал раньше, чем обычно, в четыре часа дня. Пришлось так сделать потому, что места в небольшой комнате красного уголка не хватило бы на всех желающих, вечером больше людей бывает свободными. Но сначала он сказал, что просит высказаться всех пришедших о характере, судьбе Параши Жемчуговой. Почему эта история волнует и сегодня самых разных людей?

Я увидела, что Аня поднимает руку, точно на уроке, и нахмурилась. Всегда не терпела выскочек. Она мгновенно отреагировала и прикусила губу, хотя ее переполняли слова, а Парамонов-младший сказал:

— Человек большой, значит, и чувство большое...

Шутикова не согласилась:

— Да нет, главное, что она, как мы, такая же...

Ей не хватало слов, она крутила головой во все стороны, точно ждала, просила подсказки.

— Хорошо, в общем, что она была... что ее уважали... тогда...

И снова начали разворачиваться картины прошлого, хотя Олег Стрепетов не играл голосом, не актерствовал, не старался усилить драматизм интонацией. Может быть, в простоте его чтения, безыскусности и была особая магия воздействия?

## ЗАПИСКИ ПРАВНУЧКИ

И снова отъезд в Петербург. Придворные обязанности занимали все время графа. Концерты не устраивались. А Параша зачастила в церковь, страдая, волнуясь из-за болевшей матери. Нет, семья ее уже не нуждалась. Граф повелел купить для них дом. Но отец пил и в такие минуты крушил все вокруг, лютовал особенно, как узнал, что дочь стала открыто «барской барыней». И мать не пускал приходить в кусковский парк: хоть постоять рядом с домом, где держали дочь. А когда увез граф Парашу в Останкино, даже издали не видались больше... дочь и мать, разлучились навсегда.

Вскоре Параша услышала о смерти матери. Ничто ее больше не веселило, не волновало, музыка точно отлетела от нее. Часами стояла оцепеневшая на коленях перед образами в домово́й церкви, холодной и тихой... Опостылела ей опочивальня...

В тот день граф привез во дворец старого друга детства князя Куракина. Повелел пригласить Парашу. Возмутился, что она снова в церкви, точно монашка. Верная подруга Таня Шлыкова, неунывающая, улыбчивая, бросилась ее разыскивать. Она была в знании всех ее дел, шепнула, что граф очень гневен, повелел принести ее арфу, хочет похвастать талантами своей «дивы».

Параша вошла погасшая, продрогшая. Ей приказали петь, играть, а у нее не было сил даже шевелиться. Умное лицо князя Куракина было так промыто, что кожа выглядела ненастоящей, а маленькие острые глаза в красных прожилках смотрели с холодной настороженностью. Параша поняла, что в эту иссохшую душу ей не достучаться...

В ту ночь впервые за все годы их совместной жизни граф не пожелал ее увидеть. Он вспомнил и жалобы на нее Вроблевского за рукоприкладство, и язвительные шепотки дворни о ее упрямстве, он считал, что она нарочно «не постаралась» перед высоким гостем, оставя его равнодушным...

В наказание повелел привести Анну Изумрудову. Но против воли он прислушивался к звукам в спальне Парашы. Начинал и обрывал фразы, ему было скучно с этой яркой и щедрой женщиной... Он наградил Анну гостинцами, милостиво потрепал по щеке и велел Прощке ее увести. Потом пытался уснуть. Сжимал веки, замирал, вертелся на ложе, точно на раскаленной сковороде.

роде. Промучился, прометался часа три, наконец накинул шлафрок и решительно вошел в выставшую опочивальню Параши. Свеча почти догорела, печь не топле-на, по углам прятались длинные тени.

Параша исчезла.

Граф растерянно оглядывался. Не поверил глазам. Бешеный гнев его громом сотряс дворец. Замелькали свечи, понеслись из коридора в коридор полусонные лю-ди. Он сжимал подлокотники кресла и кричал тонким жалким голосом, от которого самому становилось про-тивно. Парашу искали в светлице Тани Шлыковой, в ре-петиционной. Ужас охватил Николая Петровича, как до-несли ему, что все вещи Параши на месте, даже вален-ки, бурнус, даже платок любимый.

На улице стыл тяжелый смерзшийся снег, мороз по-шелкивал черными деревьями в белых пышных пари-ках, синеватые сугробы казались мраморными. Он по-велел одевать себя, закладывать карету, он и сам не знал, куда собирался. Но тут донесли, что она найдена.

Он вскочил. Ноги не держали. Парашу обнаружили в сугробе неподалеку от Фонтанного дома. Она выскочи-ла в чем была и, замерзая, потеряла сознание.

Несмотря на растирания, Прасковья Ивановна долго не возвращалась в мир, где ее унизили, оскорбили, пре-дали. Она ушла в одном платье, ушла, чтоб не видеть его. Он понял явственно, что страшнее дня для него не было на земле. Только сей момент познал он, что и впрямь не рождена рабой его Параша...

Граф ходил из угла в угол, пока ее растирали, со-гревали, лили в рот аглицкий джин. Он видел, как на-чинало серебриться окно, слабый сероватый денек впол-зал на землю, ему все мерещилось ее застывшее ма-ленькое лицо, острый нос, тонкие руки, настолько тон-кие, что он дрожал, как бы их не переломили при рас-тирании.

Потом он услышал ее тяжелый лающий кашель. Сердце его колотилось все сильнее. И мать ее померла от чахотки...

Кашель становился безудержнее, озноб ее усиливал-ся, она в любую секунду могла ускользнуть из-под его барской воли. И, перекрестившись, он подошел к секре-теру, написал несколько строк на гербовой бумаге, при-ложил печать и вошел в ее спальню.

Глаза Параши лихорадочно блестели, она стискива-ла зубы, но озноб так ее подбрасывал, бил и мял, что



тряслась кровать. На нее навалили множество шуб, покрывал — ничто не помогало.

Он подошел, велел всем исчезнуть и приблизил бумагу к глазам Параши.

— Живи! — сказал шепотом. — Живи, глупая...

— Что это? — Губы шевельнулись мертвенно, безучастно.

— Вольная... твоя вольная...

Несколько секунд она смотрела, не понимая, потом начала подниматься.

— Дай, дай, — шептали ее искусанные воспаленные губы, и, как ребенок, она тянулась к бумаге, но у нее не было сил взять ее в руки.

— Поклянись, что не бросишь меня, перед образами клянись... «Отпущена на волю от меня навечно...»

Голос графа плыл над лежавшей Парашей. Лицо дробилось в волнах жара. Она не помнила, наяву ли, но шепнула ему и себе:

— Никогда, до самой смерти...

Вольная легла ей на одеяло. Она дотянулась до бумаги пальцами. Дрожь в них стала исчезать, пока она гладила буквы, тихо, нежно. Вот и она стала человеком...

А потом привиделась ей Италия — траттории, о которых слышала, синее небо, точно декорации, сладкое солнце. Она отбрасывала покрывала, пылая жаром, они казались землей, ее погребавшей. Она плакала. Нельзя даже грешную душу живой в могилу опускать, и все время пыталась петь...

Очнулась под утро, счастливая. Краснея, она благодарила его, целовала руки, шептала о мечте поехать вдвоем в Италию, плыть в гондоле по каналам Венеции, увидеть римский Колизей, услышать настоящее итальянское пение. Граф вдруг вспомнил, как в детстве получил от отца в подарок часы-бригет, дорогие, французские. И так ему понравилось заводить их резным ключиком, что пружина вскоре лопнула со стеклянным звоном...

А она строила планы, говорила об опере «Дидона» Глюка. Она ее тайком разучивала и начала даже напевать слабеньким увядшим голосом...

Вскоре приехал Лахман, его личный врач. Долго слушал Парашу с успокоительно-ласковым лицом, щеко-ча пушистыми усами, потом вошел в кабинет графа и сказал тихо, точно виноватый:

— Жить ей немного... чахотка...

— А петь?

Старый врач пожал плечами, стараясь не смотреть в помертвевшее лицо Николая Петровича Шереметева.

Параша болела долго. Доктора хмурились, слушая ее неутихающий кашель. Но она сияла. Вольная лежала под ее подушкой. И она представляла, как уговорит графа позволить ей жить отдельно, в своем маленьком доме. Мечтала его там принимать как дорогого друга, но не барина, не хозяина. А может быть, он даже позволит ей выступить в городском театре...

Граф повелел купить ей двух попугайчиков-неразлучников и двух обезьянок, чтоб они ее дивили, веселили в его отсутствие. Ей казалось, что раньше на нее давила надгробная плита, а теперь она светло и радостно смотрела на солнце, на падающий снег за окном, на смолистые, потрескивающие в камине дрова. Потом ей принесли еще двух соловьев и чижат. Их она пожалела до слез. Певчих птиц нельзя держать в клетке, а потому попросила отпустить на волю в вербное воскресенье...

Смех все чаще звенел в ее опочивальне, и граф начал успокаиваться, похихатывать, когда вдруг замечал, подойдя к ее кровати, слева и справа у ее плеч темные мохнатые мордочки обезьян. Мартышки полюбили залезать к ней под одеяло и устраивали прятки, доводя ее от смеха до трудного долгого кашля.

Старый придворный лейб-медик Рожерсон, любитель ливреток и тончайшего табаку, высокий, сухой, с важностью носивший по два пожалованных перстня на каждой руке, сказал через месяц, глядя в окно, старательно минуя взглядом глаза Шереметева, что больше петь Параше нельзя.

— Долго? — На лице графа за эти дни отчетливо прорезались морщины, стали заметны отеки под глазами.

— Никогда. Совсем.

Николай Петрович попробовал улыбнуться, превратить все в шутку, может быть, это излишняя забота...

— Час пения — год жизни... — поднял палец Рожерсон, чтобы привлечь внимание к своим словам, и его выпуклые водянистые глаза омрачились печалью. Он любил пение Прасковьи Ивановны, посещал все ее концерты в Фонтанном доме, и давно ему не нравился яркий румянец на ее худых щеках...

— Я вызову профессоров из Германии...

— Новые легкие ей никто не поставит...

Старый лейб-медик пояснил, что певица себя не щадила, и одного толчка не хватало, чтобы болезнь вспыхнула факелом...

— На грудь матушки-природы отпустите ее, на кумыс, в степи. — Он всегда мало прописывал декоктов и кровопусканий, веруя больше в правильное питание и чистый воздух...

Граф не сразу пришел к Параше. Он долго ходил по зимнему саду, с раздражением смотрел на зеленые деревья, цветы, благополучные, сочные, и думал, что отдал бы все свое состояние, чтобы болезнь Параша исчезла, как дурной сон. Он не знал, что сказать ей, как посмотреть в глаза. Она уже поговаривала о репетициях, много читала, смотрела ноты, наигрывая на гитаре, и он боялся ее отчаянья.

— Какая скучная болезнь — оберегать свое здоровье, — встретила она его нежной и доверчивой улыбкой, — но от радости не умирают, я нынче такая счастливая, что даже у диких людей на Севере не замерзла бы...

Через несколько дней ее перевели в новые покои. Она поняла, что ее мечты о самостоятельной жизни наивны. Цепочку с нее сняли, а клетка осталась, дорогая, раззолоченная. Но держали теперь ее не прутья ажурные, а странное сложное чувство к графу. Тут была и жалость, и страх за него, и благодарность. Ей казалось, что он пропадет без нее. Это она почувствовала, когда увидела его глаза, очнувшись, и ужаснулась не за себя, за него — он постарел на двадцать лет в ту ночь...

Постепенно она поднялась, начала играть на арфе, на клавесине, чуть шевеля губами, прикрыв глаза. Так она слышала свой отлетевший голос. В павильон ее не выпускали, о тиятре граф запретил упоминать, и она случайно узнала, что в Москве актеры труппы начали пьянствовать, актрисы не слушали постаревшего «гусарского командира», а Вроблевский внезапно в одночасье умер.

Она просила не наказывать провинившихся, умоляла отпустить на волю Дегтярева, она чувствовала, что он задыхается в тоске беспросветной, понимая, как растет его талант и как он гибнет.

Лицо графа в такие мгновения каменело. И он цедил сквозь зубы, упрямо и категорично:

— Неблагодарные!



А потом она прочла переписку его с князем Воронцовым.

Назначенный главным над театральными зрелищами, граф Шереметев был озабочен настроением монарха. Желая его повеселить, он просил посла в Англии графа Воронцова нанять для России разных актеров, «если, судя по их нравам и правилам, вы сочтете их достойными этой милости».

Ответ Воронцова был изысканно-высокомерен.

«Ваши предшественники, директора тиятров, навязывали мне подобные поручения, и я от них отказывался. Я люблю музыку и не люблю балета, и ни капли в нем не смыслю... От времени до времени я призываю к себе певиц и певцов для концертов, за которые плачу... но, ненавидя общество людей тиятра, я не имею никакой связи с ними... Чтобы выполнить ваше поручение, в частности, проверить политическое лицо артистов, пришлось бы с ними жить, проводить мою жизнь в кабаках и кофейнях, которые посещают эти люди... Лета, рождение, звание, положение и личные свойства не позволяют мне вести подобный образ жизни...»

У нее кружилась голова, когда она читала черновик ответа Николая Петровича, который должна была переписать по его просьбе. «Я хотел дать случай удовлетворить нашего августейшего повелителя, который, думаю, вполне заслуживает, чтобы на минуту позаботились о его отдохновении, так как сам он столь серьезно занят нашим счастьем и счастьем всей Европы, что о себе времени думать у него нет... Я совершенно с вами согласен, что вы пишете об актерах. Мы признаем в этих людях только способности, проявляемые ими в тиятре, и свойства, которые они высказывают в наших передних, не имея других с нами сношений, могущих, как вы это удачно замечаете, быть предосудительными для наших лет, рождения, чина и должности... Но я принужден по должности ныне иметь с этого рода людьми дело, хотя они и презираемы за свое ремесло...»

Именно ей он поручил переписывать такие строки?! Раньше она не представляла, что ее ремесло певицы, актрисы — позорно, что для сих аристократов, даже свободная она — человек второго, третьего сорта. А ведь в одной из статей о тиятре господин Дидро, которого всегда так превозносил граф, писал, что актер есть учитель добродетели и звание его почтенно. Она даже указала на эти строки Николаю Петровичу Шере-

метеву, а он небрежно усмехнулся и заявил, что все почтенные старцы потому так превержены добродетели, что уже не могут грешить, и добавил: «Не надо умствовать, время собирать плоды жизни, друг мой Параша».

Вечером у нее снова поднялась температура, пошла кровь горлом, и она впервые подумала, что ее болезнь — благо.

Граф не поехал во дворец, собственноручно подавал ей декокты, читал вслух грустный роман о любви кавалера де Грие и шалуньи Манон Леско. Даже предложил сыграть для нее на виолончели, а она, полузакрыв глаза, смотрела на его постаревшее лицо и мечтала уехать из холодного Петербурга в прекрасное Останкино.

Впервые ей подумалось, что граф при всей своей власти и высокомерии с ней застенчив и ласков, как ребенок, что, видно, связаны они не грехом, а повелением божьим на всю жизнь, в добре и горе, и что надо радоваться тому, что отпущено судьбой, а не богохульствовать, гнева небеса.

— Я повелею устроить в Останкине кумысное заведение, — она улыбнулась, — будешь пить конское молоко, а пожелаешь — и птичье добудем...

Она задремала под звуки его голоса, история Манон Леско ее не трогала. Греховная девка была, сама навлекла зло и на себя, и на любезного...

Во сне она пела, щеки ее горели, волосы разметались, губы шевелились. Их морщила счастливая улыбка. Граф смотрел на нее, не отрываясь, с ужасом думая, что уже никогда не услышит ее голоса, что его соловушка теряет последние силы. И не представлял, как будет жить без нее...

Граф Шереметев один из первых ощутил сгущение туч над головой императора. Но Павел Петрович, все больше подпадая под влияние Гагариной, урожденной Лопухиной, становился недоступен для друзей молодости. Параша лежала спокойная, слушая его бесконечные рассказы об их совместных детских шалостях, фантазиях, о том, как наследник тосковал по материнской ласке, как искал друзей... Теперь ей можно было не бояться ни нрава графа, ни тех изменений в натуре, которые приходят с возрастом. Сердце подсказывало, что уйдет она раньше и в том небесном краю никто уже не будет над ней властен.

Однажды она попросила графа позволить ей воспитывать его дочь от несчастной Татьяны Беденковой.

Ибо зломыслие, злопамятство, злонравие императора мыслились ей в том, что не знал он ласки материнской. Государыня всегда смотрела на сына «нелюбовно», презирала его откровенно, беспощадно и не стыдилась это проявлять.

Вскоре они отбыли в Москву, и теперь рядом с Парашей постоянно сидела некрасивая девочка — Александра Реметева. Раньше она жила в доме на Никольской вместе с незаконнорожденными братом и сестрой графа: Шереметевы своих грешных детей опекали, даже панимали к ним гувернанток.

Граф Николай Петрович к дочери относился равнодушно, его раздражала молчаливость, угрюмость, робость девочки, хотя он и ценил ее старания развеселить больную. Параша все годы думала, что бог ее карает, лишая потомства, но в то же время втайне радовалась, ибо и они оказались бы незаконными, а ей не хотелось появления новых несчастливцев.

В Москве граф постоянно пребывал в дурном духе, ничто его не веселило. Хлебнув отравы придворной деятельности, он уже не мог гордиться вновь своими постановками, завистью и удивлением знакомых. Все чаще перечитывал он деяния своего деда — фельдмаршала Шереметева, тот навечно остался в памяти русской, а он, потомок такого рода?! Он всегда был равнодушен к военной славе. В те поры, когда все образованные люди зачитывались «Ведомостями», повествующими о победах русского оружия в Турецкой и Шведской войнах, граф лелеял лишь свои страсти и развлечения. Ни дела российские, ни события французские его всерьез не беспокоили, хотя он был щедр на благотворительность.

В это смутное нервное время Параша вдруг предложила графу построить Странноприимный дом в Москве, некую «каменную гошпиталь». Она мечтала, чтобы появился «дом для пособия человечеству в несчастях и болезнях, безвозмездность его — главное условие добродетели. Дав приют неимущим, пропитание немощным, снабдив их одеждой и остаток дней успокаивая...». Она давно читала книги, где описывались благотворительные действия в разных странах. Она находила рисунки и гравюры, в зданиях которых ей мнилась вымечтанная «гошпиталь», она тайно готовилась к уговору его — отказаться от драгоценностей ради этого столь нужного, доброго для людей дела. Она мечтала, чтобы их грехи хоть кому-нибудь принесли пользу и благо, ибо жить для



себя ей казалось скучным, жалким, она часто повторяла: «Горе тому, кто живет без заботы сердечной — это просто прозябание». И еще она считала, что день, который ничего не дал другим, — вычеркнут из жизни как недостойный. Мир книг спасал ее от противоречия между ограниченностью сил и безграничностью открывающихся возможностей. И все чаще выражение упрямой решительности пробегало по ее спокойно-кроткому лицу.

Граф сначала растерялся, он не привык, что кто-то мог ему подсказывать, советовать, помогать в том, о чем он и сам еще не думал.

А ведь его Жемчужина нашла истинно великое дело — оно могло оставить след в памяти и судьбах людей, возвысить и род и фамилию, доказать, кто есть истинный гражданин отечества... Только злило его, когда он видел рядом с ней свою дочь, похожую на сурка, он ревновал ее ко всем, кто грелся рядом, ему казалось, что своей заботой она как бы укоряет его в равнодушии и безразличии.

Параша его жалела. Бог дал ему небольшое сердце, он не мог делить его на многих людей, он прилеплялся только к одному, а для всех других душу прятал под замок.

Граф постепенно зажегся мечтой Прасковьи Ивановны. И начал молиться, чтобы небо ниспослало ему за смирение и благотворительность наследника от любезной соловушки, продолжателя рода Шереметевых. Об этом с ним беседовал и венценосный друг, и родные, не любившие Разумовских, ближайших его наследников, но расстаться с Парашей ради женитьбы он не мог. Хотя ночами ему стал сниться сын — веселый, здоровый, с которым он то ездил на охоту, то участвовал в придворном маскараде, то играл для него на виолончели.

Известие о гибели Павла I от руки заговорщиков подкосило его. Он даже от Параши уединялся, сидел в своих апартаментах, неприбранный. Ему казалось, что он заново переживает и смерть матери, и сестры, и отца.

И тогда Параша предложила ему принять нового императора во время коронации в Останкине и устроить для него камерный концерт. Она долго умоляла его разрешить ей выступить, чтобы снискать ему благоволение государя, уверяла, что совсем здорова, что пение для нее не опасно, а ему необходимо напомнить о себе при дворе.

Он согласился, ожив при мысли, что вновь услышит ее голос, стараясь заглушить в себе предупреждение врачей.

На этом концерте Парашу не узнали меломаны, слушавшие ее из года в год. Она похудела, серьезные озаренные верой глаза заставили всех затаить дыхание, особенно когда после игры на арфе и виолончели она исполнила под гитару русскую песню, столь непривычную для аристократических ушей, но столь знакомую по воспоминаниям детства...

Выйду ль я на реченьку,  
Погляжу на быстрюю —  
Унеси ты мое горе,  
Быстра реченька, с собой...

Она опять отказалась от драгоценностей, была в простом белом платье, и сейчас не только граф Шереметев, но и придворные видели, как царственно хороша может быть эта странная женщина.

Голос ее стал еще мягче, сладостнее, в нем звучала глубокая грусть, и сердце Николая Петровича билось в тревоге и смятении. Ему казалось, что она тает на сцене, и он с трудом удержался, чтобы не приказать унести ее на руках.

Глубокий бархатный голос ее поражал одухотворенностью, каждый звук казался совершеннее предыдущего, певица свободно парила и в низких и в высоких тонах.

Потом за клавесин сел Дегтярев, и вдруг полилась ария из «Стабат Матер» Перголезе, одна из самых трагических и волнующих, в которой душа точно расстаётся с телом, с землей, со всеми радостями, отлетая в небеса, вольная, свободная.

Параша стояла, откинув голову, ее темные локоны пышной короной окружали застывшее, точно костяное лицо, тонкие брови свела в единую черту, и с каждой нотой она все удалялась, уплывала от графа, и ему казалось, что сердце его разорвется.

Этот концерт был прощанием и с ним, и с молодостью, и с жизнью. Он понял, что она знала о своей болезни, смирилась с ней и хотела сделать их разлуку ласковой, оставляя ему на память замирающие звуки голоса, равного которому для него не будет в мире.

Князь Долгорукий, известный шептун, вдруг подошел и пожал ему руку, точно брат, оплакивающий родную сестру.

Через несколько месяцев от чахотки на руках Параша умирала Саша Реметева. Умирала спокойно, потому что юность не верит в смерть. Умирала счастливая: Параша подарила ей первую в жизни драгоценность — золотую цепочку. Девочка, она так и не стала девушкой, худенькая, некрасивая, перебирала пальцами звенья и шептала, что она наденет эту цепь осенью, как переедут в Петербург, появится на настоящем балу и всем докажет, что она — барышня, а не крепостная девка...

Параша сидела рядом, поглаживая ее руки. Она не подчинилась графу, когда он настаивал на ее уходе, глянула на него с таким гневом, что он сдался, хотя понимал, что эти минуты укорачивают ее жизнь. Нет, вины он не ощущал. Девочка воспитывалась при нем барышней, точно настоящая Шереметева, а что крепостной оставалась и фамилия Реметева — на то воля божья. Когда же он увидел на ее слабой шее цепь, свой подарок Параше, вздрогнул. Вспомнил, что ничего никогда дочери не дарил, росла она, не зная тепла истинного, если бы не его соловушка, скрасившая жизнь этой никому не нужной девочки.

Он нагнулся, торопливо прикоснулся губами к невысокому холодеющему лбу и отошел в угол, чтобы не видеть, не слышать страданий души, расстающейся с миром. А Параша ласкала девочку, представляя, что это ее дочь, и шептала: «Ничего, ничего, скоро и я за тобой...»

В последнем вскрике Саша поднялась, сжала ее пальцы, кровь хлынула изо рта. И на маленькое, изуродованное болью лицо начало возвращаться спокойствие, точно она обрела наконец блаженство.

Граф боялся, что после смерти девочки Параша не поднимется. Она ушла в себя, попросила убрать обезьянок и попугайчиков, молча слушала его все более грандиозные проекты Странноприимного дома, о котором так раньше мечтала. Эта первая смерть при ней подкосила Жемчугову. Параше казалось, что она слышит по ночам, как зовет ее мать, младшая сестра, — все они ушли из жизни.

Домашний врач Шереметева Лахман сказал, что в болезни певицы виновны не только легкие, «слабая грудь».



— Ей стыдно быть метрессой... Грех давит...

Доктор был мал ростом, говорил с немецким акцентом, хотя вырос в Москве. Но сквозь очки, которые он опускал на кончик носа, беседуя с пациентами, взгляд колот пронизательно и мудро.

К сожалению, граф не смел без ведома монарха взять в жены простую девку, родственники его бы в монастырь сдали, в опеку, как было с Сумароковым, пиитом несчастливым.

Однажды еще при государыне намекнул он о заветном желании за карточной игрой. Специально проиграл графу Зубову сто золотых, надеялся на его поддержку. Однако властные синие глаза, хоть и окруженные морщинками, вонзились в него цепко и остро.

— Не гоже задумано! Внук великого фельдмаршала! Сия шутка дурного тона, весьма дурного... — Лицо императрицы стало брезгливым.

Граф призвал стряпчего Сворочаева, поговорил с доверенным Алексеем Малиновским, сыном духовного отца графа, протоиерея. Молодой человек кончил университет и служил в Московском архиве Государственной коллегии иностранных дел, а также управлял домовою канцеляриею графа, останкинскими и кусковскими народными школами и готовил «учреждение» будущего Странноприимного дома.

Чем-то он был похож на нового императора. Такой же высокий, с рано лысеющим лбом и непроницаемыми голубыми глазами. Что-то в нем было и от немца — точность, чистота, ранняя степенность. Но он был услужлив без униженности и умен не по возрасту. Он понял раньше Сворочаева желания графа. Все бы решилось тихо и полюбовно, окажись Прасковья Ивановна дворянкой.

А разве сие было невозможно? Во всех галантных романах влюбленные преодолевали сословные предрассудки потому, что открывалась тайна, бедное незнатное происхождение оказывалось изрядным, на смертном одре либо монах, либо верный слуга сообщал о чуде, предъявлял законные бумаги... Времена императора Петра давно сгинули, в люди выбиться без достойного происхождения было теперь во сто крат сложнее, а уж женщине?!

И тут Малиновский вспомнил, что после недавних ревизий видел челобитные от крестьян, зачисленных в крепостные, хотя ранее были вольными. Недавно даже

одного священника спасал его отец от крепостного положения...

Сворочаев слушал внимательно, поглядывая маленькими медвежьими глазками. Он вносил с собой тяжелый дух дешевого табаку. На его руках было пятеро, мал-мала-меньших, ибо жена представилась с последней богоданной дочерью... Дело графа было даром божьим. Наивыгоднейшим. Шереметев озолотит тех, кто поможет его достойному браку.

Вдвоем они искали зацепку, ниточку — и дело вдруг завертелось. Малиновский обнаружил документ, по которому во времена походов фельдмаршала Шереметева попал к нему в плен польский шляхтич Ковалевский, прижился ко двору, вроде женился. Далее след ушел в пустоту, но тут нашлось прошение его сына Степана о признании его вольным, сыном шляхтича, по ошибке попавшего в ревизские списки, как крепостной.

Сворочаеву только этого и требовалось. Он привлек к делу одного из братьев Параши, самого честостюбивого. Граф денег не жалел. Сворочаев с молодым Ковалевым отправился в Польшу, объезжая фольварк за фольварком, ища родственников Юзефа Ковалевского. Искомое находится, когда его ищут люди, которым хорошо платят, если заказчик полон нетерпения, а продавцы сведений и документов бедны и чванливы. Нищим шляхтичам было лестно оказаться в родстве с будущей графиней Шереметевой...

И вот бумаги в руках графа. Сияющий помолодевший бросился он в ее опочивальню. Параша с тоской подняла на него запавшие глаза.

Граф протянул ей старинную миниатюру, на которой был изображен пан с узким и холеным лицом в кунтуше, обшитом дорогим мехом. Овальная рамка этого портрета была золотой, усыпанная бриллиантами.

— Носи, панна Ковалевская!

Голос его рвался.

Ресницы Параши не шевелились.

— Твой достойный предок — пан Ковалевский из-под Кракова...

Она смотрела на него неотрывно. Лицо оставалось безрадостным. Он смутился и сделал галантный поклон.

— Прошу руки панны...

Он не знал, чего ждал. Вскрика, смеха, поцелуя?! Он никому еще не делал предложений, хоть и сватали ему даже сиятельных особ. Он мог жениться во

Франции на племяннице графа д'Артуа, а в России предложил ему свою родственницу князь Потемкин...

Параша долго рассматривала миниатюру, грустная улыбка шевельнула бескровные губы.

— К чему вам этакое беспокойство?

Граф почувствовал себя жалким, «Крез младший» лишился дара речи под взглядом этих горьких и всепрощающих глаз.

— Я уже получил разрешение митрополита Платона...

— Венчание будет тайным?

Он кивнул, краснея, не решаясь выдержать ее взгляд.

— Венчаться будем в церкви Симеона Столпника на Поварской, — решительно сказал он, точно оставался все еще ее барином. — Завтра Аргунов начнет рисовать портрет графини Шереметевой.

— А если опала?

Даже сейчас она думала о нем, своя жизнь ее не трогала. И снова стала умолять отпустить актеров и актрис на волю. Она уже не один раз за них просила, узнав, что никогда больше не сможет петь, что театр распущен навсегда. Он был поражен, рассержен. Мало они ей портили крови, шипели, завидовали, злорадствовали, недостойные холопы и холопки, пьянствующие от его щедрот?! И вот теперь, став узаконенной дворянкой, она продолжает думать о недостойных?!

Граф отказал, он повелел некоторых крепостных актеров отправить в оброк, других взять в дворовые. Ей, в виде подарка, позволил выбрать к себе в услужение нескольких актрис комнатными девицами. Она приблизила Гранатову — верную Таню Шлыкову и Анну Изумрудову, но не горничными — подругами и сказала, что воля им обещана графом, по завещанию.

Параша теперь играла на гитаре, они пели, оплакивая загубленную молодость, а ей было стыдно за него, не понявшего, какое зло сделал, сначала дав людям испытать от чаши искусства, а потом небрежно ее разбив.

Даже перед свадьбой не выполнил он ее просьбу. Ни одну душу не отпустил на волю, не подозревая, какое она чувствовала за него унижение.

Граф Шереметев женился на своей бывшей крепостной Прасковье Ивановне Ковалевой-Жемчуговой, став-



шей ныне Ковалевской, не известив родственников, высшее общество, императорскую фамилию. Параша была единственной женщиной, которая не стремилась стать сийательной графиней и совершила этот поступок не ради себя, а для его покоя и чистой совести.

В цыганских хорах зазвенела новая «Величальная».

У Успенского собора  
В большой колокол звенят,  
Нашу милую Парашу  
Венчать с барином хотят...

Граф не объявлял и потом о своем браке, хотя начал передавать приветы от Прасковьи Ивановны наиболее доверенным лицам. Гостей не собирал, даже официально еще платил бывшей певице жалованье. А когда она расшила золотом десять ливрей официантам, повелел выдать ей за каждую по двести рублей.

Шереметев распорядился переоборудовать дом на Фонтанке. Заново золотили гербы на воротах, чернили решетки. Дворец расширили. Особенно нарядными стали апартаменты графини. Ему все казалось, что она поправится, запоет и вновь вернется его молодость.

Но свадьба не прибавила ей здоровья, особенно когда она оказалась наконец в тягостях. Он так и не узнал, что она была уверена: умрет сразу за рождением ребенка, сына. Тане верной сказывала и брала с нее слово — не оставить невинного сироту...

И хоть граф как будто ожил — не ходил, бегом проносился по анфиладе комнат, ликом посветлел, в душе почему-то начали звучать странные слова: «И остались мгновенья считанные...»

В те поры Параша много вышивала и однажды задумала сделать мужу подарок, невянувший, не выгорающий: на его любимый экран, перед которым часто он сживал в опочивальне, прикрывая им жаркий камин, особой работы вышивку — бисером в прикреп\*. Картон для работы ей нарисовал Аргунов по ее задумке. В центре картины — вид Останкинского дворца, а по двум верхним углам — два портрета в овалах. Графа Шереметева, высокомерного, в придворном мундире и андреевской ленте. И новой графини — в костюме Элианы. А поверху решила она вышить золотую ленту со словами молитвы, столь часто ею повторяемой: «Наказуя наказа мя господи, смерти же не предаде...»

---

\* Техника работы по бисеру XVIII века.

Работала она с тоской, надежды на чудо, на здоровье совсем не имела, но вышивка получалась яркой, похожей на мозаику, только лица казались мертвыми. И тогда она решила вшить в экран нитку бриллиантов, полученных от графа к свадьбе. Драгоценные камни засверкали на шлеме Элианы, на щите, на запястьях, от камней заблестели глаза в портретах графа и ее, точно живые.

Он об этом не знал, прятала она работу, как приходил, повелела, чтобы Таня Шлыкова отдала Николаю Петровичу Шереметеву сию работу, с такою любовью задуманную, когда сомкнутся ее веки, замрет дыхание и он будет особенно безутешен...

Она гнала дурные мысли, дурные сны, мечтала дать наследника здорового, сильного. Искупить бы невольную вину. Ей казалось, что судьба графа не сложилась из-за нее: не встретил любезной себе среди ровни, запятнал фамилию, многократно прославленную в России.

На южной стороне в правом флигеле Фонтанного помещалась ее спальня и предспальня, окнами в сад. Низ стен загородили панелями, выше устелили бумажными новомодными обоями. Только потолки оставили расписными, как в старину. Через турецкую комнату и «фонарик», обитый красным сукном, граф мог проходить к Прасковье Ивановне, а когда на Петербург пал летний зной силы невиданной, велел построить напротив окон Параши деревянный домик-беседку с двухцветной залой и голубой спальней.

«И остались мгновенья считанные...»

Он ничем не мог заглушить страшные слова. Они гремели в его ушах во сне и наяву. Таился от нее, улыбался, строил планы, но каждый час с ней ценил, как скупец, вздрагивая, видя ее задумчивое лицо, замечая, что таяла, гасла Параша...

Виолончель он забросил, запретил думать о музыке, но, когда осенью Параша иногда наигрывала на гитаре, шевеля губами, у него возникало странное чувство, точно он слышит ее голос, ее песни...

Она улыбалась глазами, а он рассказывал, что отец ее записан в купеческое сословие, брат совсем опоялчился. Граф строил великие планы — отпраздновать угаенную свадьбу вместе с крестинами, перестроить дворец, создать новую картинную галерею, даже приглашал для беседы Кваренги, который очень благоговел перед Прасковьей Ивановной...

Граф не замечал, как подурнела жена его. Для него материнство сделало ее еще желанней. Он повелел Аргунову написать ее портрет перед самым сроком, за несколько недель до родов.

Странный портрет. Обтянутое пожелтевшее лицо, маленькое, с кулачок. Плотный чепец, закрывший ее прекрасные вьющиеся волосы. Полосатое, красное с белым, платье выделяло большой живот. Поза напряженная, точно ей трудно стоять на ногах. А взгляд пристальный, безрадостный, сосредоточенный.

Все чаще вспоминался ей князь Таврический. Огромный, как циклоп, неряшливый, равнодушный и к миру и к себе, он точно звал ее за собой во сне, говорил, что все блага мира — суета сует. Он их имел, алкал, жаждал, а потом изнемог под бременем даров, вырванных у судьбы и царицы в неустанных трудах. И понял в последний миг, что ничего человеку не нужно, только бы лежать на волюшке в степи, под бесконечным бархатным небом, чувствовать поглаживание лунных крыльев, которые равнодушно прощались с самым неукротимым и горделивым из персон Российской империи.

В такие минуты она роняла руки на свою вышивку, бисер таял перед глазами, и ей казалось, что прожиты не годы, а столетия и все пережитое разматывается, тянется за ней, как бескрайняя лента...

На графа смотрели теперь новые беспощадные глаза уходящей, но его она жалела, видела все слабости, пороки и прозревала, что лучшие годы Шереметева прошли с ней...

Николай Петрович стал ниже, волосы заснежились. Ничего не осталось от того ферлакура парижского, которым в бытность девчонкой потряслась на всю жизнь, полюбила превыше своей души. Теперь он часто плакал, глаза легко краснели. Он становился неуверенным и спрашивал у нее совета, отбывая ко двору, о своих костюмах, прическе. Интересовало его и мнение Параши о новой книге, а когда выспрашивал ее, не читая оной, писал знакомцам как свое мнение, с ее слов...

Иногда ей хотелось по-матерински прижать его к себе, побаюкать, как ту куклу, свернутую из косынки, которая была в ее тонких руках, когда они впервые увиделись. Но она стыдилась суетных желаний. И только изредка касалась кончиками пальцев его поредевших,



мягких как пух волос, когда он целовал ее худые синеватые руки.

Она почти не молилась теперь. Тихо прислушивалась к тому, что происходило в ней самой, да смотрела па цветы, картины. Молитва баюкалась в ней, как ребенок. И не понимала иногда, кому молится. Богу или ему, не родившемуся...

«И остались мгновенья считанные...»

В то лето поступило графу огорчение от архитектора Миронова. Сын повара фельдмаршала Шереметева, его деда, с согласия барина учился в Московском университете, потом преподавал в школе Кускова, решив стать архитектором. Проекты его были не похожи на иноземные, граф отказался по ним переделывать Кусково, позволил Миронову только помогать «настоящему» мастеру. Миронов, человек самомнительный\*, осерчал, заупрямился, а как называли Прасковью Ивановну «внукой польской» — решил проситься на волю, ссылаясь тоже на польское происхождение. Суеверия ради Шереметев повелел проверить его притязания по документам, когда же все оказалось сном и сказкой, пообещал его отпустить на волю после своей смерти. А дотоле приказал управляющему покричать на безумца, но телесно не наказывать, дать прибавку жалованья и вольную его сыну...

Параша не вмешивалась, щадила себя от ненужных волнений. Все равно помочь не могла. Его сиятельный лик стал бы далек и недоступен, он заговорил бы высоким голосом, в нос, точно с бывшей крепостной, а не женой... Но и эта царапина легла на незаживавшие раны памяти, только мысленно просила она прощения у несчастливца...

Прослушав возмущение графа неблагодарностью Миронова, сказала, двигаясь все тише, осторожней:

— Ты добрый...

Но он не понял ее истинной интонации...

И вот свершилось! Прасковья Ивановна Шереметева, «урожденная Ковалевская», принесла графу наследника, богатыря орущего.

Граф боялся, что у него остановится сердце, пока шла суетня в покоях графини. Он ловил любой звук,

---

\* Жаргон XVIII века.

самую малость, но Параша, в кровь искусав губы, не кричала. Она верила, что криком призовет к себе нечистую силу, а терпением — божье благословение и сочувствие богородицы, что родила дитя на благо людям...

Николай Петрович воспарил духом, представляя горе родственников, нацеленных на его наследство. Их чаяния растаяли, как туман от утреннего солнца. Но, боясь злобы и проклятий для сына долгожданного, стал думать, чем кого наградить, чтоб подсластить горечь сей пилюли...

Он хотел бежать к своей несравненной графинюшке посоветоваться, он привык во всем на нее полагаться, добрую и щедрую, но доктора не возвеселили. А он уже поверил, что судьба повернула к нему лик благосклонный, что поправится скоро его соловушка и станет сыну напевать колыбельную...

А она горела, металась, тосковала, страстно моля показать сына. Врачи опасались родильной горячки, чахотки, и тогда Таня тайком принесла спеленутого ребенка, не переступая порога опочивальни. Дмитрий Николаевич морщил красное сонное личико и не открывал глаз под горячим горестным взглядом матери.

Через десять дней Прасковья Ивановна пожертвовала церкви драгоценную золотую цепь ценой в двенадцать тысяч, моля о выздоровлении. Семейная была цепь, фельдмаршалу жалованная императором Петром Великим. Граф подарил Параше, когда она зачала...

Ничего не помогало. Считанных мгновений уже не оставалось.

Прасковья Ивановна Шереметева, умирая, просила в последние минуты Таню Шлыкову беречь дитя и мужа. Она подарила ей прядь своих волос, которую та до смерти носила в заветном кольце Параша.

Морозы стояли крещенские, граф обезумел от горя, дни и ночи диктуя множество писем — к императору, императрице, друзьям, родственникам. Почти одинаковый текст, менялось только обращение.

«Вы посочувствуете моей утрате», «во имя дружбы», «эта утрата очень чувствительна, так как я теряю в ней нежного друга, верную спутницу, которая всю жизнь посвятила тому, чтобы сделать меня счастливым...», «Вы прольете немало слез по той, которая не успела дать себя узнать, тем не менее испытывала к Вам симпатии после тех доказательств дружбы, которые Вы проявляли...»

И снова, что она была «нежная подруга, редкая супруга, верная спутница», и снова — о слезах, отчаянье, пустоте подступающей жизни.

На письме сестре он сделал приписку под рукой секретаря: «Пожалей обо мне. Истинно я вне себя. Потеря моя непомерная. Потерял достойнейшую жену... в покойной графине Прасковье Ивановне имел почтения достойную подругу и товарища. Кончу горестную речь...»

Единственному другу своему, Самарину, тоже добавил в письме: «Зная, как вы любили покойную жену мою, то долгом почитаю уведомить вас о совершенном моем несчастье. Пожалейте, я истинно все потерял...»

Более сотни извещений, писем, посланий.

Но за гробом великой, хотя и почти не известной народу певицы шли только дворовые и архитектор Кваренги. Сам граф не попал на похороны и панихиду, лежал в бесчувствии.

В церкви святого Лазаря в лавре он приказал сделать такую надпись:

«Здесь предано земле тело графини Прасковьи Ивановны Шереметевой, рожденной от фамилии польских шляхтичей Ковалевских. Родилась 1768-го июня 20-го, в супружество вступила в 1801-м ноября 6-го в Москве, скончалась в Петербурге 1803 года февраля 23-го в 3-м часу полудня».

Ниже шли его стихи:

Не пышный мрамор сей, нечувственный и бренный,  
Супруги, матери скрывает прах бесценный;  
Храм добродетели душа ее была.  
Мир благочестия и вера в ней жила.  
В ней чистая любовь, в ней дружба обитала...

Обручальное кольцо Параши граф Шереметев повесил на свой крест и повелел с ним себя похоронить. Волосы ее были заключены в серебряный ковчежец. С надписью: «И де же дух мой, ту да будут кости мои».

...Император принял благосклонно покаянные письма графа Шереметева. Права наследника были бесспорными, высочайше утвержденными. Оставалось растить его без матери. Николай Петрович, панически боясь за ребенка, приказал на его половину никого не пускать. Повелел охранять Дмитрия своему старому камердинеру Николаю Никитичу Бему. Старик отвечал за внутренний порядок комнат. Входить разрешалось по билету от самого графа. Двери были под замком, и каждодневно барин получал по два раза полные доклады обо всем,



что происходило на половине наследника. При ребенке жил подлекарь, который не смел спать, когда младенец засыпал.

Постепенно граф оправился. Появлялся в гостиных. Встречался со светскими знакомыми. Приблизил к себе развязную Елену Казакову, крепостную, бывшую танцовщицу, названную няней молодого графа. Высокая, крупная, золотоволосая, она была жадна до всего, что можно вырвать у жизни и барина. Елена родила ему двух детей.

Полуграмотная женщина с восторгом передавала больному графу сплетни, умела стравливать недругов и завистников. Она разжигала гневливость Николая Петровича. С момента воцарения в спальне Шереметева Елены Казаковой стали применяться телесные наказания.

Анна Изумрудова вышла замуж за доктора Лахмана и получила щедрое приданое, а Таня Шлыкова оставалась при графе до самой его смерти. Ей он поручил ключи от всех шкафов и малолетнего сына. А ключ от шкапулки с драгоценностями — старому Аргунову. Верным — самое ценное.

Казалось, что Николай Петрович преодолел страсть к Параше, предался отвлечению устало и бездумно, но это было миражем. Опустошение терзало его горше болезни. Проза жизни воцарилась бесстыдно, поэзия исчезла, искусство перестало радовать, дни ползли жалкие, пустые...

После смерти графини он никогда больше не прикасался к виолончели, не посещал концерты, не слушал пения. Музыка умолкла для него навсегда.

А в саду Фонтанного дома он поставил памятник жене в виде каменного жертвенника с двумя медными досками. На одной — текст по-русски:

«На сем месте семейно провождали время в тишине и спокойствии. Здесь с правой стороны клен, а с левой две вербы с привешенными значками посажены графиней Прасковьей Ивановной Шереметевой в 1800 году».

На французском — звучат стихи:

Мне мнится: призрак нежный твой  
На этом месте тихо бродит.  
Я ближе подхожу! Но образ дорогой,  
Меня ввергая в скорбь, навеки вдаль уходит...

Графа перестала интересовать жизнь общества, двора. Только сын и строительство Странноприимного дома. Все время уходило на переговоры с архитекторами, строителями, купцами-поставщиками. Утешал лишь Алексей Малиновский, взявший на себя главное смотрение за всеми делами в память о Прасковье Ивановне. Он тоже был ее почитателем.

Боялся граф, как бы из сына не сделали барышню, много было баловства и потатчиков. Капризы ребенка раболепно удовлетворяли. И однажды Николай Петрович собственноручно запер наследника в комнате одного, сказав, что не выпустит, пока не перестанет вопить.

Таня Шлыкова залилась слезами. Там же маленький человечек, совсем маленький, но граф ее прогнал, побелев от бешенства. Потом подарил шаль турецкую, посетовав на бабьи потачки. Он все чаще вспоминал отца и его ненавязчивую заботу. Больше всего он любил лежать днем в запертых комнатах Параши, «заветных покоях», и подолгу вспоминал счастливые дни уплывающей жизни.

Помнилось только то, что было при ней, с ней, остальное точно инеем покрыто. Не оживал в памяти ни Лейден, ни Париж, ни Италия. А цвет бантиков в ее смешных косичках, когда он впервые ее увидел, не растаяли, веселые, как и ее улыбка.

Покоем здесь веяло, любой шорох, скрип будил дрожь в сердце, горько-сладкую, точно она ушла на секунду. И платья ее висели, сохраняя очертания тела. Он иногда, воровато оглянувшись, становился на колени и дышал ими, краснея от сладостного и суеверного чувства, а вдруг она где-то здесь, живая и горячая...

К Тане Шлыковой у него было отношение удивительное, он признавал ее за ровню, настоящего друга, одна она умеряла его гневливость, даже наказывал ей присутствовать при докладах управителей, чтоб вовремя его охолонуть.

Ей он подарил не только вольную, но дал несколько крепостных в услужение, карету с парой лошадей. В ее комнатах в Фонтанном доме разрешил поставить любимые вещи из Кускова. Выращивала она и цветы. Все было маленьким, под стать росту Татьяны Васильевны. Граф иногда заходил в гости, почаевничать, поговорить с сыне, боялся он за его здоровье... Заранее пригласил умного гувернера Симонена, который одновременно был у него библиотекарем и описателем его коллекций.

Смешной француз страстно любил старинные монеты и часто бродил по толкучке, покупая графу задешево редкости. Тане он сделал предложение. Она посмеялась, прикрыв губы ладошкой, уж больно он походил на жука, потом всплакнула и объявила, что дала обет подруге не бросать ее малолетнего сына.

Императором было приказано выпустить медаль с портретом Шереметева. Золотую. На одной стороне — портрет Николая Петровича, на другой — добродетель с пальмовой веткой перед Странноприимным домом, зовет в него бедных и больных. Надпись — «Милосердие». Внизу слова — «От правительствующего Сената 1804 года». Граф мечтал увидеть на медали портрет Парашы Жемчуговой. Ему пояснили, что император будет недоволен.

Медаль выполняли так долго, что ее получил только их сын Дмитрий.

Мечтал Николай Петрович открыть Странноприимный дом в день поминовения Прасковьи Ивановны, но по воле императора перенесли открытие на 28 июня 1810 года. Он не дожил, но велел: «Если не доживу, то наследник мой обязан в точности сие вместо меня исполнить...»

Граф Шереметев пожертвовал 8 миллионов рублей, 8500 душ, 500 тысяч первоначального капитала, не считая земли. Благотворительность такого масштаба потрясла современников.

28 июня 1810 года, в день рождения покойного графа, состоялась торжественная панихида по графу Шереметеву и его жене при открытии Странноприимного дома. Пригласили более 1000 человек.

За сто лет до этого, 27 июня 1709 года, его дед фельдмаршал Борис Петрович Шереметев командовал Полтавской битвой. Народ чтит этот день, но теперь не меньше восхищения вызывал поступок внука.

Устав был так тщательно разработан Парашей, что почти сто лет существовал без изменений. Итоги деятельности Странноприимного дома за сто лет, подведенные в 1910 году, внушительны.

В отделении для приходящих отмечено 1858 502 посещений больными.

На койках оказана помощь 84 194 больным.

Медкасса оказала пособие 10 186 бедным.



Богадельных людей находилось — 16 608 человек.

Невест — 3021 получили приданое в сумме 270 440 рублей.

Ремесленники получили помощь — 13 505 человек на сумму 934 852 рубля.

На библиотеку ушло 9 тысяч рублей. Всего оказана помощь 200 000 людей.

И все это было придумано крепостной певицей, нашедшей способ успокоить самолюбие графа Шереметева, оставить его имя в памяти русской и оказать истинную помощь, без пустых слов и нравоучений, множеству несчастных. Это и было завещание Прасковьи Ивановны Ковалевой-Жемчуговой.

Несправедлива судьба. Иметь великий дар певицы — и отгореть почти безвестной. Завоевать великую любовь — и потерять жизнь в момент триумфа. Задумать и осуществить грандиозное для женщины XVIII века дело — и получить в награду забвение потомства.

А ведь ничто доброе, истинно благородное и великое не должно исчезать из памяти нашего народа...

Лужина приехала рано утром. Еще не рассвело. Я не спешила в школу. У меня был свободный день. Показалось, что она не спала несколько ночей. Лицо опухшее, под глазами кожа отвисла, губы без помады точно выцвели. Сейчас Лужину никто бы не назвал красавицей, какой она выглядела десять лет назад.

Она еле держалась на ногах, привалившись к стене возле входной двери. Я провела Лужину в комнату, предложила раздеться, но она меня не слышала. Только расстегнула короткую дубленку и сбросила платок с головы. Не садясь, она торопливо достала из большой сумки стопку разнокалиберной бумаги, исписанной с обеих сторон.

— Вот передайте!

— Кому?

— Стрепетову. Он давно под меня копал, порадует. Тут вся правда, так и скажите... Устала я, как пуганая ворона кустов бояться...

— Советую тебе самой это сделать. Но почему же ты раньше молчала?

Лужина резко бросилась в кресло.

— В моей шкуре вы не бегали...

Некрашенные губы Лужиной опустились скобкой вниз.

— Мне много не дадут, у меня шестой месяц беременности... Да и что я опять сделала?! Сказала, что у Ланщикова аллергия на аспирин?! Он у меня как-то принял, я в молоке развела, от простуды, так чуть не умер...

— Кому сказала?

— И знать не знала, что он ему в коньяк аспирин всыплет.

Ее слова лились, как вода из водопроводного крана. Легко, безостановочно.

— И слава богу, что его взяли. Он бы и со мной посчитался...

— Кого взяли?

— Ну, Лисицына. Его арестовали сразу после смерти Ланщикова.

Я почувствовала растерянность.

— А что он с Ланщиковым не поделил?

— Деньги. Жадный, как паук, даже в школе никогда ни копейки не давал на общественные дела.

— Но он так подчинялся Ланщикову в классе...

— Пока его отец жил, он был на подхвате, а как Ланщиков остался на бобах из-за мамочки — задрал перед ним нос. Как же — великий парикмахер, деньги после каждой смены из карманов швырял дома на стол, вроде не считая, а помнил до копейки...

Отзвук давней зависти, восхищения мелькнул в ее тоне, но лицо оставалось неподвижным, усталым.

— Три года назад Лисица задурил Ланщикову голову, уговорил продать подвески от медальона, бумаги, большие капиталы пообещал. Дал задаток, остальное не успел, того арестовали. А как Ланщиков вернулся — отперся от долга, пригрозил, что в милицию сообщит.

Лужина усмехнулась.

— Ну, Ланщиков ко мне и пристал. Просил, чтобы я подтвердила, что подвески он взял.

— И ты сказала об этом Лисицыну?

— «Любовь — книга золотая»... — Голос ее стал мечтательным. — Помните, в школе проходили Алексея Толстого, мой любимый писатель...

На секунду я решила, что она меня разыгрывает, но тут же Лужина продолжила четко, жестко:

— Не думала я, что Лисица пойдет на убийство. А после кафе испугалась. Я — единственный свидетель, они у меня медальон Потемкина курочили, да и про аллергию Ланщикова я знала... И беременна от Лисицына...

Она тяжело вздохнула.

Я отчетливо вспомнила, как три года назад Ланщиков в кабинете следователя отрицал, что на медальоне были подвески.

— Влезла я в его дела по глупости, — продолжала Лужина, — потом — от жадности, а дальше — коготок увяз...

Она сидела, подставив солнцу поблекшее лицо с желтыми пятнами.

— И красивый он, и легкий, а только злой, как таранул. Хоть шута и разыгрывал когда-то. А думал, как бы больнее укусить, потихоньку.

Лужина посмотрела на часы.

— Пора. Я тут все написала о Лисицыне. Раньше в милиции я отмалчивалась, боялась его, а теперь, раз арестовали, не выкрутится. И его клиентки не помогут.

— Так его ненавидишь?

— А вы бы простили парня, когда, погуляв пять лет, он бы вам сказал: «Адью, у меня новая невеста, мы больше не знакомы, разойдемся по-доброму, как в море корабли»?!

И все-таки мне не верилось, что Лужина только из ревности решила рассказать о Лисицыне. Есть натуры, которым таланта любви отпущено меньше нормы. Эту мини-норму она исчерпала давно, еще в школе. И больше никого не любила, кроме себя. И вдруг я спросила, чисто импульсивно:

— А как ты познакомилась с потомком Шереметевых?

— Значит, вы знали о нем? Почему же молчали? Его привел в наш магазин Парамонов-старший. Старик принес барельеф. На подонка не похож... Сказал, что дома много хлама, а ему не нужно ничего, что волнует память. Каков он был? Добрый был, но не в себе. Говорит-говорит и вдруг задумается — и все, точно не здесь, не с вами... Ямку я запомнила на подбородке, вроде шрама, и глаза пыльные, в красных веках, без ресниц.

— И ты пошла к нему домой?



— Как товаровед. У него мать была из Шереметевых. Бывший художник... Разные люди к нему ходили, не одна я. И Маруся и Ланщиков. Они подружились... Кажется, он начал его рассказы записывать...

— Продажа антиквариата шла через магазин? Лужина усмехнулась.

— Частично. У нас есть постоянная клиентура. Виталий Павлович далеко не все оформляет по квитанции. Старик и подарил мне эту проклятую вышивку. Подарил. Подарил, так и знайте!

Она почти кричала, читая на моем лице недоверие.

— Старика тоже убили?

— Да нет, зачем же, своей смертью... Старый он был, по жене тосковал, она его бросила...

Меня зазнобило.

— Вот вы не верите, а он мне вправду подарил вышивку. В благодарность. Он начал к нам в магазин таскаться, а потом я его раз на улице встретила, такой замерзший, жалкий. Недалеко от моего дома. Я к себе позвала, чаем напоила. Потом носки дала, толстые, деревенской вязки. И рыбу с собой ему всунула, настоящий рыбец копченый. Лисицын из Ростова привез. Он только повторял: «Добрая, до чего ты, душа, добрая...» А через месяц притащил эту вышивку. Я Марусе отдала...

— Бесплатно?

— Может, я и стерва, но не дура, она деньгами могла кухню оклеить...

— Но ведь она только ковры скупала?

— А потом втемяшилось: вышивки бисером благороднее, солиднее...

— Ты эту вышивку не разглядывала?

— То-то и есть, что сглупила. Раз подарил за так, я и решила — вещь вшивенькая. — Лицо ее исказилось... Она мучительно страдала от мысли, что упустила свое «счастье».

Я начала теперь понимать все нелепые стечения обстоятельств.

— Маруся похвасталась Лисицыну, мол, там, за границей... миллион долларов можно отхватить за такую вещь... Нашла с кем откровенничать!

— Параша вшила туда несколько настоящих бриллиантов...

— С чего вы решили?

— Я читала воспоминания об этом...

Лужина аккуратно собрала свои бумажки и тяжело пошла к двери. На пороге обернулась, посмотрела многозначительно.

— Я ничего не говорила, вы — не слышали...

— Пойди к Олегу, — сказала я, но Лужина сверкнула глазами:

— Как же, так и разбежалась.

Ее душа показалась мне пустым дуплом, затянутым паутиной.

Несколько лет назад мне позвонила дама по имени Анна.

— Можно Марину Владимировну? Ах, это вы, чрезвычайно приятно! Мне любезно дала ваш телефон прекрасная Галатея...

— Кто-кто?

— Ах, вы не в курсе?! Так называют Вику Лужину реставраторы. Понимаете, я слышала, что у вас есть одна вещь, остро мне нужная...

— Ничего не понимаю.

— Да, разговор не для телефона... Если бы вы разрешили к вам подъехать...

Гостья приехала через час. Очень высокая, с маленькой, коротко стриженной головкой, маленькие бегающие глазки, круглое лицо, тонкий рот. Потопталась в передней, цепко и жадно огляделась.

Походила по моей комнате, прощупывая глазами и мебель и стены. Потом остановилась возле простой горки, без всяких завитушек, единственной семейной вещи, «память о прошлом, с приветом от любимой бабушки», как выражался Сергей.

— Мне нужна эта горка, — сказала дама напористо. — Продайте!

— Мы ничего не продаем! — Я обрадовалась, что Сергей не вышел из своей комнаты и не слышал ее голоса, он мог невоспитанно выставить ее за дверь.

— Все, что имеет цену, милочка, продается. Даю триста...

— Не просите...

— Нет-нет, погодите, триста я даю за горку, а за реставрацию, которую вы сделали, отдельно. Итого — пятьсот, идет?

Кажется, пора было звать Сергея.

— Если вас не устраивает цена, назовите свою. Можно же найти золотую середину.

Я предложила ей сесть, чтобы она успокоилась, у нее так бегали глаза, что я испугалась...

— Если честно — горка не вашего ранга. Остальные вещи у вас примитивные.

Она улыбалась, говорила напевно, как народные сказительницы, не давая мне секундной передышки.

— У вас нет фарфора, стекла коллекционного, у вас в ней стоят книги. Это кошунство!

— Ну и что?

— Я пять лет ищу такую. У меня и простенок по ней. Ну, называйте вашу цену...

— Хотите чаю? — Я постаралась увести ее на кухню, решив отвлечь от навязчивой идеи.

Но вечером мне позвонила Лужина и укоризненно сказала, что я не ценю ее доброго отношения. Анна оказалась очень важной дамой, которая не стояла за ценой, если вещь ей нравилась.

На этом странное знакомство не оборвалось. Анна начала мне звонить, приглашать на выставки, в театр, рассказывала, что оплачивает услуги искусствоведов, ничего без них не покупая. Вещи мелькали в ее квартире со скоростью ящериц. Ей все доставляло наслаждение: и процесс покупки с обязательной торговлей, и процесс продажи после реставрации, и обсуждение, разрабатывание планов по обстановке гостиной или кабинета.

Она не работала, пестуя позднего сына, «по часам» кормила болезненного мужа, но главной ее страстью был антиквариат. Анна жила, точно в объятиях спрута, опутанная сложными отношениями с Виталием Павловичем, с Лужиной и десятком других, которых она то осуждала горячо, страстно, то хвалила с тем же пылом, в зависимости от того, нужны ли ей люди эти в данный момент. Пока оказывались полезными, она обволакивала вниманием, а когда необходимость иссякала, забывала о их существовании. Могла позвонить по телефону, назначить встречу и не явиться. Исчезнув на месяцы.

Эта страсть иссушала Анну. Она казалась всегда голодной, не имея порой и трех рублей в кармане. Анна все время выкручивалась, занимая, отдавая, продавая...

И хотя продавала постоянно вещи дороже цены, по которой их купила, главным была не жадность, а азарт, риск, авантюра. В этом кружении и состояла для нее настоящая полноценная жизнь.



Анна с гордостью рассказала, что муж ее — самородок, из сибирской деревни, умеет с детства ковать лошадей и к ее страсти относится с некоторым все же пониманием. Еще его дед в 1918 году приволок из барской усадьбы, которую сожгли крестьяне, большую вазу.

— Сохранилась?

— В туалете. Обычный модерн, а продать Петя не дает — семейная реликвия.

У них было множество книг, но больше всего она увлекалась альбомами «из богатой жизни». И, листая старые журналы с видами усадеб и интерьеров, стонала:

— Господи, хоть денек так пожить, в чистоте, покое, тишине...

Этого у нее быть не могло. В квартире вечно шла рестаурация, работали посторонние люди, которых ей приходилось поить, кормить и ублажать подарками.

Ее утренний звонок был после многомесячного перерыва, но певучий голос остался таким же милым.

— Марина Владимировна, вас вышивки интересуют?

Я не сразу ей ответила.

— Вышивки, какие вышивки?

— Большая бисерная вышивка... Представляете, по случаю купила, но мне некуда вешать, у меня все стены в картинах и гравюрах...

— Я уже давно ничего не покупаю...

— Нет-нет, не за деньги, мы могли бы, наконец, поменяться на вашу семейную горку...

— А что изображено на вышивке?

— Портреты мужчины и женщины, сзади дворец...

— Вышивка краденая... — Голос мой осел.

— Исключено! Это у моего парикмахера, он свой человек. У него даже есть дарственная. Была такая смешная толстуха Серегина, она недавно умерла. Он потребовал, чтобы Серегина у нотариуса заверила дарственную на эту вышивку. Я купила две недели назад. Алло, алло, вы меня слышите? Нас не разъединили?

А я ничего не могла ей ответить, судорожно вспоминавшая телефон Стрепетова.

Утром я пошла в химчистку. Уроки были с 12 часов. Я торопилась сделать уйму хозяйственных дел. К вечеру силы мои таяли, как весенние сугробы.

Кто-то потянул меня за рукав. Оглянулась — Серегин, в огромной лисьей ушанке.

Я внимательно посмотрела на Мишу. Глаза воспаленные, в руках неизменный транзистор.

— Скажите честно, у меня есть шанс?

Взгляд его блуждал.

— Какой шанс?

— Она вам ничего не говорила?

— А если по порядку?

Серегин кивнул.

— Она мне нужна.

— Нам с отцом тоже.

— Мамка говорила, что мы — не пара, вы не позволите нам жениться...

Эта сцена на улице стала меня раздражать. Я предложила зайти в кафе. Мы заказали кофе, мороженое, здесь он держался вполне нормально.

— Тебя Анюта любит? — спросила я.

— Нет.

— Она что-то обещала?

— Нет.

— Так что я могу сделать?

— Уговорить ее.

Я хотела его отвлечь, мне показалось, что Анюта стала у него навязчивой идеей.

— Деньги у меня есть, хватит до конца института, можете не сомневаться, и более ценное, чем деньги, я ей показывал...

Наступило молчание. Я тупо смотрела на плохо вытертый пластмассовый стол небесно-голубого цвета.

— Бриллианты остались в твоей квартире, — сказала я без всякого выражения, точно была в курсе всего...

— Проболталась?!

— Кто?

— А ведь поклялась, вашим здоровьем поклялась, я ее за невесту считал...

Моя дочь в своем репертуаре. Даже вида мне не подавала.

— Ты показывал Анюте камни?

— Примеряла.

Ничего себе развлечение! Бриллианты на моей дочери меня окончательно разозлили.

— Я один камешек после мамкиной смерти ювелиру отнес, ну, нашему... Так старикан даже посинел, сразу отвалил три тысячи, предложил все купить за большие деньги...

Да, моя дочь стоически держала слово. Тем более — клятва моим здоровьем!

— Когда Митька принес вышивку, мамка ее на ковер наколола. Перед своим креслом. Любовалась, а потом и говорит: «Тут какие-то стекляшки кто-то приспособил, они все уродуют». Взяла ножницы, отпорол и велела мне выкинуть быстрее, чтоб не обрезался. А я стекляшкой провел по стене в кухне, возле мусоропровода. Смотрю — миллиметра три глубина. По бетону, представляете?! Тут и дошло, что это за стекляшки...

Я начала цитировать наизусть, из описи завещания графа Шереметева:

— 4 бриллианта шестикаратных — одна тысяча двести рублей, — 1 бриллиант четырехугольный — две тысячи рублей, четырехугольный камень в рамке — поля золотые, кованные, вокруг зеленая финифть с бриллиантовой осыпкой... Так?

Серегин смотрел на меня с ужасом.

— Я Анюте этот камень не показывал. Как вы о нем узнали?

— Из книг.

Он нервно закурил.

— Если бы мамка своему Лисицыну не трепанулась о вышивке, до сих пор бы чирикала. Он наверняка нашу вышивку унес, отобрал, а она разволновалась.

Он курил с остервенением, затягиваясь и жуя сигарету. Да, хвастать Маруся любила безмерно. Она самоутверждалась, когда у нее появлялась ценная редкость. Красавчик Лисицын никогда бы на ней не женился. Вот она и решила сказать Лисицыну о вышивке. До чего просто! Я видела его на уроках, любовалась прозрачными длинными глазами, выслушивала его ответы — о морали и нравственности литературных героев. И даже не заметила, что души в этом человеке не было.

— Так что мы бы с Анютой жили припеваючи, можете поверить... — вернул меня к действительности Серегин, поглаживая усики. — Я с юристом советовался. В милицию ни о чем сообщать я не был обязан. Лужиной вышивку подарили? Подарили. Она матери отдала? Отдала. За деньги или так — их дело.

— Может, Анята с тобой не хочет дружить из-за бриллиантов?

Он растерянно посмотрел на меня. У него не укладывалось в голове, что дочь могла всерьез отказаться от таких ценностей.



— Я бы и свадьбу справил, человек на сто, всех дружков — из команды, с курса позвал, всем бы показал, какая у меня жена...

Потом Миша решил меня успокоить:

— Нет, я бы дал ей школу кончить, а пока бы машину купил, права у меня давние, еще в школе мамка устроила.

Мне стало страшно. Он ничего не понимал, прислушиваясь только к себе.

— Вот ваша Глинская с Моториным дружит, а он — без всякого образования. А я уже в институте, так что почти с дипломом.

Я поняла, что его подтолкнуло на решительное объяснение с Анютой.

— У нас скоро начнется стажировка перед распределением. Меня пошлют во Францию, понимаете... — Его баритон зазвучал проникновенно-доверительно.

— Боюсь, Анюте с тобой скучно...

Серегин хмыкнул, лицо его стало жестким.

— Значит, не пойдет за меня Анюта?!

Секунду он пристально всматривался в меня, потом махнул рукой.

— Ну и оставайтесь со своей цацей дурацкой...

Я даже не успела шевельнуться. Он убежал не прошившись.

В передней появился злой и смущенный Митя в мятом костюме. Казалось, он спал в нем, не раздеваясь, эти дни.

Сергей увел его в ванную. А когда они вышли, причалась, запыхавшись, Глинская.

— Он у вас? Весь город обзвонила...

Вид Моторина в махровой тоге, из которой торчали голые ноги, был жалок и нелеп. Он явно мечтал провалиться сквозь землю. Антонина осмотрела его и сказала:

— Мужчина? Обычный истерик...

Митя закрыл глаза, щеки его багровели, ее словесные пощечины были весьма увесисты.

— Как бы поступил настоящий мужчина после ссоры в кафе, вместо того, чтобы прятаться неизвестно зачем?

— Я хотел...

— Доказать невиновность было нетрудно...

Антонина его не желала слушать...

— Наконец, если столько лет любишь девушку, можно ей в конце концов признаться? Даже в наш эмансипированный век трудно женить парня, когда он молчит... Но истерик рассуждает алогично, по-бабски. Он решает освободить от себя друзей, любимую, сбежать...

И вдруг, точно отмерив заранее дозировку проработки, она сказала другим тоном:

— Иди одеваться, балда!

Глинская устало откинулась в кресле.

— Мы сегодня же переедем в комнату, которую ему дало домоуправление.

— Ты всерьез обдумала...

Я колебалась, имею ли право на откровенность. Ведь эта девочка придумала Митю и сочиняет вариации на темы самопожертвования. А на сочувствие человеку требуется много душевной энергии и жизненного опыта.

— Митя тебя любит, но он не заполнит твою жизнь. Он будет читать твои книги, ходить в кино, в театры по твоему выбору, даже на выставки и в консерватории. Но сможет только поддакивать либо изрекать прописи, от которых ты начнешь ежиться...

Антонина взмахивала ресницами, глаза то темнели, то светлеи.

— Медицина твоя ему не будет интересна, а духовный вакуум люди его склада... Чем лечат? У него был нервный срыв. Сейчас опять надлом...

Она с вызовом улыбалась.

Антонина была убеждена, что сделает его счастливым. Хотя и собиралась ломать его характер, привычки, вкусы, не понимая, что у мужчин, самых любящих, существует предел долготерпения, дальше которого нередко взрыв и пустота. Она считала, что мужество, упорство — лекарство от многих бед, забывая, что есть характеры, которые несут несчастье сами в себе.

— Мне с ним нянчиться придется, а не ему со мной. Как с ребенком или калекой. Ведь только мы пробуждаем в мужчине человека!

Она говорила медленно, слова подбирала обдуманно. Видимо, не мне отвечала — себе.

— В наш век мужчины живут для себя. Или для карьеры. А я хочу, чтоб хоть один человек на земле жил для меня, благодаря мне. Разве сделать человека счастливым — мало?

— А это возможно?

Она вздохнула.

— Митя ужасно стыдится своих срывов, переживает — значит, он живет, а не существует?!

— «Безумству храбрых поем мы песню!» — сказала я.

— Я буду счастливой! — воскликнула Антонина, на секунду даже меня заразив верой. — А вдруг?! Я не создана для жизни с положительным героем, я сумею быть и снисходительной и сильной, вот увидите!

— Понимаешь, амазонок даже обожествляли, но не обожали: любят кротких, ласковых женщин, а ты так решительна и категорична...

Я замолчала, потому что в комнату вошел выбритый, вымытый до блеска Митя. Даже брюки погладил. В руках был чемодан. Я вдруг вспомнила холод, сжавший мне сердце, когда Моторин рассказал о смерти Ланщикова. Он тогда улыбнулся. Непроизвольно, точно извиняясь, что меня тревожит...

Глинская встала.

— Ну всех благ вам!

Потом добавила:

— Ланщиков собирался пойти с повинной...

— С чего ты взяла?

— Он несколько раз ко мне на работу приезжал.

— Почему ты мне ничего не рассказывала? — подал голос Митя.

— Лучше маленькая ложь, чем большое горе! — заявила Антошка. — Ты бы стал психовать. А он был такой жалкий, все ныл, что Лужина его до какого-то старичка не допускает, потомка исторического.

— Разве он жив? — сорвалось у меня.

— Конечно, Ланщиков даже хотел в милицию заявить, что они с Лисицей его обобрали, что к их рукам исторические ценности прилипли.

— Трепло! — буркнул Митя. — Из-за этого и погиб, Лисицын ему не спустил такой болтовни.

— Стрепетову ты не сказала?

— Всему свое время.

И тут Митя поклонился ей в пояс и сказал странно дурашливо:

— Будя, царевна Несмеяна! Нечего меня пестовать, иди к своему Барсу и его Барсенку...

Антонина опешила.

— Непутевых в девятнадцатом веке спасали, как ты хотела, а теперь на тебя пальцами начнут показывать...



Митя галантно подал ей пальто.

Антонина так растерялась, что молча посмотрела на него и пошла к двери, как во сне...

Митя вздохнул, вытащил сигарету и смял ее в руке.

— Женился бы, как бычок на веревочке, и две жизни поломал...

— Так ты любил ее? — не выдержала я.

Митя усмехнулся, устало и горько.

— Наверное. Но с Антониной нельзя семью строить.

Он смотрел на дверь, которую закрыла за собой беззвучно Глинская, и мне казалось, что с трудом сдерживается, чтобы не броситься вдогонку.

— И командовать слишком любит, а мужчина в семье сам должен все решать... Вот Барсов ей — в самый раз, добрый, ленивый, хоть и эгоист, но на все согласится, чтоб его от жизненных забот освободили...

Митя смотрел на меня снисходительно, точно он был старше. Ничего не оставалось от взрывчатого мальчика, который бросался в любую драку при виде несправедливости, защищая слабого...

В черно-белой кухне Лужиной я увидела Виталия Павловича. Он сидел сгорбившись. Разговор, видимо, шел давний и нелегкий, но он не собирался его прерывать даже при мне.

Детских голосов в квартире не слышалось, только Лужина ходила, как пантера, из угла в угол, тяжело переваливаясь на отечных ногах. Вид у нее был ужасный. Без косметики, неряшлива, стоптанные тапочки, халат в пятнах. Но по глазам Виталия Павловича я видела, что для него она все та же красавица, которая блистала в антикварном магазине.

— Простите, — сказала я, — меня интересует хозяйка вышивки, которую ты передала Серегиной...

— Она очень ценная?

Голос Лужиной стал гуще и ниже. Господи, неужели ей мало всего, что она натаскала в эту квартиру?!

— Для истории.

— А Серегина ведь мне ни копейки не заплатила, все на болезни жаловалась.

Виталий Павлович прятал глаза.

— Где твой муж? — спросила я из вежливости.

И тут Лужина зарыдала.

— Ушел он, — тихо пояснил Виталий Павлович. — И детей забрал, представляешь?

Он ждал, наверное, от меня сочувствия, но мои симпатии были на стороне ее странного мужа. Кого она могла воспитать, эта спаленная жадностью душа?

— Теперь, когда тебе плохо, разведусь! Тебе нельзя в таком состоянии оставаться одной... — продолжал он спокойно и решительно... — Я поживу тут, пригожусь.

Улыбка у него была мягкая, просительная, ироническая, Лузина подошла, погладила его по крашеным волосам и сказала удивленно:

— Неужто прощаешь? А я ведь тебя в такие дела втравила!

— Я люблю тебя, это уж со мной так и останется до смерти.

Они говорили, точно забыв обо мне, потом Лузина ушла, и он пояснил:

— Мы ведь и себя не знаем, нам ли судить других... К сожалению, жизнь не имеет черновиков, дублей, как в кино, все набело, навсегда, не вычеркнуть, не стереть... Пока ее не потерял, не представлял, что она для меня, думал — игрушка, одна из многих...

Лузина вернулась умытая, причесанная, в ярком платье для беременных, обшитом кружевами.

— Пишите... — Тон Лужиной был жесткий, она злилась на себя за свое бескорыстие. — Пятидесятая больница, мужская хирургия, пятая палата... Сабуров...

— Он в сознании?

Она скривила губы.

— Как для кого. Вот год назад пришел со мной в Останкино, показать хотел одну картину. Подошли к двери, я его вперед пропускаю, как старика, а он передо мной дверь распахнул:

— Нет, нет, вы дама, прошу, и потом я тут в некотором роде из хозяев...

Мы помолчали, Лузина прицельно следила за моей реакцией, о Виталии Павловиче она забыла и даже вздрогнула, когда он заговорил:

— Во всем я виноват, развратил ее, втянул в эту среду, мне и отвечать... Понимаешь, не верю, что она — пустышка, никто еще не достучался до ее сердца, а оно ведь есть, и такое ласковое...

Он улыбнулся ей.

— Ты проходишь по делу Лисицына как свидетельница?

— Нет, пытаются ее объявить соучастницей. Но у меня есть такие адвокаты, — его голос звучал не очень уверенно, — и разве не должны они учитывать, что женщина на последних месяцах беременности...

Лужина растерянно улыбалась, ее явно терзал страх, кажется, только сейчас она начинала понимать, как запутала и осложнила свою жизнь.

И вот я в больнице. Палата на четверых. Салатные стены, белые окна, двери, потолки. Койка в углу, возле окна, где светлее. На тумбочке — тетрадь, графин с клюквенным морсом, мензурка с одной гвоздикой. Роскошной, сиреневато-розовой, а зубчики белые, точно кружевная оборка. Лицом ко мне лежал старый человек, костлявый, почти высохший, с густыми желто-белыми волосами. Губы запали, длинный острый нос, красноватые веки. Подбородок разделен ямочкой, похожей на шрам. Он не спал и смотрел на меня в упор тяжелым остановившимся взглядом, в котором ничего не было — ни интереса, ни внимания, ни раздражения.

Я подседа, сослалась на Лужину. Глаза его потеплели, осветились, стали ярко-серыми, водянистость исчезла.

— А, Викочка, золотая девочка...

Иронизировал? Нет, не похоже.

— Знали бы вы, сколько она со мной нянчилась! И врачей приводила, и сюда устроила на операцию. Такая бессребреница, за все сама платила...

Я растерялась. Помрачение сознания? Или есть другая Вика? Я не знала, как заговорить о вышивке.

— И так ей, бедной, не повезло, — все шелестел старик, облизывая сухие губы, — запутали, вот и мается...

Я решила перебить его:

— У Маруси Серегиной оказалась ваша вышивка...

— Серегина — парвеню, все хватала, копила, цапала, аморальная дама...

— А Лужина иная?

Он шевельнулся, попробовал привстать.

— Вы ее не трогайте, она вам всем не чета. Она добрая, только и сама об этом не знает. Понимаете, она выросла в семье, где никто никогда ничего даром не делал. Никому. А когда я ей подарил несколько гравюр, просто так, потому что понравились, — расплакалась.

Он вздохнул.



— Она впервые в жизни поняла, как важно что-то делать для другого, для себя важно. Так радовалась, когда могла проявить широту души... Кажется, ее никогда в жизни не любили просто так, бескорыстно...

Неужели он такой видит Лужину? Чудо человеческого заблуждения?

— А вот ваша Серегина ко мне привозила и спекулянтов, и нуворишей, даже иностранцев, когда я бывал не в себе, в минуту похмелья или запоя. Это благородно, достойно, по-людски?! И все что-то у меня тащили, купали, хапали за бесценок... И воздалось ей по справедливости.

Я почувствовала, что он из тех людей, кто дарил доверие медленно, по капле, но то, что подарил, до гроба уже не отнимет...

— Я подписал завещание, оно у главврача хранится... Лужина — моя наследница... Свою вещь, наследственную, я имел право подарить кому хотел.

— Она об этом знает?

— Детям знать не положено. Когда найдут вышивку... ей вернут, хоть одна душа поминать будет...

Он закашлялся, на губах выступила розоватая пена, я позвала сестру, но он крикнул, чтоб я не уходила. Когда его успокоили, сделали укол, я снова подошла. Сейчас он выглядел лучше, чем раньше, кожа разгладилась, я поняла, что ему лет семьдесят.

— Так что вас интересует?

— Это вы жили в одной квартире с Шутиковыми?

— Да, много лет.

— Старшая девочка нашла во время ремонта одну тетрадь. О Параше Жемчуговой...

Слабая улыбка коснулась его лица.

— Матушка писала моя, восхищалась ею без меры с детства. И память имела сказочную, все семейные предания, легенды знала, со всеми родными связь поддерживала... Да и работала после революции в Ленинской библиотеке, ее устроили, потому что она кому-то из революционеров помогла бежать еще до империалистической. И деньги давала большевикам: она отличалась романтизмом...

Старик замолк, он уходил в воспоминания временами, как в туман.

— Тут один приходил из милиции, Стрепетов. Все спрашивал насчет вышивки Прасковьи Ивановны. Ее Парашей в нашей семье не принято было называть.

Я сказал — бог дал, бог взял. Найдется, отдадите наследнице, по ее воле все будет...

Лицо его побагровело, и он торопился договорить:

— Жаль только, что в записках матери о сыне Прасковьи Ивановны не упомянуто о прадеде моем. Горе богатым сиротам. Его все обворовывали, пользовались добротой, многим он пенсии платил, много детей-сирот воспитывал на свой счет. Говорили, что он страдал «маниакальной благотворительностью...». И все блуждал один по огромному Фонтанному дому, последыш сильных, ярких характеров, родившийся бескрылым и бессловесным...

Я хотела встать, но он удержал, протянув вперед руку, переводя дыхание, медленно и осторожно, точно настраивал невидимый инструмент.

— Моя мать не жалела о прошлом, отринула его от ног своих. Радовалась цветку, забыв об оранжереях, дарила картины музеям, только в одном завидовала прадеду. Его любви к Параше и ее ответному чувству. Однажды мне сказала: «Да не забудутся их имена, посмевающих наперекор веку любить и верить друг другу. Подняться над всеми предрассудками и остаться незаисковыми в своем чувстве...»

Новая пауза, тяжелое свистящее дыхание.

— Она не пожелала эмигрировать, говорила: «Мы — русские дворяне, не смеем быть безродными», и повторяла завещание Николая Петровича Шереметева: «И де же дух мой, ту да будут кости мои...» Она не понимала одного: все, что было с родом нашим, — воздаяние. За те тысячи беспамятных мужиков и баб, кто страдал по нашей вине, за их стоны и проклятья, за гениальных людей, бывших нашей собственностью, как Параша Жемчугова, Дегтерев, Аргунов, Батов, Васильев. И пусть я лично ни в чем не повинен, а несу крест за них, за всех предков — я, седьмое колено рода великого...

Несколько раз в палату входила сестра, выразительно покашливала, но я не решалась его перебить.

— У каждого должен быть свой Соловушка, вот и у меня после войны, как с фронта вернулся... — Старик усмехнулся, подергал запавшими губами.

— Поверил я в чудо, мальчишкой был впечатлительным, мечтательным, верующим, да-да, не улыбайтесь, все мы верующие, кто в искусство влюблен... Думал, что день, когда не увидено ничего нового, вычеркнут из жизни.

Он помолчал. Я его не перебивала. Меня захлестнул, ошеломил поток его воспоминаний.

— Свою Парашу я встретил случайно, когда на эту-ды поехал. Возле заброшенной часовни сидела. Она венок плела и пела, а руки тонкие, точно прутики. И понесло меня, закрутило, опалило на всю жизнь. Она, мой Соловушка, совсем девочкой была, семнадцатый шел, как за мной поехала, родителей бросила, деревню. Хотя и голодно было, но все лучше, чем у меня, я кормил ее одним чаем, хлебом черным да селедкой, в обноски одел. Пять лет, однако, сердце мое билось счастьем и тревогой.

Опять пауза.

— И намыкалась она, и настрадалась, все мечтала великого художника выпестовать. А я халтурил где мог, как из Строгановки выгнали за пьянство, — и у Герасимова, и у Корина, силуэты на бульваре рисовал, по трешке штука в старых деньгах. Одного она не понимала, почему я остатки наших семейных картин и книг дарил музеям, а не продавал, хоть и сидели мы без денег. Но мы не купцы, не торгоши, исторические ценности продавать — грех, душу-то надобно побережь...

Я налила ему морс, он церемонно поблагодарил.

— Начал тогда ее портреты рисовать по-своему, меня в те поры в институте восстановили, опять я воспарил, пить почти перестал. Она ждала, очень ждала, как портреты оценят. О выставке моей персональной мечтала, гордилась, что ее одну рисую...

Опять судорога пробежала по его лицу, задрожали ноздри, видимо, кончилось действие укола, но он крепился, стараясь договорить до конца.

— Не взяли мои картины на выставку, сочли старомодными, безыдейными, подражательными: «Девушку с птицей», «Девушку у часовни» и «Певицу». Тогда и улета моя Параша, пригласили ее в оперетту, в Сибирь, она только Гнесинское училище по вокалу закончила. Мне ли было ей поперек пути вставать?! Прадед загубил великую актрису, я не посмел...

Он прикрыл глаза, проговорил шепотом:

— Матушка говорила в детстве мне: «Пролетела жар-птица — схвати за крыло, и станешь счастливым...» Кто встретил свою жар-птицу, потом всю жизнь радуется, что спознался с чудом, и всю жизнь горюет, когда она улетает. Нечем больше жить... Когда-то граф Шереметев писал завещание сыну. Исповедь. Совет, крик ду-



ши. Оправдание. Бесконечное оправдание перед ней. Себя или Дмитрия, сына, хотел он уверить, что Параша имела право на ребенка, обладала цветущим здоровьем. Что легко проходила беременность, роды. Видно, точно его сознание вины перед покойной...

Старик посмотрел на меня ясным, все понимающим взглядом, пошарил рукой по тумбочке, дотянулся до тетради, но взять уже не смог, не было сил. И сказал, еле шевеля губами:

— Возьмите... к «Запискам»... хоть поймете меня... и тех, давнишних.

Я вышла из палаты оглушенная, растерянная. Открыла тетрадь. Портрет, один и тот же портрет все более слабеющей рукой. Лучистые распахнутые глаза, простодушная улыбка, локоны в стиле восемнадцатого века. День за днем — портреты одной-единственной женщины. Кого он видел, какую девушку?!

А в самом конце тетрадки было написано слабым колеблющимся почерком:

Мне дорого любви моей мученье,  
Любовь моя над смертью торжествует,  
На миг единый счастье мне сверкнуло,  
И голос твой в душе моей живет...

Когда я пришла в больницу на другой день, мне сказали, что он умер. Во сне, не выпуская из рук бумагу и карандаш. Даже в последние мгновения он пытался рисовать свою певчую птицу...

Иногда с тех пор мне слышится музыка и далекий женский голос... Песня Параша, ее мужество, мечты, судьба — в трудные минуты я буду ее вспоминать, и мне станет легче...



## ВОЙНА С АКСИОМОЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ...

В романе Ларисы Исаровой «На пороге судьбы» читатели вновь встречают учительницу Марину Владимировну, с которой они знакомы по книгам «Война с аксиомой», «Записки старшеклассницы», «Задача со многими неизвестными», «Тень Жар-птицы». Неизменным оставалось переходящее из книги в книгу отношение автора к профессии школьного учителя, к ее важной социально значимой роли, твердое убеждение в том, что школа в первую очередь должна учить познанию жизни, умению понимать и ценить людей и правильно исполнять свой человеческий, патриотический и общественный долг. Автор вместе со своей героиней считает, что жизнь учителя, если он имеет призвание к этой деятельности, неотделима от жизни учеников, что влияние их друг на друга взаимно.

Л. Исарова — писательница одной темы. Всю жизнь ее волнуют проблемы подрастающего поколения, потому что воспитание молодежи — ее профессия. Она работала учительницей в школе, в детском интернате, преподавала в Литературном институте, в заочной школе моряков. О чем бы она ни писала в своих публицистических статьях, пьесах, книгах — в них постоянно звучит один мотив: какой станет наша молодежь, какова мера нашей ответственности за поведение мальчиков и девочек, юношей и девушек и как отзываются наши поступки на формировании их нравственности.

Казалось бы, тема эта благодарная, общественно необходимая, и счастлив должен быть тот писатель, который может внести в ее обсуждение свой вклад, высказать свою точку зрения. Однако все обстоит не так просто, как непроста и сама проблема.

К первой книге «Война с аксиомой» автору пришлось дать подзаголовок «Спорные истории из школьной жизни», хотя спорность их, как тонко и доброжелательно отметила известная писательница Мария Прилежаева, давая напутствие первой книге молодого литератора, была только в восприятии определенной категории людей — нетворческих, консервативных, служащих догме, раз и навсегда установленному порядку.

Новый роман Л. Исаровой также не похож на привычные образцы назидательной педагогической прозы. Это произведение насыщено действием. В романе происходят драматические события, в него введены образы работников милиции и прокуратуры. Учительница Марина Владимировна оказывается в центре событий, похожих на детективную историю. В сюжет влетают две новеллы о персонажах русской истории конца XVIII века — о князе Потемкине и о Параше Жемчуговой. Обе новеллы интересны, познавательны, эмоциональны, в них действуют яркие личности, люди великих страстей. Антикварные предметы, некогда принадлежавшие этим историческим персонажам, стали основой криминальных событий романа.

В центре произведения образ учительницы Марины Владимировны, человека неординарного, равнодушного, творческого, и судьбы ее учеников. Она стремится воспитать в них лучшие чело-

веческие качества. И ей удается влиять на них, пока они учатся в школе. Но вот ученики выходят в жизнь, становятся полезными, полноценными членами общества. Но не все. Именно их судьбы тревожат совесть учительницы, не дают ей покоя. С болью рассказывает она о цинике и себялюбце Ланщикове, о жертве махинаторов Варе Ветровой, о лживой Лужиной, о преступнике Лисицыне. Она видит свои педагогические просчеты в противоречивости их поведения, в странности их характеров, запутанности их судьбы.

Марина Владимировна оценивает образ мыслей, поступки своих воспитанников, возможно, даже излишне строго.

Анализируя истоки аморальных черт у своих воспитанников, связывая их зачастую с влиянием семьи, Марина Владимировна все же за них берет вину и на себя, хотя совершенно ясно, что с неумением ее учеников противостоять соблазну наживы и накопительства вряд ли может справиться один школьный учитель. Но таков уж характер у Марины Владимировны, таковы ее убеждения, что заставляют чувствовать их промахи, как свои.

Возможно, сюжет этого романа кому-то покажется спорным. Стоит ли уделять такое внимание неудачникам и подлецам? Ведь их, к примеру, в этой книге всего четверо из тридцати. А если о них болит душа? И хочется предупредить других от подобных ошибок?!

И все же есть в романе главный персонаж, который в полной мере осуществил надежды учительницы. Это Олег Стрепетов — человек мыслящий, целеустремленный, щедрый, самоотверженный. Его основная черта — гражданское чувство ответственности за себя и за младшее поколение. Во второй части романа он становится участковым инспектором по делам несовершеннолетних. Примечательно, что автор выбрала для своего любимого героя профессию, связанную с воспитанием молодых. Дело почетное и, по мнению автора, одно из самых сложных, общественно значимых. Олег Стрепетов стоит еще на пороге судьбы, но мы верим, что его ждет прекрасное будущее, наполненное трудом, борьбой и победами.

Т. ЛЬВОВА



## СОДЕРЖАНИЕ

### Часть 1

Десять секунд для ответа

3

### Часть 2

И голос твой в душе моей...

117

Война с аксиомой продолжается... Т. Львова

254

ИБ № 4690

Лариса Теодоровна Исарова

НА ПОРОГЕ СУДЬБЫ

Редактор Н. Притулина

Рецензент С. Бысоцкий

Художник Н. Абакумов

Художественный редактор Б. Федотов

Технический редактор Н. Носова

Корректоры И. Ларина, И. Тарасова

Сдано в набор 03.03.86. Подписано в печать 15.07.86. А01569.  
Формат 84 × 108<sup>1/32</sup>. Бумага типографская № 2. Гарнитура  
«Литературная». Печать высокая. Условн. печ. л. 13,44. Усл.  
кр.-отт. 14,04. Учетно-изд. л. 14,3. Тираж 100 000 экз.  
Цена 1 руб. Заказ 714.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства  
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства: 103030,  
Москва, К-30, Суцевская, 21.

Лариса Теодоровна Исарова родилась в 1930 году в Харькове. Окончила МГУ. Работала учительницей литературы в школе, в институте. С 1956 года Исарова выступает как литературный критик, публицист в центральных газетах и журналах.

Исарова член Союза писателей, автор книг о школе, о нелегком труде учителя, нескольких телефильмов, пьес на молодежные темы.

В издательстве «Молодая гвардия» выходили книги: «Задача со многими неизвестными» и «Тень Жар-птицы».